

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

5

СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА — 1987

СОДЕРЖАНИЕ

К семидесятилетию советского языковедения	3
Швейцер А. Д. (Москва). Советская теория перевода за 70 лет	9
<i>ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ</i>	
Мурясов Р. З. (Казань). Грамматика производного слова	18
Кобрин Р. Ю. (Горький). Языковые отношения и базовые единицы языка	31
Асиновский А. С., Володин А. П., Головкин Е. В. (Ленинград). О соотношении экспонента морфемы и ее позиции в словоформе (К постановке вопроса)	40
Шаховский В. И. (Волгоград). Соотносится ли эмотивное значение слова с понятием?	47
Дегтярев В. И. (Ростов-на-Дону). Плюрализация имен собирательных в истории славянских языков	59
<i>МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ</i>	
Чантуришвили Д. С. (Тбилиси). Об одном типе обучающего парадигматического словаря русского языка для нерусских	74
Озерова Н. Г. (Киев). Многозначность существительного и его грамматическая характеристика	87
Мусаев М.-С. М. (Махачкала). К истории грамматических падежей даргинского языка	94
Котов А. М. (Москва). Стилистический статус вапьянизмов в современном китайском литературном языке	107
<i>КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ</i>	
<i>Обзоры</i>	
Дэже Л. (Дебрецен). Универсальная грамматика и школа А. А. Холодовича	115
Слюсарева Н. А. (Москва). Об английском функционализме М. А. К. Хэллдея	127
<i>Рецензии</i>	
Дзендзелевский И. А. (Ужгород). <i>Сухачев Н. Л.</i> Лингвистические атласы. Аннотированный библиографический указатель	137
Ониани А. Л. (Тбилиси), Климов Г. А. (Москва). <i>Сарджеладзе З. А.</i> Введение в историю грузинского литературного языка	141
Журавлев В. К. (Москва). <i>Viel M.</i> La notion de «marque» chez Troubetzkou et Jakobson. Un episode de l'histoire de la pensée structurale	143
Кунин А. В. (Москва). <i>Маковский М. М.</i> Английская этимология	146
Золотова Г. А. (Москва). <i>Guiraud-Weber M.</i> Les propositions sans nominatif en russe modern	150
Будаев Ц. Б. (Улан-Удэ), Лейчик В. М. (Москва). <i>Пюрбеев Г. Ц.</i> Современная монгольская терминология	152
<i>НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ</i>	
Хроникальные заметки	155

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

В. Г. Гак, А. В. Десницкая, Ю. Д. Дешериев, А. И. Домашнев,

Ю. Н. Караулов, Г. А. Климов (отв. секретарь), А. Н. Кононов,

В. З. Панфилов (зам. главного редактора), Б. А. Серебrenников, Н. А. Слюсарева,

В. М. Солнцев (зам. главного редактора), Г. В. Степанов (главный редактор),

О. Н. Трубочев, Д. Н. Шмелев

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка, редакция журнала «Вопросы языковедения». Тел. 203-00-78

Зав. редакцией *И. В. Соболева*



К СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЮ СОВЕТСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Минуло семьдесят лет со дня Великого Октября. Как и вся наша наука, неузнаваемо преобразилось за истекшее время советское языкознание. Из науки кабинетного типа оно стало одной из фундаментальных наук с широкими практическими выходами. Располагая богатыми дореволюционными традициями отечественной лингвистики, преодолевая неизбежные издержки развития, оно достигло немалых успехов. Неизменно расширялась эмпирическая база исследования, охватывающая к настоящему времени практически все континенты земного шара. Множество языков как на территории СССР, так и за его пределами были впервые введены в обиход науки. Неуклонно ширился и круг теоретической проблематики советского языкознания, разработка которой стимулировалась таким ярким атрибутом ленинской национальной политики в нашей стране, как практика языкового строительства. Стержневыми направлениями лингвистических работ служили темы «Язык и общество» и «Язык и мышление», с разработкой которых так или иначе, непосредственно или опосредованно, связана большая часть всего многообразия сложившейся за это время конкретной проблематики советского языкознания. В его недрах возникли по существу новые лингвистические дисциплины (социолингвистика, историческая типология, теория разговорной речи, стилистика, фразеология и др.). Совершенствовалась методическая вооруженность наших исследований, располагающая прочной методологической основой в виде философского наследия классиков марксизма-ленинизма. Все более глубокое внедрение в подходе к языковому материалу находили принципы системности и историзма. Неизмеримо вырос международный авторитет советской лингвистической науки. Развивается тесное сотрудничество советских лингвистов с их коллегами из братских социалистических стран (и, в частности, с языковедами Юго-Восточной Азии).

Неизменно широким фронтом работ была представлена социолингвистическая проблематика советского языкознания. В центре внимания исследователей были закономерности функционирования языка в обществе, типы языкового взаимодействия (особенно — в условиях социализма), перспективы сознательного воздействия общества на язык (вопросы повышения культуры речи, нормирования и функциональных стилей литературных языков, развития отраслевой терминологии и мн. др.). Оживленно дискутировались актуальные проблемы теории литературного языка. Продолжал расти интерес лингвистов к разговорной речи. Изучение всех этих вопросов сопровождалось разработкой понятийного аппарата социолингвистики. Значительное внимание уделялось изучению роли русского языка как межнационального средства общения в СССР и как средства общения на международной арене. В последние десятиле-

тия все более глубоко исследовалась языковая ситуация в различных регионах мира. Повышалась действенность рекомендаций наших социолингвистов для практики языкового строительства. Конкретными итогами этих усилий явились, в частности, такие важные стороны национальной политики в СССР, как создание письменности и литературных языков для многих народов, совершенствование норм старописьменных языков.

Исследовалась совокупность аспектов темы «Язык и мышление». Основное направление работ в этой сфере составили проблемы взаимоотношения языка и мышления. Изучалась роль естественных языков в отражении действительности (с акцентом на знаковую функцию материальной стороны языковых единиц). Раскрывались конкретные механизмы языка как средства осуществления абстрактного, обобщенного мышления и его категориальный аспект. В языковедческих и психолингвистических исследованиях обозначилась сфера вопросов об обратном воздействии языка и законов его функционирования на осуществление процессов мышления. Была поставлена проблема выражения в языке таких категорий, как качество, количество, время, пространство, функции и др. Эти категории составляют универсальный понятийный аппарат отражения в человеческом сознании окружающего мира, многообразия предметов, их свойств, качеств, признаков и отношений.

Содержательная сторона языковых явлений всегда находилась в центре внимания, не отходя на второй план даже в периоды преимущественного интереса к формальному аспекту языка. Две центральные единицы языка — слово и предложение — служили средоточием вопросов соотносительности с зоной понятий и представлений — для первого, и с зоной логических конструкций — для второго. Выявленная в языкознании неоднозначность этих соотношений породила комплекс исследований по теории слова, как в лексикологии и смежных с ней дисциплинах, так и в грамматике. Интенсивно разрабатывались вопросы актуального членения предложения. Теория предложения обогатилась расширяющимися исследованиями по функциональной грамматике.

Отставание сравнительно-исторического изучения языков, вызванное длительным господством «нового учения» о языке Н. Я. Марра, стало преодолеваться с начала 50-х годов, когда в центре внимания советских компаративистов вновь оказался методический аппарат исследования (методы реконструкции, понятие праязыковой модели и т. п.). Более четко обозначилось место компаративистики среди других фундаментальных отраслей сравнительного — в широком смысле слова — языкознания (типологии и ареальной лингвистики), а также некоторые перспективы их взаимодействия. Наиболее заметные успехи сравнительно-генетических исследований оказались у нас связанными с индоевропейскими (славянскими, германскими, балтийскими, иранскими), уральскими, афразийскими, алтайскими, картвельскими, абхазско-адыгскими, дравидийскими языками. В частности, заслуживают упоминания новые идеи относительно фонологической системы праиндоевропейского, а также о древнейшем ареале обитания носителей индоевропейской речи. Последовательно расширялся фронт этимологических работ, в которые были вовлечены славянские, ряд других индоевропейских (особенно — армянский, иранские, балтийские), афразийские, картвельские, абхазско-адыгские, тюркские, некоторые уральские и др. языки. Важную роль в дальнейшем развитии отечественной компаративистики призваны сыграть труды, характеризующие состояние и перспективы соответствующих отраслевых исследований.

Естественным стимулом развертывания типологических исследований в СССР послужило привлечение множества разноструктурных языков Советского Союза в обиход науки. Их развитие сопровождалось своего рода внешней и внутренней дифференциацией широкого комплекса по существу разноплановых дисциплин. Так, с одной стороны, происходило отграничение собственно типологических работ от сопоставительных (контрастивных) и характерологических, а, с другой — формально-типологических от содержательно-типологических. Важным шагом вперед явилось включение в орбиту типологического рассмотрения синтаксического уровня. В центре внимания типологической теории стояли понятия языкового типа (как комплекса разноуровневых структурных признаков-координат), типологических констант, а также проблема соотношения различных типов в едином языке. В плане содержательно-типологической схематики были обоснованы понятия номинативного, эргативного и активного строя. В целом особенно большое внимание уделялось разработке проблем историко-типологического характера, отмеченной отказом от жестких схем, выдвигавшихся первыми советскими типологами. С развитием собственно типологических исследований все более отчетливым становилось отличие предмета типологии от предмета лингвистики универсалий. Наибольших успехов наши конкретные типологические штудии достигли на материале кавказских, палеоазиатских, германских и иранских языков.

Еще одной отраслью сравнительных — в широком понимании этого термина — исследований в СССР явилась ареальная лингвистика. Как и за рубежом, среди выполненных работ эмпирические труды заметно преобладали над теоретическими. В плане теории обсуждался каузальный аспект становления языковых союзов (с акцентом на соотношение фактора престижного языка и фактора языкового взаимодействия), разрабатывались понятия интенсивного и экстенсивного языкового союза, была высказана идея об определенных исторических основаниях ареальной лингвистики как языковедческой дисциплины. У значительной части советских авторов отчетливо обозначилась тенденция обособления предмета последней от предмета лингвистической географии как некоторой специфической методической дисциплины, предполагающей картографирование материала и обслуживающей разные отрасли языкознания (диалектологию, компаративистику и др.). Наиболее плодотворными оказались конкретные ареальные работы в области балканского и гималайского языковых союзов. Некоторые интересные результаты привнесло изучение ареальных контактов между принадлежащими к разным семьям языками Волго-Камья, Кавказа и отдельных других регионов. Если коснуться развития лингвогеографии как таковой, то оно нашло свое выражение в разработке соответствующих программ и создании ряда атласов. Одновременно сама отечественная лингвогеография, по мере накопления опыта и расширения сферы своей приложимости на новые языковые ареалы, качественно меняет свой характер, все более и более преобразуясь из фиксирующе-описательного метода в эффективный исследовательский инструмент приобретения новых знаний.

Широкое направление работ в советском языкознании составили лингвоприкладные исследования. За последние десятилетия существенно преобразилось их содержание, включившее в себя наряду с традиционной для них проблематикой большую совокупность новых сфер, органически связанных с происходящей в нашей стране научно-технической революцией и актуальными задачами информатики.

В области теоретического анализа структуры текста, семантики и пределов ее формализации получены результаты, используемые в практике. За последнее десятилетие создан ряд систем машинного перевода, успешно работающих в промышленном и экспериментальном режимах. Построены первые многоязычные автоматические словари в помощь переводчику. Прикладная лингвистика внесла существенный вклад в совершенствование лингвистического обеспечения автоматизированных информационных систем (информационные языки, тезаурусы, словарная служба). Интенсивно ведутся исследования в целях использования естественного языка в общении с ЭВМ (лингвистические процессоры для прикладных систем), в целях совершенствования методов обработки текстов — индексирования, реферирования и т. п.

Внедрение ЭВМ и, особенно, персональных компьютеров в практику лингвистических исследований открывает более широкие возможности накопления и обработки больших массивов лингвистических данных как в интересах собственно языкознания, так и в интересах решения задач информационной технологии. Появилась возможность координации и объединения усилий лингвистов для выполнения таких крупномасштабных проектов, как «машинные фонды» русского и ряда других языков. Реализация таких проектов заложит основу и для дальнейших лингвистических исследований, и для решения задач лексикографии, издательского дела, и, наконец, создания средств новой перспективной информационной технологии.

Подводя краткие итоги развития советского языкознания за 70 лет, следует остановиться на том, что все еще мешает его планомерному продвижению вперед. Необходимость этого особенно уместна в настоящее время, когда требуется, как говорится в докладе Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева на январском Пленуме Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, «объективная самокритическая оценка состояния дел, отход от формализма и шаблона в работе, поиск новых путей решения проблем» [1].

Несмотря на известные достижения, характеризующие ряд направлений отечественного языкознания, отличающие его передовые в мировой науке методологические позиции, в некоторых отраслях лингвистики намечилось отставание от мирового уровня развития идей. Так, в социолингвистике ощущается недостаток в конкретных исследованиях речевых коллективов и речевых сообществ — звеньев, в которых реально и протекает языковая жизнь человека и которые занимают в социальной стратификации промежуточное место между национальным языковым единством и языковой индивидуальностью. Это положение, как и слабая разработанность проблем лингводидактики и психолингвистики, связанных с овладением и владением языком, в известной мере тормозят продвижение и в разработке такой актуальной проблемы, как изучение русского языка в качестве средства межнационального общения в стране. Надо сказать, что разработка этой проблемы, являющейся в высшей степени комплексной, нуждается в развернутой и эффективной поддержке в социально-культурной, психологической, педагогической и других научных сферах, а значит, потребует развертывания широкого круга не только лингвистических, но и социологических, этнографо-демографических, культурологических, социально-психологических, историко-культурных, дидактических исследований, а соответственно — организационного участия нескольких ведомств. Подобное объединение возможно лишь в рамках целевой комплексной программы, носящей всесоюзный характер и

включающей, наряду с проведением исследовательских работ, также комплекс практических, социально-экономических и культурно-воспитательных мероприятий. Необходимость в подготовке такой программы назрела и медлить более нельзя.

Далее, отечественная психолингвистика сделала серьезный шаг по углублению и конкретизации изысканий в сфере взаимодействия языка и мышления, трактуя последнее вслед за отечественной психологией не просто как отражение, но как целенаправленный процесс решения мыслительных задач. Однако в нашей лингвистике в целом слишком медленно разворачиваются исследования когнитивных аспектов языка, лингвистическая когнитология заметно отстает от уровня зарубежного опыта. А ведь с этим направлением связано не только эффективное лингвистическое обеспечение систем искусственного интеллекта, но и прогностические работы по изучению познавательных функций как естественных, так и искусственных языков.

Наконец, нельзя не отметить отставания в овладении и широком использовании разнообразных экспериментальных методик. Мировая наука переросла уровень описательства, перешагнула его, широко введя в исследовательскую технологию лингвистики самые разнообразные экспериментальные методы. Лингвисты еще не отрешились, к сожалению, от неоправданно настороженного отношения к новым, пусть не всегда доказанным идеям, которые в силу застарелой привычки воспринимаются иногда как подрыв устоев и получают прежде всего идеологический ярлык, а не спокойную, научно взвешенную оценку. Описательство в этом отношении гораздо безопаснее, и поэтому многие кандидатские диссертации не проблемны, не экспериментальны, а остаются на чисто классификационно-описательском уровне. Необходима глубокая перестройка нашего лингвистического мышления в его отношении к новаторству, к эксперименту, к смелому поиску. Только такой подход может обеспечить прорыв научной мысли в новые сферы.

К числу застойных явлений общего характера в нашей науке относится определенное однообразие работ, ведущихся в отраслевом языкознании, догматичность трактовки некоторых общетеоретических положений (в частности, в области соотношения языка и мышления). Все еще далеко не всегда находят своевременную поддержку поисковые работы. С другой стороны, еще встречается голое — в отрыве от необходимой эмпирической базы — теоретизирование, а иногда и факты нигилизма по отношению к тому, что сделано в нашей науке. По-прежнему ощущается недостаток в глубоких фундаментальных исследованиях основных категорий и свойств языка. Преодолению этих явлений могла бы способствовать, в частности, более продуманная практика программно-целевого планирования в общем и отраслевом языкознании, и особенно — в сфере лингвоприкладных работ.

В описательном языкознании заметное место все еще принадлежит стереотипным грамматикам, создающимся по шаблонам, предложенным иногда несколько десятилетий назад. Отсюда — настоятельная необходимость совершенствовать методы описания языков. В некоторых отраслях языкознания вообще приходится говорить о чрезмерно затянувшемся периоде самих по себе необходимых описательных работ. В сравнительно-историческом языкознании наблюдается контраст между постоянно растущим объемом эмпирических исследований, с одной стороны, и отставанием работ по теории компаративистики, с другой. Естественным следствием этого обстоятельства оказывается наличие некоторых неудов-

летворительно обоснованных генетических построений. Неоднократно обращалось внимание на значительное отставание с внедрением в практику народного хозяйства результатов различного рода лингвоприкладных исследований.

Говоря о недостатках в нашей работе, целесообразно сказать и о неудовлетворительном состоянии обсуждения опубликованных работ и практике превращения научных конференций из лабораторий творческих дискуссий в органы вещания идей их участников.

Совершенно новые задачи встают перед советской наукой о языке в плане охватившего всю нашу страну процесса перестройки, смысл которой партия видит в решительном преодолении застойных явлений в создании эффективных механизмов ускорения в развитии советского общества в целом. Сейчас должно быть бесспорным, что для принятия активного участия в этом глобальном процессе сама наша наука должна во многом перестроиться. Сказанное означает, что лингвистам предстоит скорейшим образом ликвидировать складывавшийся в определенные годы механизм торможения, наполнить конкретным содержанием принятую на XXVII съезде Коммунистической партии Советского Союза стратегию ускорения, и, в частности, наладить опережающее развитие фундаментальных исследований.

В этом отношении после январского Пленума ЦК КПСС лингвисты имеют в своем распоряжении ясное руководство к действию: «По-прежнему острыми, во многом нерешенными остаются такие важные вопросы, как четкая координация академической, вузовской и отраслевой науки, интеграция усилий естественных, технических и общественных наук, комплексность проводимых исследований, глубина постановки фундаментальных проблем и повышение эффективности конкретных разработок» [1, 56—57]. Необходимо помнить при этом, что «...успех стратегии ускорения прежде всего зависит от того, как мы решаем задачи научно-технического прогресса, насколько умело соединяем преимущества социализма с достижениями научно-технической революции» [1, 56].

ЛИТЕРАТУРА

1. О перестройке и кадровой политике партии. Доклад Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева 27 января 1987 г. // Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС. 27—28 января 1987 года. М., 1987.

ШВЕЙЦЕР А. Д.

СОВЕТСКАЯ ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА ЗА 70 ЛЕТ

Развитие переводческого дела в нашей стране было с самого начала тесно связано с задачами культурного строительства — приобщения нашего читателя к лучшим достижениям мировой культуры, развития культурных связей между братскими народами Советского Союза, становления и формирования единой социалистической культуры. У истоков советской переводческой школы, достижения которой пользуются всемирным признанием, стоял А. М. Горький, по инициативе которого при поддержке В. И. Ленина еще в 1919 г. было создано Государственное издательство «Всемирная литература», поставившее перед собой цель публиковать переводы лучших произведений зарубежной литературы и литературы народов СССР. «По широте своей, — писал Горький, — это издание является единственным в Европе. Честь осуществления этого предприятия принадлежит творческим силам русской революции, той революции, которую ее враги считают „бунтом варваров“. Создавая такое ответственное и огромное дело в первый же год своей деятельности, в условиях невыразимо тяжелых, — русский народ имеет право сказать, что он ставит себе самому памятник, достойный его» [1, с. 281].

Особое значение Горький придавал роли переводов во взаимодействии культур социалистических наций. «Идеально было бы, — писал он в этой связи, — если бы каждое произведение каждой народности, входящей в Союз, переводилось на языки всех народностей Союза. В этом случае мы все быстрее научились бы понимать национально-культурные свойства и особенности друг друга, а это понимание, разумеется, очень ускорило бы процесс создания той единой социалистической культуры, которая, не стирая индивидуальные черты всех племен, создала бы единую, величественную и обновляющую весь мир социалистическую культуру» [2, с. 365—366].

С самого начала осуществления этой грандиозной программы предпринимались попытки обобщения опыта практической деятельности переводчиков, выработки теоретических принципов, которым суждено было лечь в основу советского переводоведения. Одной из первых таких попыток была статья основоположника советской теории перевода К. И. Чуковского «Переводы прозаические» [3], преследовавшая скромную цель «дать новичкам-переводчикам нечто вроде азбуки их ремесла» [4, с. 10]. Впоследствии материалы этой статьи вошли в опубликованную в 1936 г. книгу К. И. Чуковского «Искусство перевода». В книге К. И. Чуковского, написанной в форме литературно-критического эссе, были подвергнуты анализу корни переводческих ошибок, был поставлен вопрос о социальной природе переводчика, о передаче синтаксических и стилистических особенностей подлинника, о переводе идиом, о текстуальной точности и о принципах редактирования переводов. Эта яркая и талантливая книга, опирающаяся на богатый фактический материал, была впоследствии

переработана и расширена. В результате вышла в свет новая книга («Высокое искусство»), выдержавшая два издания [5, 6].

Многие из положений, впервые выдвинутых К. И. Чуковским еще в 1936 г., сохраняют свою ценность и в наше время. Так, например, заслуживают внимания тонкие наблюдения относительно детерминирующей роли личности переводчика, особенно в художественном переводе, где он, по меткому выражению К. И. Чуковского, в какой-то мере «переводит себя» [4, с. 39], о примате художественного целого («ритма и стиля оригинала») при переводе художественного текста, о роли в художественном переводе такого фактора, как литературная традиция [4, с. 109—127].

Одной из первых попыток разработки ключевых понятий теории перевода была статья А. А. Смирнова, опубликованная в 1934 г. в «Литературной энциклопедии» [7]. В этой статье впервые было сформулировано понятие адекватности, включающее не только прямые соответствия оригиналу, но и так называемые «субституты», т. е. замены, основанные на общности функции, на соответствии общему характеру переводимого произведения. Это определение перекликается с положениями появившейся еще ранее статьи А. В. Федорова, в которой убедительно опровергалось бытовавшее в то время представление об «идеальной точности», под которой имелось в виду исчерпывающее воспроизведение всех формальных элементов оригинала [8].

До 50-х годов теория перевода в нашей стране развивалась главным образом в литературоведческом русле. Вместе с тем некоторые общетеоретические проблемы ставились в работах, посвященных художественному переводу. Так, в вышедшей в свет в 1941 г. книге А. В. Федорова была предпринята попытка обосновать идею переводимости на примере успешного преодоления переводческих трудностей [9].

С 50-х годов начинается новый период развития теории, ознаменовавшийся становлением и развитием лингвистического переводоведения.

Пионером этого направления в нашей стране был Я. И. Рецкер, опубликовавший в 1950 г. статью «О закономерных соответствиях при переводе на родной язык», содержащую первый набросок разработанной им впоследствии теории закономерных соответствий [10]. В этой статье впервые высказывалась мысль о тесной связи между переводоведением и сопоставительным языкознанием. Перевод, как писал автор статьи, немалым без прочной лингвистической основы. Такой основой должно быть сопоставительное изучение языковых явлений и установление определенных соответствий между языком подлинника и языком перевода. Эти соответствия в области лексики, фразеологии, синтаксиса и стиля¹ должны составлять лингвистическую основу теории перевода. Автор различал следующие виды закономерных соответствий: 1) эквиваленты, 2) аналогии (называемые в более поздних работах «вариантными соответствиями») и 3) адекватные замены.

Первая группа включает «постоянные равнозначные соответствия», не зависящие от контекста. В эту группу входят прежде всего некоторые термины, причем, судя по примерам, термины, однозначные и в исходном языке, и в языке перевода. Например, франц. *Société des Nations*, англ. *League of Nations* и русск. *Лига наций*, англ. *surplus value* и русск. *прибавочная стоимость*, нем. *Luftabwehr* и русск. *противовоздушная оборона*. Все это заранее заданные жесткие соответствия, определяемые не контекстом, а словарем.

Те случаи, когда многозначной единице одного языка соответствует

несколько единиц в другом, называются «аналогами», или вариантными соответствиями. В отличие от эквивалентов, выбор аналогов определяется контекстом. Так, франц. *importance* передается в словаре тремя синонимами — *важность*, *значительность*, *значение*. Но в контексте словосочетания *attacher de l'importance* это слово передается лишь русск. *значение*. В английском языке прилагательное *ill* может означать и «дурной», и «плохой», но устойчивое словосочетание *ill fame* — это «дурная слава», а не «плохая слава».

Третья группа соответствий — адекватные замены (ср. «субституты» у А. А. Смирнова) используется тогда, когда для точной передачи мысли переводчик должен оторваться от буквы подлинника, от словарных и фразовых соответствий и искать решение задачи, исходя из целого. По сути дела, включая в рассмотрение «адекватные замены», впоследствии названные «приемами перевода», Я. И. Рецкер выходит за пределы «закономерных соответствий» между двумя языками и предпринимает попытку описать технологию перевода как процесса. Так были описаны некоторые приемы достижения адекватности перевода: конкретизация недифференцированных и абстрактных понятий (англ. *to miss a meal* «остаться без обеда»), прием логического развития понятия (англ. *so different in basic matters* «совсем непохожие по характеру и складу»), антонимический перевод (англ. *take it easy* «не волнуйтесь»), компенсация (использование других стилистических средств или тех же средств, но в другом отрезке текста).

Заслугой Я. И. Рецкера является то, что он впервые аргументированно обосновал идею лингвистической теории перевода, наметил контуры дальнейших исследований лексико-фразеологических, синтаксических и стилистических закономерностей процесса перевода, предложил понятийный аппарат для описания переводческих операций, который в значительной мере используется и в настоящее время. Впоследствии он успешно развивал эти идеи в своих дальнейших работах, итог которым был подведен в его книге [11].

Вместе с тем ощущалась необходимость в уточнении самой лингвистической основы теории перевода. При всей своей важности для лингвистического анализа перевода сопоставительное языкознание отнюдь не исчерпывает того круга языковых проблем, которые решаются в процессе перевода. Необходимо было точнее очертить предмет теории перевода, ее место среди других филологических дисциплин, ее внутреннюю структуру. Решение всех этих задач взял на себя видный советский теоретик перевода А. В. Федоров, который впервые в советском языкознании опубликовал в 1953 г. лингвистический очерк теории перевода [12]. Впервые лингвистическая теория перевода заявила о себе как самостоятельное направление науки о языке. Заслугой автора было то, что он поставил проблему перевода как языковедческую проблему, общую для всех жанров и разновидностей перевода. Наряду с художественным, А. В. Федоров включил в рассмотрение газетно-информационный и научный перевод. Вместе с тем многие затрагиваемые А. В. Федоровым проблемы решались пока лишь в первом приближении.

Эту книгу ожидала долгая, хотя и не всегда счастливая жизнь. Она выдержала еще три издания [13—15] и по сей день пользуется самой широкой известностью как в нашей стране, так и за рубежом. Однако на первых порах сама идея построения лингвистической теории перевода встретила резкие возражения, в особенности со стороны теоретиков художественного перевода [16, 17]. Так, известный советский переводчик ■

исследователь художественного перевода И. А. Кашкин, полемизируя с А. В. Федоровым, писал: «Лингвистическая теория перевода по необходимости ограничена рамками соотношения двух анализируемых языков, тогда как литературоведческий подход к теории художественного перевода позволяет выдвинуть те критерии, которые могут обобщить любые литературные переводы с любого языка на любой язык, подчиняя их общим литературным закономерностям и вводя их в общий литературный процесс» [17, с. 444].

С течением времени накал полемических страстей стал постепенно остывать. Стало ясно, что лингвистическая теория перевода вовсе не претендует на то, чтобы подменить теорию литературоведческую, что у каждой из этих теорий свои цели и свои задачи и, более того, что обе они при правильной расстановке акцентов могут удачно дополнять друг друга в рамках общей теории перевода.

В последнем издании своей книги (1983) А. В. Федоров формулирует задачи теоретического изучения перевода, делает экскурс в историю перевода и переводческой мысли, приводит и комментирует высказывания классиков марксизма о переводе, подробно останавливается на основных вехах развития теории перевода и разработки понятия переводимости у нас в стране и за рубежом. В этой связи А. В. Федоров подчеркивает осуществимость принципа переводимости, имея при этом в виду, что «то, что невозможно в отношении отдельного элемента, возможно в отношении сложного целого». И далее, касаясь определенных ограничений этого принципа, он справедливо указывает на то, что невозможность передать отдельный элемент, отдельную особенность оригинала не противоречит принципу переводимости, поскольку последний относится к произведению как к целому. Отсюда возможность замен и компенсаций в системе целого, открывающей для этого разнообразные пути [15, с. 122—124]. Передача исходного соотношения части и целого является, по мнению А. В. Федорова, важнейшим условием адекватности перевода.

Далее А. В. Федоров останавливается на важнейшей проблеме перевода как процесса — на условиях выбора языковых средств в переводе. В этой связи рассматриваются вопросы передачи слова как лексической единицы, перевода фразеологических единиц, грамматические проблемы перевода. Большое внимание уделяется варьированию перевода в зависимости от жанра переводимого материала.

Мощным стимулом развития лингвистической теории перевода послужили осуществленные в 50-е — 60-е годы первые опыты машинного перевода. Для компьютеризации процесса перевода потребовались его строгие и непротиворечивые лингвистические описания. Вместе с тем становилось ясно, что исследователи машинного перевода и представители «традиционного» переводоведения говорят на разных языках: первые — на языке структурной лингвистики, а вторые — на языке «традиционного» языкознания. Первой серьезной попыткой перебросить мост между двумя направлениями была интересная работа И. И. Ревзина и В. Ю. Розенцвейга, вышедшая в свет в 1964 г. [18]. Авторы поставили перед собой задачу ознакомить специалистов в области машинного перевода с проблематикой традиционных направлений переводоведения, изложив ее в терминах структурного языкознания. Однако фактически им пришлось выйти за пределы простого переформулирования традиционной теории, ввести ряд новых понятий и пересмотреть эту теорию по существу. Достоинством книги является то, что, в отличие от первых переводоведческих работ, в которых проблемы перевода сводились к проблемам межъязыковых соответст-

вий, здесь впервые главный акцент перемещался на перевод как процесс. В этой связи несомненный интерес представляет описание перевода на основе принципиальной схемы процесса коммуникации с использованием некоторых понятий теории информации. Вместе с тем в построенной авторами модели присутствует и идея межъязыковых соответствий, воплощенная в «языке-посреднике», который представляет собой сетку отношений между элементарными единицами смысла и набор универсальных синтаксических отношений. Существенный вклад в развитие теории перевода внесло также разложение процесса перевода на два этапа — анализ и синтез и выделение основных типов реализации процесса перевода с учетом коммуникативно-функциональных параметров речевой ситуации (перевод интерлинейарный, упрощающий и др.). В то же время далеко не все положения этой работы были в равной мере пригодными и для машинного, и для обычного перевода. Так, например, предлагаемое авторами разграничение перевода и интерпретации (первый осуществляется без обращения к действительности, на основе языка-посредника, а вторая допускает учет реальной внеязыковой ситуации) важно лишь для машинного перевода, поскольку в обычном (немашинном) переводе всегда присутствует обращение к реальной действительности. Перевод, осуществляемый человеком, не может ограничиваться лишь заданной сеткой соответствий. Именно поэтому нельзя согласиться с авторами книги, когда они считают недостатком «традиционной» теории А. В. Федорова признание творческого характера процесса перевода.

Еще более интенсивным развитием лингвистической теории перевода ознаменовались 70-е и 80-е годы. Заметным событием в формировании и становлении этой дисциплины был выход в свет книги Л. С. Бархударова, основанной на курсе лекций, прочитанных в МГПИИЯ им. М. Тореза [19]. На материале переводов художественной и общественно-политической литературы автор подверг рассмотрению процесс перевода с общелингвистической точки зрения. При этом он исходил из семантического определения перевода, согласно которому под последним понимается процесс преобразования речевого произведения на одном языке в речевое произведение на другом языке при сохранении неизменным плана содержания. Думается, что наиболее ценной в этом определении является совершенно справедливая мысль о том, что переводчик имеет дело не с языками как системами, а с речевыми произведениями, т. е. с текстами. Отсюда возникает возможность нейтрализации в речи семантических расхождений между языками и, в частности, расхождений между значениями. С другой стороны, известных уточнений требует положение о сохранении неизменным в процессе перевода плана содержания исходного текста. Сам автор делает существенную оговорку о том, что это положение следует понимать в относительном, но не в абсолютном смысле. При межъязыковом преобразовании неизбежны известные смысловые потери, в силу которых текст перевода никогда не может быть полным и абсолютным эквивалентом текста подлинника. Задача переводчика состоит в том, чтобы свести эти потери до минимума. Иными словами, «неизменность плана содержания» — это не столько признак самого перевода, сколько — идеальный эталон, к которому стремится переводчик.

Из широкого круга вопросов, обсуждаемых в книге Л. С. Бархударова, следует особо выделить вопрос о семантических соответствиях при переводе — о передаче референциальных, прагматических и грамматических значений, о роли контекста и ситуации, а также детально рассматриваемый вопрос о переводческих трансформациях.

В тот же период вышли в свет две книги В. Н. Комиссарова — «Слово о переводе» [20] и «Лингвистика перевода» [21]. В этих работах автор обосновывает целесообразность выделения особого направления в языкознании — лингвистического переводоведения, или лингвистики перевода. При этом дается описание предмета, методов и задач этого направления, оценивается статус общей теории перевода, рассматриваются проблемы семантики, прагматики и стилистики перевода, ставится вопрос о принципах изучения перевода и, в частности, его моделирования, а также о норме перевода. Обе работы тесно связаны друг с другом и отражают разные этапы разработки единой концепции.

В основе этой концепции лежит положение о том, что в переводе различаются следующие типы эквивалентности: 1) эквивалентность на уровне цели коммуникации (*Do you take me for a fool? = Что я маленькая, что ли?*), 2) эквивалентность на уровне «идентификации ситуации», т. е. описания одной и той же ситуации разными способами (*He answered the telephone = Он снял трубку*), 3) эквивалентность на уровне способа описания ситуации (*Scrubbing makes me bad-tempered = От мытья полов у меня характер портится*), 4) эквивалентность, основанная на сохранении трансформационных связей между синтаксическими структурами (*He was never tired of old songs = Старые песни ему никогда не надоедали*) и, наконец, 5) эквивалентность, основанная на максимальной общности подлинника и перевода (*I saw him at the theatre = Я видел его в театре*). Эти положения, действительно, отражают объективную реальность. В самом деле, нетрудно убедиться в том, что эти типы эквивалентности соответствуют известным переводческим трансформациям (ситуативным, семантическим, грамматическим, субституции). Менее убедителен отстаиваемый автором узколингвистический подход к переводу, его призыв изучать перевод не столько как вид речевой деятельности, сколько как «проявление системы языка» [21, с. 27].

Иной подход был предложен автором настоящей статьи в работе [22], в основе которой лежат положения о том, что перевод — это не только соприкосновение двух языковых систем, но и соприкосновение двух разных культур, а порой и разных цивилизаций. Автор указывает, что процесс перевода детерминируется не только языковыми, но и социальными и психологическими факторами, а также что для теории перевода важно не только сопоставление языковых систем, но и выявление их речевых реализаций. В книге было выдвинуто положение о функциональном инварианте перевода, включающем функциональное содержание исходного сообщения, т. е. его смысловую сторону, как семантическую, так и прагматическую, определяемую коммуникативной установкой отправителя и функциональными характеристиками текста. Кроме того, в книге обосновывается метод «проб и ошибок» как метод последовательного приближения к оптимальному переводческому решению путем отклонения вариантов, не отвечающих критериям выбора. Автор говорит о функциональных доминантах высказывания (т. е. его функциях — денотативной, экспрессивной и др., играющих в нем главенствующую роль) как об определяющем факторе стратегии перевода, об иерархии «фильтров» — структурных, семантических и стилистических ограничений, сужающих диапазон языковых средств, используемых для построения высказывания и определяющих выбор тех или иных способов перевода. Особое место в этой книге занимает прагматика перевода. Рассмотрение перевода в его прагматическом аспекте привело к выводу о том, что учет прагматических факторов, влияющих на процесс перевода и его конечный результат, вле-

чет за собой не только включение в текст дополнительных элементов, но и исключение из него элементов, избыточных с точки зрения конечного получателя, а также ряд смысловых преобразований (генерализацию, конкретизацию, смещение и др.). Книга преследовала цель наметить некоторые пути разработки лингвистической теории перевода, ориентированной на перевод как коммуникативный процесс, как процесс поиска решений, отвечающих определенному набору переменных критериев.

С данной работой тесно смыкается опубликованная в 1981 г. книга Л. К. Латышева [23], исходящая из сформулированного М. Я. Цвиллингом [24] положения об эвристическом характере процесса перевода, детерминированном многочисленными конкретными условиями лингвистического и нелингвистического характера, определяющими выбор переводчиком различных стратегий поиска и реализацию решения. В своей работе Л. К. Латышев различает два основных вида эквивалентности — функциональную (т. е. эквивалентность функции без эквивалентности смыслового содержания) и функционально-содержательную (эквивалентность как функции, так и смыслового содержания текста). При этом основное внимание автора сосредоточено на двух задачах: на обосновании теоретической концепции эквивалентности и на описании путей ее достижения.

В 70-е — 80-е годы вышли в свет работа Л. А. Черняховской, посвященная коммуникативной (тема-рематической) структуре высказывания и ее передаче в переводе [25], и книга К. Амбрасаса-Саснавы, раскрывающая сущность процесса перевода, определяющая единицу перевода и рассматривающая логико-коммуникативные признаки исходного и конечного текстов [26]. Появилась также книга В. Н. Крупнова, в которой освещаются некоторые частные проблемы теории перевода (перевод фразеологии, неологизмов, интернациональной и безэквивалентной лексики) [27]. Особо следует выделить написанную на материале испанского языка книгу З. Д. Львовской, в которой излагается коммуникативно-функциональная теория перевода, исходящая из дифференциации значения как категории языка и смысла как категории речи (речевой ситуации). Автор описывает факторы, формирующие речевую ситуацию, и их роль в процессе порождения и интерпретации текста, а также компоненты смысловой структуры текста и их взаимодействие. В итоге делается вывод о том, что инвариант в переводе — не абсолютная, а относительная величина (отношение семантического компонента смысла к прагматическому и ситуативному компонентам) и что адекватным можно считать перевод, обеспечивающий инвариантность прагматического и ситуативного компонентов смысла [28, с. 75—162].

Проблемы лингвистической теории перевода активно обсуждались на страницах «Тетрадей переводчика» (в 1958—1962 гг. издавались типографическим способом в МГПИИЯ им. М. Тореца, а с 1963 г. издаются типографским способом сначала в издательстве «Международные отношения», а затем в издательстве «Высшая школа»), на всесоюзных конференциях, проведенных в 1970 и 1975 гг. в МГПИИЯ им. М. Тореца, на ряде международных конференций с участием советских ученых. В 1982 г. в Институте языкознания АН СССР была создана Проблемная комиссия по теории перевода, которая уже завершила работу по теме «Текст и перевод» и приступила к разработке проблемы «Коммуникация и перевод». Продолжалась интенсивная разработка проблем художественного перевода: вышел в свет ряд работ [29—31], в том числе посвященных языковым аспектам художественного перевода [32]. Впервые объектом теоретиче-

ского и экспериментального исследования стал устный перевод [33]. В этой связи следует особо отметить работу Г. В. Чернова, посвященную такому малоизученному виду устного перевода, как синхронный перевод [34]. Анализируя его с позиций психолингвистики, автор экспериментально обосновывает гипотезу, согласно которой «загадка» синхронного перевода (одновременность процессов слушания и говорения) решается на основе модели вероятностного прогнозирования: воспринимаемая речь, переводчик одновременно строит предположения о ее возможном завершении. Анализ Г. В. Чернова дополняется исследованием того же объекта с иных позиций, предпринятым А. Ф. Ширяевым [35].

Столь же плодотворно разрабатывались проблемы научно-технического перевода. Особого упоминания заслуживает деятельность Всесоюзного центра переводов — его конференции, семинары, публикации. Результаты проведенной им работы по теоретическому обобщению практического опыта переводчиков научно-технической литературы нашли свое отражение в серии работ Ю. В. Ванникова, посвященных основным терминологическим аспектам переводческой деятельности, описывающих типы научно-технических текстов и содержащих терминологический тезаурус по теории и практике научно-технического перевода [36—38]. Если на раннем этапе развития теории перевода преобладали, как отмечалось выше, работы в области художественного перевода, то в дальнейшем все более заметное место занимает лингвистическая теория перевода. Ее развитие характеризуется двумя противоположными тенденциями: с одной стороны, наблюдается специализация научного поиска, растет число работ, посвященных отдельным жанрам и видам перевода, а с другой — интеграция исследований в рамках общей теории перевода. К сожалению, последняя тенденция еще не получила достаточного развития. По-прежнему остается актуальной задача разработки единого метаязыка и понятийного аппарата переводческого исследования. Для этого необходимо преодоление междисциплинарных барьеров и, в частности, барьеров между лингвистикой и литературоведением. Сделаны лишь первые шаги в области изучения философских проблем перевода [39].

Никогда еще в истории нашей страны перевод не играл столь важной роли, как в наше время. Перевод вносит все более существенный вклад в осуществление растущих международных связей и связей между братскими народами нашей страны. Успехи советской теории перевода неоспоримы, и вместе с тем она еще в долгу перед переводческой практикой. Ее дальнейшее развитие будет в значительной мере способствовать решению ответственных задач, стоящих перед переводом.

ЛИТЕРАТУРА

1. Горький М. Несобранные литературно-критические статьи. М., 1941.
2. Горький М. Собр. соч.: В 30 т. М., 1955. Т. 30.
3. Чуковский К. И. Переводы прозаические. Принципы художественного перевода. Пг., 1919.
4. Чуковский К. И. Искусство перевода. М.—Л., 1936.
5. Чуковский К. И. Высокое искусство. М., 1941.
6. Чуковский К. И. Высокое искусство. 2-е изд. М., 1964.
7. Смирнов А. А. Перевод // Литературная энциклопедия. Т. 8. М.—Л., 1934.
8. Федоров А. В. Проблема стихотворного перевода // Поэтика. II. Л., 1927.
9. Федоров А. В. О художественном переводе. Л., 1941.
10. Рецкер Я. И. О закономерных соответствиях при переводе на родной язык // Вопросы теории и методики учебного перевода. М., 1950.

11. *Рецкер Я. И.* Теория перевода и переводческая практика. Очерки лингвистической теории перевода. М., 1974.
12. *Федоров А. В.* Введение в теорию перевода. М., 1953.
13. *Федоров А. В.* Введение в теорию перевода. Лингвистические проблемы. М., 1958.
14. *Федоров А. В.* Основы общей теории перевода. Лингвистический очерк. М., 1968.
15. *Федоров А. В.* Основы общей теории перевода. Лингвистические проблемы. М., 1983.
16. *Гаччиладзе Г. Р.* Вопросы теории художественного перевода. Тбилиси, 1959.
17. *Кашкин И. А.* Для читателя-современника. Статьи и исследования. М., 1977.
18. *Ревзин И. И., Розенцвейг В. Ю.* Основы общего и машинного перевода. М., 1964.
19. *Бархударов Л. С.* Язык и перевод. М., 1975.
20. *Комиссаров В. Н.* Слово о переводе. М., 1973.
21. *Комиссаров В. Н.* Лингвистика перевода. М., 1980.
22. *Швейцер А. Д.* Перевод и лингвистика. М., 1973.
23. *Латышев Л. К.* Курс перевода (эквивалентность перевода и способы ее достижения). М., 1981.
24. *Цвиллинг М. Я.* Об эвристической интерпретации процесса перевода и ее методическом применении // Теория перевода и научные основы подготовки переводчиков: Материалы Всесоюзной научной конференции. Ч. II. М., 1975.
25. *Черняховская Л. А.* Перевод и смысловая структура. М., 1976.
26. *Ambrasas-Sasnava K.* Vertimo mokslas. Vilnius, 1978.
27. *Крупнов В. Н.* В творческой лаборатории переводчика. М., 1976.
28. *Львовская З. Д.* Теоретические проблемы перевода. М., 1985.
29. *Коптилов В. В.* Актуальные вопросы украинского художественного перевода. Киев, 1971.
30. *Копанев П. И.* Вопросы истории и теории художественного перевода. Минск, 1972.
31. *Россельс В. М.* Эстафета слова. Искусство художественного перевода. М., 1972.
32. *Виноградов В. С.* Лексические вопросы перевода художественной прозы. М., 1978.
33. *Миньяр-Белоручев Р. К.* Общая теория перевода и устный перевод. М., 1980.
34. *Чернов Г. В.* Теория и практика синхронного перевода. М., 1978.
35. *Ширяев А. Ф.* Синхронный перевод. М., 1979.
36. Основные терминологические аспекты переводческой деятельности. М., 1984.
37. Типы научно-технических текстов и их лингвистические особенности. М., 1985.
38. Тезаурус по научно-техническому переводу. М., 1986.
39. *Гаурбеков Б. Г.* Философские проблемы науки о переводе. (Гносеологический анализ). Баку, 1974.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

МУРЯСОВ Р. З.

ГРАММАТИКА ПРОИЗВОДНОГО СЛОВА

Межуровневый характер словообразования, как это было показано в известной работе В. В. Виноградова, обуславливает его сложные взаимоотношения с лексикой и грамматическим строем языка [1]. Углубленное изучение сущностных характеристик словообразования в его связях и взаимоотношениях с другими уровнями языка, в особенности с грамматикой, как отмечает Е. С. Кубрякова, выдвинуло словообразование на передний план лингвистических исследований [2]. Более того, словообразование, оказавшись на пересечении лексикона, морфологии, синтаксиса и семантики, стало одной из центральных проблем лингвистических дискуссий [3, 4].

В данной статье будут показаны виды связи словообразования с грамматикой языка, грамматические аспекты словообразования, т. е. *sui generis* грамматика словообразования. В частности, рассматриваются следующие аспекты грамматики словообразования: 1) словообразование как грамматика лексикона, 2) словообразование, части речи и внешняя морфология производной лексики, 3) изограмматические, т. е. «грамматикоподобные» функции словообразования в составе функционально-семантических полей (ФСП) [5] или грамматико-лексических полей [6], 4) словообразование как структурный минимум выражения синтаксических отношений и 5) словообразование и текст. Каждый из этих аспектов словообразования представляет собой комплекс проблем, заслуживающих крупных монографических исследований. Поэтому в рамках данной статьи речь идет лишь об общей характеристике грамматических аспектов словообразования.

1. Словообразование как грамматика лексикона. Общепризнанным можно считать тот факт, что для грамматических языков в сосюрвовском понимании, т. е. языков, в которых мотивированность максимальна, основным источником обогащения словарного состава языка служит функционирование совокупности словообразовательных моделей, по которым образуются новые слова на базе имеющихся в языке лексических единиц и словообразовательных формантов.

Возможны разные принципы и подходы к структурированию вокабуляра языка. Наиболее рельефны (как в формальном, так и в семантическом отношениях) те классы слов, которые отмечены формальными структурными признаками. Морфологическая репрезентация семантических категорий делает их структурно спаянными категориями в отличие от лексико-семантической системы языка, существенной особенностью которой, как отмечает Д. Н. Шмелев, является семантическая неопределенность [7]. Квалификация словообразования как грамматики лексикона пред-

полняет его классификационную функцию, функцию упорядочения по отношению к лексике языка. В отличие от грамматики в строгом смысле слова функционирование словообразовательных моделей не достигает той степени универсальности охвата лексики, которая характерна для словоизменяющей морфологии. Но изучение механизма функционирования словообразовательной системы позволяет вскрыть тенденции, закономерности, напоминающие в той или иной степени функционирование грамматических категорий, что позволяет говорить о «грамматикоподобных» процессах в словообразовании. Уже сама моделируемость производной части лексики интерпретируется некоторыми лингвистами как грамматичность [8].

Признание многими лингвистами грамматикоподобных правил в словообразовании является своего рода антиподом точки зрения тех лингвистов, которые рассматривают словообразовательные отношения как нерегулярные и соответственно относят производные слова (наряду с неппроизводными) к лексикону языка, определяемому, например, Н. Хомским как «the full set of linguistic irregularities» [9]. В известной степени понимание грамматичности — неграмматичности сводится, таким образом, к наличию регулярности — нерегулярности в словообразовании. Однако словообразование обладает своей грамматикой, т. е. своей регулярностью и повторяемостью. Если грамматическая регулярность носит с определенными оговорками универсальный характер, то применительно к словообразованию можно говорить об ограниченной регулярности. Как известно, грамматическая регулярность тоже не всегда абсолютна. Например, категория залога в индоевропейских языках может быть представлена в виде неравнообъемной по охвату лексики оппозиции «актив — пассив». Более того, при «лексикографической параметризации» [10], по мнению сторонников генеративного синтаксиса, глаголы могут быть снабжены наряду с другими лексическими параметрами также маркером «пассив[±]» [11], т. е. всеми теми грамматическими признаками, которые подвержены противодействию факторов лексического порядка. Понятие грамматичности в словообразовании может быть также интерпретировано как мотивационная прозрачность структурных и семантических отношений между НС производного слова, как возможность синтагматического «прочтения» производного слова, т. е. возможность конструирования комплексного значения производного, исходя из значений его НС [12].

Между продуктивностью, регулярностью и степенью грамматичности в смысле мотивационной прозрачности в словообразовании существует самая прямая связь. Это положение легко может быть подтверждено на примере инфинитивных субстантиватов и отглагольных суффиксальных производных существительных. Так, субстантивация инфинитивных форм глаголов в немецком языке практически не имеет ограничений, причем этот процесс, как правило, не привносит в лексическое значение глагола ничего нового, а наделяет его новой синтаксической функцией, хотя и здесь синтаксическая перспектива личной формы глагола и синтаксическая перспектива соответствующего субстантивата могут быть далеко не идентичными. Если для инфинитивных субстантиватов характерна опредмеченность действия, а не предметное значение, и сам по себе инфинитив не «отягощен» аспектуально-темпоральными значениями, то на продуктивность и регулярность других отглагольных моделей, например, производных с суф. *-ung*, налагаются существенные ограничения, обусловленные не только наращениями, являющимися результатом «постсемантических процессов» [13], но и такими изограмматическими наслоеми,

как залоговость, аспектуальность и темпоральность. Еще большим ограничениям подвержены имплицитные производные и существительные, образованные путем использования морфологических явлений в структуре слова, квалифицируемых в морфологии внутренней флексией. Такие производные обнаруживают явную тенденцию к выражению помимо конкретно-предметных значений также изограмматических значений.

Убывание степени грамматичности и усиление тенденции к идиосинкразии можно продемонстрировать на примере лексикографических интерпретаций слов, в которых, как отмечает Ю. Н. Караулов, могут быть представлены как структурогенные, т. е. собственно языковые параметры, так и параметры, «содержание которых по необходимости включает и экстралингвистический фактор — денотативный, историко-культурный, прагматический...» [10, с. 70]. Экстралингвистические наслоения на смысловую структуру лексических единиц обуславливают их разную лексикографическую интерпретацию. Взаимосвязь между семантической интерпретацией лексических единиц и социально-политическими факторами А. И. Домашнев демонстрирует на основе анализа некоторых словарных единиц с идеологически ориентированным содержанием в изданиях Дудена в Лейпциге (ГДР) и Мангейме (ФРГ) [14]. Производные с идеологически ориентированной семантикой не допускают синтагматического прочтения своей семантической структуры. Их семантика «перегружена» многочисленными уточнителями, отражающими те или иные социально-политические и экономические факторы.

«Грамматичность» суффиксального словообразования представляется очевидной прежде всего потому, что семантические категории репрезентируются словообразовательными структурами, в составе которых словообразовательные формативы, морфемы выступают как бы в качестве фокусирующего центра этих категорий. Словообразовательный форматив в силу своей рекуррентности, многократной повторяемости, как бы отчуждаясь от своих производящих основ, становится, или, по крайней мере, воспринимается как формальный представитель всех производных с ним, а следовательно, той семантической категории языка, которую данные производные конституируют. Отчуждение аффиксов от самих производных, их относительная автономизация позволяет рассматривать их как «понятийные классификаторы», т. к. каждой суффиксальной модели присуще основное поле, доминирующий понятийный класс семантического сопряжения. Особенно ярко это свойство словообразовательных аффиксов проявляется в следующих двух явлениях: во-первых, в способности суффикса образовать существительное с ярко выраженным глагольным содержанием при отсутствии самого глагола, ср.: *Parteiung* «geh. Zersplitterung in einander bekämpfende Parteien», *Diversant* «Neuwort DDR jmd., der die Diversion betreibt» [15], во-вторых, автономизация аффикса достигает своего апогея в приобретении им лексического статуса, ср.: *Der Begriff volkstümlich selber ist nicht allzu volkstümlich. Es ist nicht realistisch, dies zu glauben. Eine ganze Reihe von «Tümllichkeiten» müssen mit Vorsicht betrachtet werden* [16, s. 388] ¹, *Ost und West und dieser Ismus und jener Ismus* [17, с. 205].

Подобно тому, как формальным репрезентантом грамматической категории в идеальном случае служит словоизменительная парадигма, которая

¹ Интересно отметить, что в немецком языке имеется ряд полиморфемных слов, состоящих из одних аффиксов: *Urtum, urtumlich, Urtümllichkeit, das Urtümlliche, mißlich, Mißlichkeit, exen.*

иногда может состоять из парадигм-вариантов, деривационно-семантическая категория репрезентируется в языковой структуре набором словообразовательных моделей. Так, категория падежа в современном немецком языке морфологизована в пяти типах склонений, а в древнегерманских языках она была представлена значительным количеством типов склонений. Подобная аналогия между словообразованием и грамматикой позволяет рассматривать набор словообразовательных моделей, репрезентирующих определенную семантическую категорию, как деривационную парадигму. При грамматическом подходе к словообразованию возможна именно такая трактовка деривационной парадигмы [18], а определение словообразовательной парадигмы как словообразовательного гнезда или его фрагмента базируется на лексикоцентрическом подходе к словообразованию.

Если грамматический строй выполняет роль цементирующей и систематизирующей стороны языка в целом [19], то аналогичную функцию по отношению к лексике языка выполняет словообразование.

II. Словообразование, части речи и их грамматические характеристики. Поскольку лингвистическая «паспортизация» любого слова языка начинается с определения его отнесенности к той или иной части речи, классификационная роль словообразования также начинается с уровня части речи, т. к. каждая часть речи характеризуется определенным, присутствующим только ей инвентарем словообразовательных средств. Присутствие в составе слова того или иного суффикса в качестве структурного оформителя исхода основы является факультативным, но высоковероятным и, как правило, однозначным определителем характера части речи. Производное слово, будучи как по своему морфологическому строению, так и по характеру выражаемого им значения сложной, комплексной и в силу этого расчлененной структурой, представляет собой по своей сути результат взаимодействия либо таких основополагающих ономаσιологических категорий языка, как предметность, признаковость и процессуальность, либо субклассов, или субкатегорий, вычленяемых в рамках этих категорий.

В зависимости от того, какие семы взаимодействуют в иерархической семантической структуре производящей основы и ожидаемой части речи, представленной в виде словообразовательного форманта, можно говорить о степени «грамматичности» того или иного вида словообразования. Наиболее «грамматичным» представляется, с этой точки зрения, так называемая синтаксическая деривация или транспозиция, трактуемая как деривационный процесс. В результате этого процесса изменяется только синтаксическая функция исходного слова, в то время как его лексическое значение остается неизменным. Если части речи представляют собой грамматические категории [2, 20], синтаксические дериваты образуются только на основе сем на уровне части речи, т. е. перед нами грамматические гиперсемы в чистом виде, без дополнительных смысловых наращений. Разумеется, далеко не все словообразовательные значения формируются только на уровне взаимодействия категориальных гиперсем. В связи с этим Е. С. Кубрякова замечает: «Если бы, действительно, словообразовательные значения могли описываться в таких формах, как „предмет, имеющий отношение к признаку или процессу“ и пр., словообразование следовало бы признать областью выражения грамматических значений» [2, с. 109].

Суффиксы могут служить структурными показателями не только отнесенности слов к определенной части речи, но и предопределяют более узкие грамматические признаки, например, такие категории существительных, как грамматический род, принадлежность к одному из существующих

в современном немецком языке типов склонения и образования мн. числа. Способность суффиксов сообщать производным пучок потенциальной информации не одинакова для собственно немецкой и заимствованной лексики. Если немецкие суффиксы в основном однозначно указывают на грамматические признаки производных, то этого нельзя утверждать об иноязычных суффиксах.

По степени интенсивности грамматической предсказуемости суффиксы можно разделить на несколько групп: 1) суффиксы, однозначно предсказывающие морфологические признаки существительных; их грамматический род, тип склонения и способ образования мн. числа, 2) суффиксы, однозначно предсказывающие один или два грамматических признака, но не все, 3) суффиксы с диффузной грамматической потенцией, т. е. не способные преддетерминировать точно ни один из грамматических признаков. Суффиксы, однозначно предсказывая один грамматический признак, так же однозначно предсказывают другой или другие грамматические признаки. Решающая роль при этом принадлежит признаку рода.

III. Словообразовательные модели в качестве конstituентов функционально-семантических или грамматико-лексических полей. Как известно, функционально-семантический подход предполагает функциональную сопряженность разноуровневых, структурно разнородных средств данного языка, объединенных на основе определенного семантического инварианта. При типологии словообразовательных значений некоторые из них получают одноименные или сходные с грамматическими категориями названия, что позволяет постулировать наличие глубинных связей между ними. Подобного рода словообразовательные значения мы называем и з о г р а м м а т и ч е с к и м и д е р и в а ц и о н н ы м и з н а ч е н и я м и. Общие замечания о функциональных связях между словообразованием и грамматикой высказывались и раньше. Однако грамматический аспект словообразования стал предметом углубленного изучения благодаря двум обстоятельствам. Во-первых, синтаксический «бум» в лингвистике последних десятилетий коснулся и словообразования и оно стало рассматриваться в рамках трансформационной грамматики. Во-вторых, функционально-семантический подход к языку в плане взаимодействия его уровней стимулировал изучение словообразования с точки зрения его возможностей дублировать значения, находящие в языке свое последовательное и универсальное выражение в парадигматических моделях, образующих грамматическое ядро ФСП. Привлечение к анализу словообразовательных средств в качестве конstituентов ФСП приводит к выявлению их «грамматикоподобных» функций (*grammatikähnliche Funktionen*) [8].

В качестве конstituентов ФСП словообразовательные средства в зависимости от характера выражаемых ими значений и частеречной характеристики репрезентируемой категории находятся в различных соотношениях с грамматическим ядром ФСП.

1. Словообразовательные средства в качестве периферийной зоны ФСП и морфологическое ядро являются категориально гомогенными, т. е. функциональная общность существует в рамках одной части речи. Другими словами, словообразовательные средства какой-либо части речи служат для выражения того или иного грамматического значения этой же части речи. Например, деривационная категория собирательности выступает в качестве конstituента поля множественности, грамматическим ядром которой являются формы мн. числа существительных.

2. Словообразовательные модели могут выступать как периферийное

средство выражения данной части речи, онтологически ей не присущих грамматических значений, унаследованных от другой части речи. Так, грамматическая глагольная оппозиция «актив—пассив» находит своеобразное преломление в отглагольных существительных и прилагательных: *Lehrer — Lehrling, Finder — Findling, Prüfer — Prüfling*. Особое место занимают в этом отношении аффиксальные модели имен прилагательных. Промежуточное положение прилагательного в системе частей речи между существительным и глаголом находит свое отражение также в его способности выражать грамматические значения как существительного, так и глагола. Производные десубстантивные прилагательные могут быть функциональными эквивалентами генитива существительных с посессивным значением (*genetivus possessivus* и *genetivus auctoris*): *Schillers Balladen — Schillersche Balladen, das Haus des Vaters — das väterliche Haus*, ср. русск. *сын дядюшки — дядюшкин сын*. Глагольные категории залога и модальности находят в аффиксальных прилагательных сопряженное выражение: *Keine Straße, die dahin führte, war mehr für die Saigoner be f a h r b a r (k o n n t e mehr von den Saigonern be f a h r e n werden)* (NBI. 1985. Nr. 23) ².

На основе изучения соотношения словообразования и грамматических категорий как грамматических признаков частей речи и по характеру участия словообразовательных средств в репрезентации грамматических значений можно выделить следующие ФСП.

Во-первых, ввиду отсутствия словоизменительной парадигмы словообразовательные средства берут на себя функцию языковой репрезентации той или иной грамматической категории и, следовательно, выступают в качестве основного средства ее выражения. Так, категория вида в русском языке квалифицируется как несловоизменительная морфологическая категория, так как «видовая пара — это противопоставление разных глаголов, находящихся между собой в отношениях словообразовательной мотивации» [21, с. 584]. Таким образом, аффиксальные средства, выполняя функцию словоизменительных парадигм, являются единственными системными выразителями данной категории.

Во-вторых, ФСП может обладать грамматическим ядром в виде морфологических средств, характеризующихся, однако, не абсолютной универсальностью, выражающейся в том, что не все члены категориальной оппозиции репрезентированы словоизменительными средствами, т. е. в грамматических оппозициях возникают парадигматические лакуны, которые как раз и заполняются словообразовательными средствами. В таких случаях словообразовательные средства не просто дублируют грамматические, а становятся равноправными с грамматическим способом представления категориального значения средствами, партнерами. Следовательно, они являются, наряду с грамматическими средствами, составной частью ядра, центра ФСП [17, с. 16].

В-третьих, в составе некоторых ФСП ни словоизменительные, ни словообразовательные средства не могут претендовать на роль структурной доминанты, ядра. И те и другие, занимая равноправное положение, принимают участие в непоследовательной, диффузной формальной структуре поля.

В-четвертых, наиболее характерным свойством словообразования с точки зрения его соотношения с морфологическими средствами в структуре

² В статье приняты следующие сокращения: NBI — Neue Berliner Illustrierte; ND — Neues Deutschland; BZ — Berliner Zeitung.

ФСП является его способность выступать в качестве конститuentов периферийной зоны поля, обладающего грамматическим ядром в виде словоизменительной парадигмы.

Особый интерес представляют случаи, когда грамматические категории одной части речи находят свое отражение в другой части речи, причем они связаны между собой деривационными отношениями. Большой гибкостью и «живучестью» характеризуются грамматические категории глагола, которые в акте словопроизводства не исчезают без последствий для соответствующих производных существительных и прилагательных. Совокупность грамматических и лексических значений производящей основы выступает в качестве одного из важнейших конструктивных факторов, определяющих смысловую структуру производной единицы. Рассмотрим грамматические категории глагола, которые с разной степенью компрессируемости представлены в словопроизводстве существительных, а именно, категории времени, залога и вида.

Категории времени, вида и залога, в особенности пассива, выступающие в словообразовании, как и в морфологии, в тесной взаимосвязи и сложном переплетении, находят разные отражения в различных видах словообразования: транспозиции, мутации и модификации. С этой точки зрения заслуживают внимания *nomina agentis* и *nomina actionis*, а также производные от последних *nomina acti* и *nomina resultatis*.

В большинстве случаев существительные с агентивным значением эксплицируются в перефразе глагольной формой настоящего времени. Перефразы агентивных существительных содержат презенс с атемпоральным значением, названный некоторыми лингвистами «общим временем» (*das generale Tempus*), «вневременной формой» или качественным презенсом.

Благодаря своей атемпоральности агентивные имена противопоставляются субстантивированным причастиям I с агентивным значением по признакам «атемпоральность: актуальность действия», ср.: *Die Welt ist voll von Lauschern und Konkurrenz* [22, с. 267]; *Wächter lehnt sich aus der vorgereckten Haltung des Lauschenden zurück und wirft sich gegen die Stuhllehne...* [23, с. 257].

Перфективное значение анализируемых производных приобретает еще большую очевидность в тексте благодаря рядоположному употреблению перфектной формы глагола. Производное может занимать по отношению к грамматической форме antecedentное положение или, наоборот, оно предваряется грамматической формой, т. е. перфектом, ср.: «*Ich sage dir nur soviel*», *antwortete ihm Pötsch*, «*die Jarowisierung haben* sowjetische Agrarwissenschaftler *entdeckt*»; «*Wie heißt der Entdecker?* fragte Propagandasekretär Wummer und hielt seinen Block schreibbereit [24, с. 45]; *Da schrie die Frau über denselben Knecht: «Du Mörder, du hast meinen Mann totgeschlagen* [25].

Перфективное значение характерно не только для агентивных производных. Оно встречается, правда, в осложненном аспектуальном и залоговым значениями виде, также в других деривационно-семантических категориях: *Doch eines Tages entdeckte ein Philologe, das Herr B... die Größe des deutschen Kaisers gefeiert und kriegerische Verse verfaßt hatte. Er war damals 16 Jahre alt. Als man Herrn B. die Entdeckung des Philologen vorhielt, meinte er: «Auch ich habe meine Achillesverse»* [16, с. 492—493].

Категория залога. Подобно тому как актив и пассив образуют неравнообъемную оппозицию в смысле охвата лексики, данная оппозиция асимметрична также в словообразовании. Активный член оппозиции, т. е.

агенс, располагает богатым набором словообразовательных средств [26], в то время как пациенс представлен в словообразовательной системе значительно слабее, чем агенс, так как непреходные глаголы, равно как и в морфологии, не способны создавать оппозицию «агенс—пациенс». Можно указать на следующие виды проявления субъектно-объектных отношений в словообразовательной системе.

1. Максимальную продуктивность обнаруживает оппозиция «агенс (лицо) — пациенс (продукт деятельности, результат действий лица)»: *Binder — Gebinde, Fälscher — Fälschung, Finder — Fund, Flechter — Geflecht* и т. д.

2. Наиболее четко проявляются субъектно-объектные отношения в суффиксальной системе обозначений лица: *Adressant — Adressat, Appellant — Appellat, Finder — Findlung, Gönner — Günstling, Pfleger — Pflegling, Schützer — Schützling* и т. д. При отсутствии пассивного коррелята в суффиксальной системе в качестве пассивного члена оппозиции выступает субстантивированное причастие II. Создается своего рода смешанная оппозиция: суффиксальное существительное — субстантивация грамматической формы: *Ausbeuter — Ausgebeutete* (r), *Beleidiger — Beleidigte* (r), *Lügner — Belogene* (r), *Mörder — Ermordete* (r), *Sieger — Besiegte* (r).

3. В качестве агенса могут выступать названия инструментов, технических приспособлений, приборов: *Filter* (непроизводный агенс) — *Filtrat, Ausfeger* «щетка для подметания» — *Ausfegsel* «мусор, сор».

4. Если в рамках грамматической категории залога, как отмечает А. В. Бондарко, существует «множество активных образований, которым не соответствуют пассивные, но нет пассивных образований, которым не соответствовали бы активные» [27], то в суффиксальной системе возможно раздельное существование как агенса, так и пациенса. Правда, последний встречается относительно редко, например: *Favorit, Firmling, Implung, Konfirmand, Korrigend* и т. п. Названия математических единиц, участвующих в арифметических действиях или используемых в математических операциях, в основном образуют пассивную форму и редко — оппозицию «агенс—пациенс», ср.: *Addend, Integrand, Logarithmand, Minuend, Radikand, Subtrahend, Summand, Divisor — Divident, Multiplikator — Multiplikand*.

Категория статива обладает в словообразовательной системе сложной конфигурацией, обусловленной переплетением в производных существительных лексического и грамматического статива. В морфологии возможно разграничение статива и результатива, а в рамках последнего субъектного и объектного результативов. В отличие от лексического статива, который «сообщает только о состоянии предмета, результатив же — одновременно о состоянии и о предшествующем ему действию, результатом которого явилось это состояние» [28]. Однако в словообразовании имеет место их сложное переплетение. Статив является одним из регулярных значений модели с суф. *-ung*, например: *Überalterung* «das Überaltertsein». Статальное значение в семантической структуре производных часто коррелируется со значением опредмеченного действия [29]: *Bedrückung* «1) das Bedrücken, die Unterdrückung, 2) Niedergeschlagenheit», *Erregung* «1) das Erregen, 2) das Erregtsein, der Zustand des erregten Gemütes» [15].

Категория вида. Несмотря на отсутствие оснований для признания вида грамматической категорией, многие германисты включают видовую характеристику глагола в описание его грамматических свойств, в особенности грамматической категории времени [3⁰].

Категория вида в немецком языке ни в глагольной системе, ни в системе номинализаций не может быть признана категорией морфологической прежде всего потому, что она представляет собой не морфологическое свойство слова, а семантический признак пропозиции. Одновременно необходимо отметить, что в системе номинализаций аспектуальная дихотомия по признаку «перфективность/имперфективность» выражена более последовательно [31—34], чем в морфологии глагола по части речи, для которой аспектуальность в славянских языках является *catégorie domaine*.

IV. Словообразование и синтаксис. Поводом для признания определенной эквивалентности семантико-синтаксических отношений в предложении и производном слове послужила возможность интерпретации производных через синтаксические структуры. Повышенный интерес к синтаксическому аспекту словообразования обусловлен развитием трансформационной и генеративной грамматик. Синтаксическое развертывание, в котором самостоятельное языковое выражение находит не только НС производного, но и тип семантических связей между ними, представляет собой тот самый семантический эквивалент, который создает равновесие между двумя планами производного знака.

Как известно, в зависимости от характера привносимого в семантику производного значения аффикса и меж- и внутривидовых изменений в рамках аффиксального словообразования выделяются транспозиция, мутация, модификация. Тип выявляемых в них предикативных отношений не одинаков. С синтаксической точки зрения интерес представляют первые два типа, в особенности явление, названное синтаксической деривацией.

Между агентивными существительными и именами действия существуют противоположные синтаксические потенции. Имена деятеля обладают легко выявляемым внутренним синтаксисом. Они могут быть интерпретированы в виде синтаксических структур, в которых производящая основа эквивалентна предикату, а суффикс — одному из членов предложения — субъекту, объекту или обстоятельному уточнителю: *Beobachter* «jmd., der (etw., jmdn) beobachtet», *Prüfer* «jmd., der prüft», *Prüfling* «jmd., der geprüft wird» [15].

В зависимости от характера производящих основ в производных обнаруживаются явные или скрытые предикативные связи. Е. С. Кубрякова отмечает, что «сама предикативная связь выступает здесь в преобразованном виде — она латентна, и чаще всего только подразумевается, додумывается, домысливается...» [2, с. 143], например, *Eisenbahner* «jmd., der bei der Eisenbahn arbeitet». При именах действия суффикс не имеет соответствия в глубинной структуре. Имя действия лишено внутреннего синтаксиса. Говоря словами Д. Кастовского, суффикс в них возникает *ex nihilo* [35].

Совершенно противоположная тенденция наблюдается во внешнем синтаксисе имен деятеля и имен действия. Номинализация стремится сохранить все аргументы номинализируемого глагола, т. е. она характеризуется внешней синтаксической экспансией. Агентивные же имена и номинализации, усложненные постсемантическими процессами (например, конкретно-предметными значениями), стремятся свести аргументы базового глагола к минимуму вплоть до полного «освобождения» от них, так как субъектно-предикатные отношения представлены в структуре самого производного. Субъект синтаксической структуры, лежащий в основе имени деятеля, поглощается, впитывается производным. Однако существительные, обозначающие не постоянного, привычного, а эпизодического

исполнителя действия, образованные от переходных глаголов, сопровождаются соответствующими унаследованными от глагола аргументами, ср.: Er war mager und sehnig wie ein *Erkletterer hoher Berge*, ein *Erstürmer des Himmels* [22, с. 550]; Die Welt hat es heute mit einem ganz anderen Deutschland zu tun, einem fanatischen *Verächter* und *Vernichter alles Rechtes* [36, с. 78].

Имена действия, образованные от переходных глаголов, как правило, сопровождаются *genetivus obiectivus* или предложным объектом. При необходимости уточнения субъекта номинализованного действия появляется *genetivus subiectivus* или предложный субъект, как это имеет место в трехчленном пассиве: Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft (Fr. Engels); Er verurteilte die militärische Unterstützung der Rassisten durch einige Mitgliedsländer NATO .. (ND. 1985. Nr. 174).

Как известно, в отличие от глаголов, семантическая определенность которых достигается благодаря установлению их связей с аргументами, субстантивные лексемы самодостаточны. Однако, как явствует из приведенных выше примеров, самодостаточность существительных свойственна не всем субкатегориям данной части речи в равной степени. Синтаксические дериваты относятся к наименее самодостаточным существительным. Поскольку номинализацию можно рассматривать как «высоковероятный эквивалент придаточного предложения», выражающего «отношение процесса к другому процессу» [37], ее грамматические характеристики зависимы от таковых предикатов матричного предложения. Рассмотрим некоторые из них.

В отличие от агентивных существительных, которым значения атемпорального презенса и перфекта присущи как словарным единицам, т. е. входят в их семантическую структуру, в отглагольных номинализациях категория времени носит относительный характер в том смысле, что временная соотносительность номинализаций зависит от их таксиса³, т. е. от отношения ко времени предиката матричного предложения. Номинализации сами по себе атемпоральны. Их таксисное, т. е. относительное значение уточняется союзами, предлогами и другими лексическими индикаторами с темпоральным значением. Кроме временного союза *während*, наиболее продуктивным способом выражения одновременности действий в предложении является употребление номинализаций в сочетании с предлогами дательного падежа, ср.: Robert traf ihn in der Friedrichstraße, und der erste Schreck fuhr ihm in die Glieder, als Trimborn *bei der Begrüßung* den Hut abnahm und ihn dann *während des Gesprächs* in der Hand hielt [39, с. 271]. Er ist Amerikaner! dachte ich *im Laufen* [40, с. 170].

Отношение предшествования выражается как с помощью союзов и предлогов, так и причинно-следственными связями, существующими между разными действиями, причем одна и та же номинализация может выражать предшествование как в прошлом, так и в настоящем и будущем, что определяется временем предиката матричного предложения: Von «unserem deutschen Volk» hatte Wilhelm Pieck schon *nach der Befreiung* Berlins gesprochen (NBI, 1985. Nr. 23); Der Junge geht ran, und ich soll ihm den Kopf waschen, *Beschluß* der Leitung [39, с. 18].

³ Таксис определяется Ю. С. Масловым как «категория, характеризующая „действие“, обозначенное предикатом, с точки зрения его соотношения с другим упоминаемым в данном высказывании или подразумеваемым „действием“, причем имеется в виду хронологическое соотношение (одновременность — предшествование — следование), но также и противопоставление второстепенного „действия“ главному (ср. в русском языке: деепричастия в их отношении к личной форме глагола)» [38].

Значение следования или относительного будущего номинализации, как правило, предопределено лексическим значением предиката матричного предложения, указывающим на перспективу второстепенного действия. Таксис следования имеет место при глаголах с модально-интенциональным и футурально ориентированным значением: *Als ich seine Frau vom Flugplatz im Auto abholen wollte, konnte er nicht mitfahren, da er noch auf die Landung eines Flugzeugs warten mußte* [40, с. 138].

Тенденция к предетерминации отнесенности выраженного номинализации действия характерна не только для таксиса следования, хотя она здесь проявляется наиболее последовательно, но и для таксиса одновременности и предшествования. Например, при глаголах чувственного восприятия, сопровождаемых нередко в латинском языке конструкцией *accusativus cum infinitivo*, номинализации выражают одновременные с действием предложения действия: *Es war totenstill sonst, man hörte nur das Schluchzen der beiden Frauen* [40, с. 59].

V. Словообразование и текст. Текст как наивысшая единица в восходящем ряду системных единиц «морфема → слово → словосочетание → предложение» и как интегрированная структура представляет собой сложное коммуникативное целое, конструируемое средствами разных уровней языка. Удельный вес языковых средств в конструировании когерентности текста не одинаков. Среди различных способов передачи смысловых отношений между частями текста словообразование вносит свой вклад в языковое оформление его архитектоники. Виды связи словообразования с текстом различны. С одной стороны, текст служит источником возникновения нового слова или реактуализации, «оживления» внутрисинтагматических отношений между НС существующего в языке слова, а также новой семантической интерпретации готового производного слова. Текст и есть то языковое целое, та языковая реальность, в которой словообразовательная модель получает стимул для раскрытия своих деривационных потенций, и в тексте можно наблюдать за актом синхронной реконструкции словообразовательного акта [41]. Текст содержит мотивирующую часть в виде конкретной лексемы, суждения или цепи суждений производного, которая может предшествовать производному или следовать за ним, т. е. производящая и производная основы в тексте по отношению друг к другу могут быть как antecedентом, так и консеквентом: *Die Presse soll unserer Meinung nach helfende Kritik üben, aber nicht überspitzen.... Haben wir überspitzt?... Das waren dir vielleicht Überspitzerinnen?* [17, с. 422].

С другой стороны, одним из эффективных приемов обеспечения структурной спаянности текста является развертывание словообразовательного гнезда внутри текста. Слова с одной и той же корневой морфемой, функционирующие в различных лексико-грамматических разрядах и «разбросанные» в разных частях текста, служат средством обеспечения рекуррентности лексических единиц. В этом заключается текстообразующее название словообразовательного гнезда. Члены словообразовательного гнезда выполняют функцию обеспечения структурных и смысловых связей не только между текстами в рамках СФЕ как основной единицы грамматики текста, но и между разными СФЕ: *Stanislaus' Wundertätigkeit war für die Mitter ein Zeichen... Ohne Stuhl keine richtige Wundertäterei... Büdnerns Stube verwandelte sich in eine Wundertäterei; Du wirst es schon noch lernen, wie man wundertätig ist... Du sollst nur Wunder tun...; Es muß sich so anhörn, als ob sie dich zwingen und auf die Wundertaten hinstoßen* [24, с. 85—87].

Ни один из способов словообразования не связан с текстом и его частями так, как окказиональная субстантивация глаголов, прилагательных, словосочетаний и предложений. Окказиональная субстантивация не знает каких-либо ограничений. Ограничения существуют только для отдельных подтипов субстантивированных слов. Так, субстантивированные прилагательные и причастия мужского и женского родов относятся к разряду одушевленных имен, компрессирующих словосочетания, например, *Er ist angekommen* → *der Angekommene, ein untersetzter Mann* → *der Untersetzte*.

Субстантивации среднего рода функционируют в основном в поле абстрактности и характеризуются обобщенным значением, близким значению действительных слов.

Обусловленная словообразовательной спецификой немецкого языка большая продуктивность словосложения и субстантивации позволяет представить словосочетания и предложения в виде субстантивированного сложного слова, например: *Das Phänomen, dessen Zeuge wir sind...*, *ist der Verfall, das hoffnungslose Auf-den-Hund-gekommen-Sein des Eroberertums* [36, с. 85]; *Dieses Was-wäre-geworden-Wenn* [17, с. 426]; *Ein Wolltemalundkonntenicht* [17, с. 361].

Наиболее существенным словообразовательным фактором с точки зрения организации текста является номинализация, благодаря которой становится возможным свертывание субъектно-предикатных структур и включение их в другую субъектно-предикатную структуру в целях обеспечения тематической прогрессии текста.

Изучение словообразования в связи с теорией текста в настоящее время еще только набирает силу, и положение В. Флейшера о том, что «тексто-лингвистические потенции словообразовательных конструкций нуждаются в детальной разработке» [42], сохраняет свою актуальность.

Итак, связи словообразования с грамматикой носят многоплановый характер. Поскольку деривационные формативы являются строевыми элементами слова, структурными оформителями его основы, предшествуя в линейном плане словоизменительным маркерам, они предетерминируют, т. е. структурно обуславливают последние. Благодаря структурной, морфемной маркированности лексика языка предстает как достаточно упорядоченное, формально структурированное целое.

Многообразнее связи словообразования с грамматикой в функциональном плане. Словообразовательные модели обладают способностью дублировать категориальные значения, выражаемые в языковой системе парадигматическими средствами. Особого внимания заслуживает внутренний и внешний синтаксис производных слов. Производное слово представляет собой вторичную модель как по отношению к первичной номинации, так и по отношению к эксплицитным синтаксическим конструкциям, в качестве структурного минимума которых оно выступает. Наименее изучена роль словообразования в структурной организации текста.

ЛИТЕРАТУРА

1. Виноградов В. В. Словообразование в его отношении к грамматике и лексикологии // Вопросы теории и истории языка. М., 1952.
2. Кубрякова Е. С. Типы языковых значений. Семантика производного слова. М., 1981.
3. Brekle H. E., Kastovsky D. Wortbildungsforschung: Entwicklung und Positionen // Perspektiven der Wortbildungsforschung: Beiträge zum Wuppertaler Wortbildungskolloquium vom 9.—10. Juli 1976 / Hrsg. von Brekle H. E. und Kastovsky D. Bd. 1. Bonn, 1977.

4. Степанова М. Д., Фляйшер В. Теоретические основы словообразования в немецком языке. М., 1984.
5. Бондарко А. В. Грамматическая категория и контекст. Л., 1971.
6. Гульга Е. В., Шендельс Е. И. Грамматико-лексические поля в современном немецком языке. М., 1969.
7. Шмелев Д. Н. Проблемы семантического анализа лексики. М., 1973. С. 21.
8. Coseriu E. Inhaltliche Wortbildungslehre // Perspektiven der Wortbildungsforschung. Bonn, 1977. S. 54.
9. Chomsky N. Aspects of the theory of syntax. Cambridge (Mass.), 1966. P. 142.
10. Караулов Ю. Н. Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного языка. М., 1981.
11. Kastovsky D. Wortbildung und Semantik. Düsseldorf, 1982. S. 220.
12. Reichl K. Categorical grammar and word-formation: The deadjectival abstract noun in English. Tübingen, 1982. P. 174.
13. Чейф У. Значение и структура языка. М., 1975.
14. Домашнев А. И. Современный немецкий язык в его национальных вариантах. Л., 1983.
15. *Worterbuch der deutschen Gegenwartssprache* / Hrsg. von Klappenbach R. und Steinitz W. 1—6. Berlin, 1970—1978.
16. Brecht B. Vorwärts und nicht vergessen // Brecht B. Ausgewählte Werke. Moskau, 1976.
17. Kant H. Das Impressum. Berlin, 1972.
18. Мурашов Р. З. О парадigmatике в словообразовании // Сб. научных трудов МГПИИЯ им. М. Тореца. Вып. 164. М., 1980.
19. Слюсарева Н. А. О проблемах функциональной морфологии (на материале языка аналитического типа — английского) // ИАН СЛЯ. 1983. № 1. С. 33.
20. Кубрякова Е. С. Части речи в ономасиологическом освещении. М., 1978. С. 65.
21. Русская грамматика. Ч. I. М., 1980.
22. Strittmatter E. Der Wundertäter. 1. Band. Moskau, 1962.
23. Bruns M. Zeichen ohne Wunder. Halle (Saale), 1977.
24. Strittmatter E. Der Wundertäter. 3. Band. Berlin — Weimar, 1980.
25. *Zeitverkürzer*. Deutsche Anekdoten aus fünf Jahrhunderten. Leipzig, 1977. S. 16.
26. Мурашов Р. З. Словопроизводство и грамматические категории // ВЯ. 1979. № 3. С. 63—65.
27. Бондарко А. В. Классификация морфологических категорий // Типология грамматических категорий. М., 1975. С. 61.
28. Недялков В. П. Результатив, пассив и перфект в немецком языке // Типология результативных конструкций. Л., 1983.
29. Мурашов Р. З. О словообразовательном значении и семантическом моделировании частей речи // ВЯ. 1976. № 5.
30. Павлов В. М. Темпоральные и аспектуальные признаки в семантике «временных форм» немецкого глагола и некоторые вопросы теории грамматического значения // Теория грамматического значения и аспектологические исследования. Л., 1984.
31. Ullmer-Ehrlich V. Zur Syntax und Semantik von Substantivierungen im Deutschen. Kronberg / Ts., 1977.
32. Schloblin P. Probleme des adnominalen Attributs in der deutschen Sprache der Gegenwart. Morphosyntaktische und semantische Untersuchungen. New York — Berlin, 1972. S. 21.
33. Esau H. Nominalization and complementation in modern German. Amsterdam, 1973. P. 105—106.
34. Cate A. P. ten. Aspektualität und Nominalisierung. Frankfurt-am-Main — Bern — New York, 1985.
35. Kastovsky D. Zur Analyse von nomina actionis // Wortbildung — Darmstadt, 1981. S. 379.
36. Mann Th. Deutsche Hörer! Leipzig, 1977.
37. Салькова Д. А. Синтаксические поля и семантическое моделирование. Л., 1983. С. 7, 12.
38. Маслов Ю. С. Результатив, перфект и глагольный вид // Типология результативных конструкций. Л., 1983. С. 42.
39. Kant H. Die Aula. Lening, 1965.
40. Weisenborn G. Memorial. Berlin — Weimar, 1974.
41. Кубрякова Е. С. О связях между лингвистикой текста и словообразованием // Сб. научных трудов МГПИИЯ им. М. Тореца. Вып. 217. Лингвистические проблемы текста. М., 1983. С. 50.
42. Fleischer W. Regeln der Wortbildung und der Wortverwendung // Deutsch als Fremdsprache. 1978. № 2. S. 82.

КОБРИН Р. Ю.

ЯЗЫКОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И БАЗОВЫЕ ЕДИНИЦЫ ЯЗЫКА

Системный анализ требует конкретизации единиц языка и типов отношений (связей) между ними. При анализе языка и его уровней выделяются разные единицы языка (фонемы, морфемы, лексемы, модели словосочетаний, предложений), но отношения, связывающие эти единицы, могут быть обобщены и типизированы. Специфическими языковыми отношениями, определяющими организацию и функционирование языка как коммуникативной знаковой системы, являются отношения. 1) парадигматические; 2) синтагматические; 3) иерархические. Рассмотрим природу этих отношений.

Термин «парадигма» имеет, как и многие другие лингвистические термины, два значения. 1) Парадигма понимается как присущая объективно существующему языку совокупность допускаемых языковой системой и структурой вариантов, объединенных общим устойчивым инвариантом, из которых говорящий осуществляет выбор на каждом этапе коммуникативного акта [1, с. 205, 218; 2—4; 5, с. 37]. Этот выбор определяется не только и не столько желаниями носителя языка, но прежде всего а) системой языка, б) целями коммуникативного акта и ограничениями, накладываемыми «работающим» типом коммуникации. 2) Парадигма понимается также как классификация языковых элементов, извлеченных из речевой цепи. Из текстов на основании принятых критериев выбираются и классифицируются языковые элементы (например, путем выбора, анализа и классификации словоформ происходит формирование парадигм склонения и спряжения).

Нетрудно заметить, что первое понимание термина «парадигма» позволяет различать реальный объект, не наблюдаемый непосредственно в полном объеме в единичном тексте, но существующий, локализующийся в мозгу и принадлежащий языку как знаковой системе. Второе понимание термина «парадигма» позволяет различать конструируемый объект во всей его целостности, на основании реализации инварианта объекта в конкретных вариантах, содержащихся во всем многообразии текстов [6, с. 32]. Во втором значении парадигма — некий «конструкт»¹, которому соответствует фрагмент объективной языковой реальности.

Прийти к осознанию, выявлению и фиксации «парадигмы» в первом значении термина (как реального, не наблюдаемого в полном объеме в единичном тексте объекта) можно путем анализа многообразия текстов и конструирования «парадигмы» во втором значении термина, т. е. на основе классификации языковых элементов, извлеченных из речевой цепи.

Парадигматические отношения можно определить как реально существующие в языковой системе отношения, реализующие инвариант реле-

¹ «...конструкты — это понятия о ненаблюдаемых объектах или обобщения относительно наблюдаемых объектов, постулируемые для обобщения непосредственно наблюдаемых фактов» [7, с. 6].

вантных ² языковых единиц и соответствующие отношения между референтами и, следовательно, отношениям между предметами (в широком смысле) объективной действительности.

Например, словоформы *дом, дома, дому...* объединены в парадигму склонения слова *дом*. Парадигматическое отношение, связывающее словоформы: 1) реализует инвариант «здание для жилья» класса единиц *дом, дома*, 2) соответствует отношениям между референтами, 3) реально существует в языковой системе. Парадигматические отношения могут фиксироваться — или не фиксироваться — в соответствующих классификациях, но всегда как локализованы в сознании носителя языка и принадлежат парадигме как совокупности вариантов. Можно говорить о парадигматике не только в лексике, но и на других языковых уровнях [3, 4, 8].

Термин «синтагма» также имеет два значения. 1) Синтагма как совокупность потенциально возможных сочетаний языковых единиц в речевой цепи, материально выражающихся: а) в появлении языковой единицы определенного класса, б) в изменении форм языковой единицы, в) в порядке расположения языковых единиц, например, слов, г) при помощи так называемых служебных частей речи, д) при помощи интонации в речи или знаков препинания на письме. Синтагма определяется грамматической системой языка, реализуется в речевой цепи и существенно зависит от позиции, занимаемой языковым элементом в речевой цепи в фиксированный момент времени. Синтагма в первом значении называет реальный объект, присущий объективно существующему языку, который в полном объеме в единичном тексте не наблюдается, но локализуется в сознании носителя языка. 2) Термин «синтагма» понимается также как классификация сочетаемостных свойств языковых элементов. Наблюдая конкретные языковые тексты, можно выделить окружения языковых единиц (фонем, морфем, слов и т. д.) и построить таким образом классификацию сочетаемостных свойств языковой единицы, в идеале описывающую языковую синтагму. Материально эта классификация может выражаться, например, в наборе грамматических моделей, по которым построены словосочетания.

Синтагматические отношения можно определить как отношения между сочетающимися языковыми единицами в процессе речевой деятельности в текстах, последовательно развертываемых во времени. Частным случаем синтагматических отношений являются синтаксические связи — согласование, управление и примыкание. Синтагматические отношения, которые даны в непосредственном наблюдении в процессе речевой деятельности, существуют как в языке, так и в речи. В языке синтагматические отношения реализуются через свойство валентности, под которым понимаются потенциальные синтагматические свойства различных языковых единиц, а в речи — через свойство сочетаемости, под которым понимается реализация потенциальных синтагматических свойств (валентности)³. Отсюда следует, что в первом значении термин «синтагма» обозначает присущие язы-

² Под релевантными языковыми единицами понимаются языковые единицы, объединенные в одну совокупность (класс) на основе общих для всех единиц дифференциальных признаков. Так, термины «имя существительное», «глагол», «имя прилагательное», «местоимение» и т. д. являются релевантными единицами, т. к. они объединены на основе общих признаков в класс «часть речи», являющийся инвариантом названных выше терминов. Между этими терминами и термином «часть речи» существует парадигматическое отношение «быть элементом класса».

³ Фундаментальное исследование проблемы валентности осуществлено в работе [9], а также в опубликованных в ГДР словарях валентностей и дистрибуции немецких глаголов и прилагательных [10, 11].

ку валентности языковых единиц [1, с. 240], во втором — наблюдаемые в речи их сочетаемостные свойства, основывающиеся на валентностях.

Заметим, что как парадигма, так и синтагма (в первом значении) при-сущи языку как объективной реальности, а во втором значении эти термины — «конструкты», закрепленные в научных терминах, но такие «конструкты», которым соответствуют фрагменты объективной реальности. С одной стороны, парадигма и синтагма во втором значении — элементы описания, объекты теории, инварианты⁴, но, с другой стороны, этим элементам описания соответствуют языковые реалии (парадигма и синтагма в 1-м значении).

Между языковыми единицами существуют и выделяются так называемые иерархические отношения — отношения вхождения в более сложную единицу. Иерархические отношения основываются на двух фундаментальных типах отношений: на отношениях манифестации и на отношениях конституентности. Для характеристики этих отношений необходимо ввести понятие однородной единицы языка⁵. Под однородными единицами языка понимаются единицы, совпадающие по: материальному (в смысле субстанциональному) составу, по набору релевантных отношений, по выполняемой функции [13, с. 8].

Например, слова *глагол, наречие, местоимение, прилагательное, междометие* являются однородными единицами, ибо: 1) материально они состоят из морфем, 2) любое из этих слов вступает в релевантное отношение «быть элементом класса» с понятием «часть речи», 3) все названные выше слова-термины выполняют функцию номинации. Основные свойства языковой единицы определяются ее субстанциональной сущностью⁶, которая может быть описана набором общих, существенных и отличительных признаков, позволяющих дифференцировать данную языковую единицу и другие единицы. В языковой теории субстанциональная сущность языковых единиц представлена в виде понятий-терминов и их определений.

Под отношением манифестации (репрезентации, реализации) понимается отношение, вступая в которое языковые единицы реализуют свою субстанциональную сущность в других языковых единицах или в единицах речи.

Рассмотрим отношения между языковой единицей «фонема», конкретной фонемой [o] и аллофонами [õ], [ȭ]. «Фонема» — это кратко наименование множества фонем [7, с. 35], абстракция, а не чувственно воспринимаемый конкретный объект. В. М. Солнцев отмечает, что «фонема вообще» выступает как инвариант сверхкласса всех отдельных фонем [6, с. 36]. Фонема, как и морфема, слово, предложение, является единицей языка постольку, поскольку единицы языка — это классы (множества экземп-

⁴ Инварианты в лингвистике, как, впрочем, и других областях. — это понятия, с помощью которых люди категоризируют и упорядочивают конкретные объекты (или единицы, из которых состоят объекты). Группировки единиц в классы и приращение этим классам фактически уже есть операция вывода инвариантов [6, с. 37].

⁵ В. М. Солнцев подчеркивает, что фундаментальным свойством элементов языка является свойство неоднородности. Но единицам одних и тех же уровней языка свойственна «относительная однородность» [12, с. 55—60]. Неоднородность всегда определяется различным фонемным [морфемным (для слов)] составом, различиями в семантике, в наборах отношений, функциях в тексте. Однородные единицы языка «однородны» по одному из субстанциональных признаков. Так, слова *дом, стол, стул, берега* относительно однородны как принадлежащие к классу существительных.

⁶ «Сущность может рассматриваться как совокупность наиболее глубоких, устойчивых свойств и связей объекта, определяющих его происхождение, характер и направление развития» [14].

ляров) вполне конкретных и чувственно воспринимаемых единиц» [6, с. 35]. «Субстанциональная сущность» единицы «фонема» определяется тем, что эта единица интегрирует класс конкретных фонем, объединенных по принципу однородности, т. е. совпадающих по набору дифференциальных признаков, структуре релевантных отношений, выполняемой функции. «Фонема» как инвариант реализует свою субстанциональную сущность, т. е. находится в отношении манифестации к классам гласных и согласных фонем; последние, в свою очередь, находятся в отношении манифестации к конкретным гласным или согласным фонемам, а гласные или согласные фонемы — к вариантам фонем, или аллофонам, реально существующим в речи. Отношение манифестации является «обратным» к отношению «основываться на», т. к. субстанциональная сущность единиц языка основывается на единицах иерархически более низкого класса (в языке или речи).

Отношение конституентности — отношение, в которое вступают языковые единицы, в результате чего определяется состав иерархически более высокого класса языковых единиц, например, класса слов по отношению к классу морфем, класса моделей словосочетаний по отношению к классам слов (лексем) и конкретных грамматических категорий. Нетрудно увидеть, что отношения манифестации и конституентности — это отношения между классами единиц, например, классами словоупотреблений, и отдельными экземплярами единиц, например, словом-лексемой. Слово-лексема *дом* инвариантно по отношению к словоупотреблениям *дом*, *дома*, *дому*... «Слово вообще», или «абстрактное слово», инвариантно по отношению к отдельным экземплярам слов-лексем — *дом*, *стол*, *стул*... Под инвариантом понимаем сокращенное наименование класса относительно однородных объектов [6, с. 35]. Таким образом, слово-лексема *дом* — сокращенное наименование (или инвариант) класса соответствующих словоупотреблений, а «слово вообще» — сокращенное наименование (или инвариант) класса слов-лексем. В материальном мире инвариантов нет, но «существуют общие свойства у групп предметов, на основании которых объекты группируются и отображаются в понятии (значении), именуемом инвариантом» [6, с. 32].

Значит ли это, что в языке как знакомом механизме общения отсутствуют такие языковые единицы, как «слово-лексема», «слово вообще», «морфема», «фонема», представляющие собой абстракции, а не чувственно воспринимаемые объекты?

Действительно, «фонему, морфему и слово как таковые еще никто никогда не слышал и не произносил» [6, с. 34]. Но эти единицы языка представляют собой множества реальных фонем, морфем и слов, вполне конкретных и чувственно воспринимаемых единиц. Ситуация осложняется тем, что лингвистический термин («фонема», «морфема», «слово») называет как абстракцию («фонему», «морфему», «слово» как инвариант), так и классы чувственно воспринимаемых единиц. Имеет смысл ввести разграничение онтологического и гносеологического значений слова-термина: онтологическое значение — слово как чувственно воспринимаемая единица языка, гносеологическое значение — слово как инвариант, научное понятие о классе конкретных слов. При характеристике отношений конституентности и манифестации также важно постоянно находиться в русле либо гносеологического, либо онтологического подхода, не смешивая их. Тогда отношения манифестации и конституентности в онтологическом смысле представляют собой отношения а) между классами единиц («слово вообще» — «слово-лексема»), б) между

классами единиц и отдельными экземплярами единиц («слово-лексема» *дом* — словоупотребления *дома, дому...*), а в гносеологическом смысле — между соответствующими научными понятиями, выражающими субстанциональную сущность языковых единиц.

Рассмотрим некоторые отношения, в которые вступают языковые единицы в предложении (высказывании) *Кирпичный дом стоит у дороги*.

Парадигматические отношения: *дом* — *кирпичный* — отношение «объект» — «материал изготовления», *дом* — *стоит* — отношение «субъект» — «действие», *стоит* — *у дороги* — отношение «действие» — «место действия». В зависимости от целей коммуникации говорящий выбирает из возможных парадигм варианты, характеризующие данную коммуникативную ситуацию: *кирпичный*, но не *деревянный, блочный...*, *стоит*, но не *возвышается, располагается...*, *у дороги*, но не *у реки, у леса*. В тексте реализуются лексико-семантические парадигмы, принадлежащие языку и хранящиеся в сознании говорящего — носителя языка. Говорящий осуществляет выбор и из парадигм склонения (спряжения): *кирпичный*, но не *кирпичная...*, *стоит*, но не *стояла...*, *у дороги*, но не *о дороге*.

Синтагматические отношения: *дом* — *кирпичный*, *стоит* — *у дороги* — синтагматические отношения согласования и управления, реализующие валентности существительного *дом*, глагола *стоять*, существительного *дорога*, определяющиеся семантической и грамматической структурой языка.

Отношения конституентности и манифестации: *кирпич-н-ый, дорог-а* — выделенные морфемы, объединяясь в слово, реализуют свою субстанциональную сущность и образуют единицу более высокого языкового уровня. Слова *кирпичный, дом, стоять, дорога* по известным грамматическим моделям образуют высказывание, реализуя в составе высказывания свою субстанциональную сущность — способность номинации предметов, явлений, действий. Лексемы *кирпичный, дом, стоять, дорога* онтологически представляют собой краткие наименования множеств реальных словоупотреблений, в виде которых они существуют. Аналогично «слово вообще», или «абстрактное слово», онтологически — наименование множеств реальных слов, гносеологически — инвариант реально существующих и наблюдаемых реальных слов языка. «Инварианты всех степеней — это своего рода лишь идеальная надстройка, отображение в человеческих понятиях различных, но вполне реальных свойств конкретной отдельной единицы» [6, с. 37]. В. М. Солнцев подчеркивает, что «в действительности абстрактная единица выводится из конкретных в качестве умственного предмета и что утверждение о ее манифестации чисто условно» [12, с. 232].

Примем определение функции языка как «практического проявления сущности языка, реализации его назначения в системе общественных явлений, специфического действия языка, обусловленного самой его природой, того, без чего язык не может существовать, как не существует материя без движения» [16].

Под базовой единицей (БЕ) языка понимается основная единица языка, которая: а) вступает в отношения конституентности с неоднородными базовыми единицами; б) вступает в парадигматические и синтагматические функциональные отношения с однородными БЕ. в) осуществляет свою манифестацию в иерархически нижестоящих БЕ либо в единицах речи, г) определяет выполнение одной из функций языка — в конечном итоге коммуникативной.

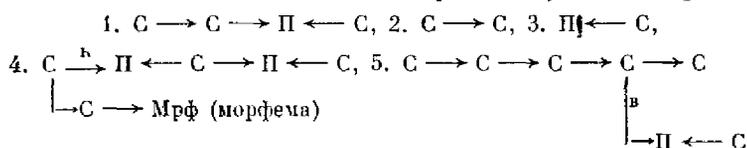
Существует два типа базовых единиц языка.

1. Абстрактные базовые единицы языка (БЕ-I), представляющие собой классы конкретных базовых единиц языка, упорядоченных по принципу однородности. Эти классы упорядочены «извне-отличительными признаками одного класса от другого, т. е. противопоставлениями и вообще отношениями» [15, с. 218]. Абстрактные базовые единицы языка, которые можно назвать абстрактными сущностями, «не присутствуют в виде отдельных, непосредственно наблюдаемых фактов или явлений, но они тем не менее объективно существуют в виде множеств конкретных языковых единиц и объективных принципов упорядочения этих множеств....» [15, с. 217]. Как мы уже говорили, абстрактная единица языка имеет как гносеологический, так и онтологический смысл, основывается на наблюдаемых в речи конкретных языковых единицах и объективно существует в языке в виде множеств конкретных единиц.

В понятии «абстрактная базовая единица языка» конкретизированы общие, существенные и отличительные признаки конкретных базовых единиц языка. «Абстрактная фонема», «абстрактная морфема», «абстрактная лексема», «абстрактное слово» — мыслительные образования, интегрирующие в себе все сущностные признаки соответствующих конкретных языковых единиц. Таким образом, с одной стороны, абстрактная единица — «умственный предмет», «идеальная надстройка» (В. М. Соллцев), но, с другой стороны, она реально существует в виде множеств конкретных языковых единиц.

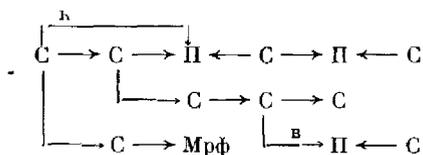
Абстрактными базовыми единицами являются: «абстрактная фонема» по отношению к конкретным фонемам; «абстрактная морфема» по отношению к конкретным морфемам; «абстрактное слово» по отношению к конкретным словам; «абстрактная словообразовательная модель» по отношению к конкретным словообразовательным моделям; «абстрактная грамматическая категория» по отношению к конкретным грамматическим категориям; «абстрактная модель словосочетания» по отношению к конкретным моделям словосочетаний; «абстрактная модель предложения» по отношению к конкретным моделям предложений; «абстрактная модель сверхфразового единства» по отношению к конкретным моделям; «абстрактная модель текста» по отношению к конкретным моделям.

Рассмотрим системно-структурную организацию БЕ-I «абстрактная модель словосочетания». Известно, что словосочетания русского языка организованы по различным моделям. Так, если части речи русского языка обозначить буквенными индексами С — имя существительное, П — имя прилагательное, Г — глагол, Пр — причастие и т. д., а синтаксическую связь между словами обозначить при помощи стрелки, направленной к зависимому слову, и предлогов над ней (если связь предложная), то можно построить модели самых различных словосочетаний. Например, рассмотрим словосочетания *совокупность функций лингвистических единиц, значения возвратности, вещественное значение, присоединение к переходным глаголам русского языка суффикса -ся, возможность предсказания вероятности появления элемента в речевой цепи*. Построим модели:



Очевидно, что модели 2 и 3 лежат в основе модели 1, однако модели 4 и 5 реализуют и иные виды связи. Можно построить обобщенную модель,

описывающую все виды синтагматических связей между элементами в вышеприведенных терминологических словосочетаниях.



Проанализировав конкретные модели словосочетаний русского языка, можно построить абстрактную модель русского словосочетания, реализующую все возможные синтаксические связи между словами. Онтологически-абстрактная модель словосочетания представляет собой множество конкретных моделей словосочетаний, принадлежит языку и локализована — иногда фрагментарно — в сознании носителей языка. Аналогично организованы абстрактная словообразовательная модель, модель предложения, сверхфразового единства, текста.

2. Конкретные базовые единицы (БЕ-II) характеризуются следующим: онтологически-БЕ-II основываются на единицах речи и представляют классы единиц речи либо других неоднородных конкретных базовых единиц; гносеологически-БЕ-II являются манифестацией БЕ-I и манифестируются в единицах речи. Например: БЕ-I «абстрактная фонема» → БЕ-II фонемы $|a|, |o|, \dots$ → аллофоны $|a|, |\bar{a}|, |\bar{a}'|$; БЕ-I «абстрактная морфема» → БЕ-II морфема *под* → алломорфы *под — пот*; БЕ-I «абстрактное слово» → БЕ-II слова-лексемы *дом, стол* → словопотребления *дом, дома...*; БЕ-I «абстрактная словообразовательная модель» → БЕ-II конкретная словообразовательная модель $O_H + O_K$ (основа производная + окончание) → образованные по этой модели слова *стол-ы, дом-а...*; БЕ-I «абстрактная модель предложения» → БЕ-II конкретная модель предложения $II - C_K$ (подлежащее → сказуемое) → БЕ-II конкретные предложения: *Я пошел. День светел...*

Каждой базовой единице свойствен набор следующих отношений: а) отношение конституентности, которое связывает иерархически подчиненные (иерархия с точки зрения состава базовой единицы), неоднородные базовые единицы, принадлежащие к одному типу (абстрактные или конкретные); б) отношение манифестации и, связывающее базовые единицы I и II, а также БЕ-II и единицы речи; в) отношение «основываться», генетически связанное с отношением манифестации, характеризует иерархически подчиненные (иерархия с точки зрения функции базовой единицы) БЕ разных типов и единицы речи; г) парадигматические и синтагматические отношения с однородными БЕ. Этот набор отношений является обязательным для всех БЕ. Например, БЕ-II «фонема $|a|$ » вступает в отношение конституентности с неоднородной БЕ-II «морфема *за*», в отношении манифестации с единицами речи — аллофонами $|a|, |\bar{a}|, |\bar{a}'|$, в парадигматические отношения — с другими фонемами, в синтагматические — с сочетающимися фонемами.

Любое слово языка, в том числе и лингвистический термин, может называть как отдельный предмет, так и класс предметов. Однако семантика лингвистических терминов отлична как от семантики слов «общеупотребительного» языка, так и от семантики терминов других наук и отраслей техники. Рассмотрим значение слова *дом*. Слово *дом*, как и любое другое слово, не выражающее единичное понятие, имеет, по крайней мере, два значения: 1) *дом* как название класса всех домов (*дом* понимается как

«дом вообще», любое «здание, предназначенное для жилья»); 2) *дом* как название конкретного дома. Для удобства обозначим *дом* в 1-м значении как «дом-I», во 2-м — «дом-II». Очевидно, что «дом-I» и «дом-II» являются единицами языка (БЕ-II) и могут наблюдаться в речи в виде отдельных словоупотреблений. Например: 1) *мой «дом-I» — моя крепость*, 2) *этот двухэтажный «дом-II» принадлежит Ивановым*. В языке «дом-I» и «дом-II» существует как слово-лексема, объединяющая в одной парадигме различные словоупотребления ⁷.

Слово *дом* существует в языке — речи и одновременно является объектом науки о языке как представитель класса слов — имен существительных, называющих класс предметов или отдельный предмет, характеризующийся существенными признаками. Реализация одного из значений слова («быть именем класса предметов» или «быть именем отдельного предмета») определяется контекстом употребления [17, с. 17].

Лингвистический термин (например, термин «слово») характеризуется следующим: 1) он существует в языке как языковая реалья, подобная реальям *дом*, *стол*, *стул* и т. д. Иначе говоря: а) имеет по крайней мере два значения — «слово-I» называет класс предметов-слов, «слово-II» — отдельный предмет, конкретное слово, б) является объектом науки о языке; 2) в качестве предмета номинации выступает языковая реалья (класс слов или отдельное слово), имеющая в свою очередь собственное лексическое и грамматическое значения. В общем случае в качестве предмета номинации может выступать любое слово языка; 3) лингвистический термин является средством описания языковых реалий, т. е. одновременно «орудием» и объектом науки о языке (объективно существующей языковой реальей). Это обстоятельство определяет известный лингвистический парадокс: языкознание есть единственная наука, язык которой выступает в качестве метаязыка по отношению к самому себе.

Итак, слово-лексема *дом* — конкретная базовая единица (БЕ-II): 1) гносеологически являющаяся результатом манифестации абстрактной БЕ-I «абстрактное слово», 2) гносеологически осуществляющая свою манифестацию в единицах речи — словоупотреблениях, 3) онтологически являющаяся инвариантом — наименованием класса словоупотреблений *дом*, *дома*, *дому* и др.

Термин «слово» с точки зрения отношений между единицами языка — речи характеризуется иначе: 1) «слово» — конкретная БЕ-II, 2) «слово» — гносеологически — результат манифестации абстрактной БЕ-I «абстрактное слово», 3) «слово» — наименование абстрактной БЕ-I, конкретной БЕ-II «слово-лексема» и словоупотреблений *слова*, *слову* и др. как единиц речи, 4) «слово» — наименование всех конкретных БЕ-II рассматриваемого языка (всех слов-лексем), а также единиц речи — словоупотреблений. В силу своеобразия своей семантической природы лингвистические термины одновременно выполняют номинативную функцию как по отношению к абстрактной БЕ-I, так и по отношению ко всем однородным конкретным БЕ-II данного языка. Поэтому реалья «слово» в языке — это 1) «слово-лексема» (БЕ-II) и 2) «слово» — абстрактная базовая единица (БЕ-I), а слова — *дом*, *стол*, *стул* и др. существуют в языке как слова-лексеммы, онтологически являясь наименованиями классов соответствующих словоупотреблений.

⁷ «Вне зависимости от его данного употребления слово присутствует в сознании со всеми его значениями, со скрытыми и возможными, готовыми по первому поводу выплыть на поверхность» [17, с. 17].

Конкретизация понятий «базовая единица языка», «языковые отношения», различение онтологического и гносеологического понимания абстрактных и конкретных единиц языка не только позволит приблизиться к адекватному представлению языковой системы в теоретико-лингвистических моделях, но и установить семантическое своеобразие лингвистической терминологии, принципиально отделяющее ее от терминологии других наук.

ЛИТЕРАТУРА

1. Березин Ф. М., Головин Б. Н. Общее языкознание. М., 1979.
2. Шмелев Д. Н. Очерки по семасиологии русского языка. М., 1964.
3. Распопов И. П. Несколько замечаний о синтаксической парадигматике // ВЯ. 1969. № 4.
4. Фурашов В. И. Проблемы второстепенных членов предложения и синтаксическая парадигматика // ВЯ. 1974. № 3.
5. Панов М. В. О парадигматике и синтагматике / ИАН СЛЯ. 1980. № 2.
6. Солнцев В. М. Вариативность как общее свойство языковой системы // ВЯ. 1984. № 2.
7. Гипотеза в современной лингвистике. М., 1980.
8. Головин Б. Н. К вопросу о парадигматике и синтагматике на уровне морфологии и синтаксиса // Единицы разных уровней грамматического строя языка и их взаимодействие. М., 1969.
9. Степанова М. Д., Хельбиг Г. Части речи и проблемы валентности в современном немецком языке. М., 1978.
10. Helbig G., Schenkel W. Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verber. 2. Aufl. Leipzig, 1973.
11. Sommerfeldt K.-E., Schreiber H. Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Adjektive. Leipzig, 1974.
12. Солнцев В. М. Язык как системно-структурное образование. М., 1977.
13. Кобрин Р. Ю. О понятиях «терминология» и «терминологическая система» // НТИ. Сер. 2. 1981. № 8.
14. Кириллов В. И. Логика познания сущности. М., 1980.
15. Степанов Ю. С. Основы общего языкознания. М., 1975.
16. Аврорин В. А. Проблемы изучения функциональной стороны языка. Л., 1975.
17. Виноградов В. В. Русский язык. М., 1972.

АСИНОВСКИЙ А. С., ВОЛОДИН А. П., ГОЛОВКО Е. В.

**О СООТНОШЕНИИ ЭКСПОНЕНТА МОРФЕМЫ И ЕЕ ПОЗИЦИИ
В СЛОВОФОРМЕ
(К постановке вопроса)**

0.1. Развитие знаний о морфологической структуре словоформы в разносистемных языках со всей очевидностью показало, что при использовании в грамматическом описании понятия морфемы важно указывать не только ее экспонент (фонетическую репрезентацию плана выражения морфемы), но и ее позицию в словоформе. Особенно актуальна проблема максимально полной позиционной характеристики морфемы для агглютинирующих языков с ярко выраженной цепочечной структурой словоформы — в отдельных случаях реально фиксируемые «цепочки» могут насчитывать до полутора десятков элементов.

Если исходить из того, что язык представляет собой систему взаимно обусловленных уровней, то план выражения языковой единицы можно определить как некоторую последовательность элементов более низкого уровня, которая известным образом упорядочена. Так, для установления плана выражения словоформы существенно, из каких морф она состоит и в какой последовательности они расположены. Различные способы взаимодействия экспонента морфемы и ее позиции в словоформе могут служить выразительной типологической характеристикой при сопоставлении языков различных систем.

Направление морфологического анализа, ориентированное на установление последовательности морфем, в советском языкознании складывалось в тех его отраслях, которые связаны с описанием и изучением неиндоевропейских языков народов СССР (тюркских, кавказских, финно-угорских, тунгусо-маньчжурских, палеоазиатских). Все упомянутые языки по своей морфологической технике являются агглютинирующими. Метод описания морфемной структуры агглютинирующих языков в виде упорядоченной «цепочки» элементов известен под разными названиями: дистрибутивный анализ, «грамматика порядков», методика порядкового членения, анализ ранговой структуры морфем (термин, распространенный в кавказоведении) и пр.

1.0. В настоящей статье предпринимается попытка теоретически осмыслить особенности строения агглютинативной словоформы, используя дистрибутивный метод исследования. Анализ ведется на материале языков чукотско-камчатского ареала (чукотский, ительменский, алеутский); к рассмотрению привлечены также данные языка папто (иранская группа индоевропейских языков). В качестве иллюстративного материала используются глагольные словоформы как наиболее представительные по количеству морф. Нас интересует значение позиции морфемы для синтагматической (при анализе последовательности морф, образующих «цепочку» словоформы) и парадигматической характеристик (при описании инвентаря морфем конкретного языка).

1.1. Одним из исходных положений дистрибутивного анализа является представление о стабильности следования морфологических сегментов в «цепочке», образующей словоформу. Сведения о позиционной характеристике морфемы получаются в результате анализа конкретных словоформ данного языка, представленных в виде последовательности морфологических сегментов (морф и компонентов морф). Приведем несколько примеров из ительменского языка: (1) $u\overset{1}{\underset{-1}{\text{ь}}}-en$ «он ушел»; (2) $t'\overset{-1}{\underset{1}{\text{ь}}}-u\overset{1}{\underset{-1}{\text{ь}}}-\overset{2}{\underset{1}{\text{ь}}}-kichen$ «я ушел», $u\overset{1}{\underset{-1}{\text{ь}}}$ — корневая морфа, элементы -1 и 1 являются показателями категории Р (лицо-число субъекта действия); $u\overset{1}{\underset{-1}{\text{ь}}}-\overset{1}{\underset{-1}{\text{ь}}}\overset{2}{\underset{1}{\text{ь}}}-\overset{1}{\underset{-1}{\text{ь}}}\overset{2}{\underset{1}{\text{ь}}}-gən$ «уходил он»; (4) $t'\overset{-1}{\underset{1}{\text{ь}}}-u\overset{1}{\underset{-1}{\text{ь}}}-\overset{1}{\underset{-1}{\text{ь}}}\overset{2}{\underset{1}{\text{ь}}}-kichen$ «я уходил», элемент 1 является показателем категории А (вид); (5) $u-s-en$ «он идет»; (6) $t'-u-s-kichen$ «я иду», $u-$ — корневая морфа, элемент 1 — показатель категории Т (время); то же (7) $u\overset{1}{\underset{-1}{\text{ь}}}-a-xen$ «он уйдет»; (8) $t'\overset{-1}{\underset{1}{\text{ь}}}-u\overset{1}{\underset{-1}{\text{ь}}}-a\overset{1}{\underset{-1}{\text{ь}}}\overset{2}{\underset{1}{\text{ь}}}-kichen$ «я уйду». Сопоставим еще несколько примеров: (9) $u\overset{1}{\underset{-1}{\text{ь}}}-\overset{1}{\underset{-1}{\text{ь}}}\overset{2}{\underset{1}{\text{ь}}}\overset{3}{\underset{1}{\text{ь}}}-z-en$ «он постоянно уходит»; (10) $t'-u\overset{1}{\underset{-1}{\text{ь}}}-\overset{1}{\underset{-1}{\text{ь}}}\overset{2}{\underset{1}{\text{ь}}}\overset{3}{\underset{1}{\text{ь}}}-s-kichen$ «я постоянно ухожу»; (11) $u\overset{1}{\underset{-1}{\text{ь}}}-\overset{1}{\underset{-1}{\text{ь}}}\overset{2}{\underset{1}{\text{ь}}}\overset{3}{\underset{1}{\text{ь}}}-a-xen$ «он будет уходить»; (12) $t'\overset{-1}{\underset{1}{\text{ь}}}-u\overset{1}{\underset{-1}{\text{ь}}}-\overset{1}{\underset{-1}{\text{ь}}}\overset{2}{\underset{1}{\text{ь}}}\overset{3}{\underset{1}{\text{ь}}}-a\overset{1}{\underset{-1}{\text{ь}}}\overset{2}{\underset{1}{\text{ь}}}\overset{3}{\underset{1}{\text{ь}}}-kichen$ «я буду уходить», здесь элемент 1 является показателем категории А, элемент 2 — категории Т, элементы -1 и 3 — категории Р. На основании рассмотрения приведенных словоформ уже можно сделать обобщение, касающееся относительного расположения морф, которые репрезентируют морфемы со значениями категорий А, Т, Р. Эти три категории являются обязательными: без них не может существовать ни одна ительменская глагольная словоформа. Набор этих категорий определяет минимальную модель словоформы ительменского финитного глагола. Порядок следования показателей категорий в минимальной модели строго определен: $P-R-A-T-P$ (R — корневая морфа, принимаемая за точку отсчета¹). Символ, обозначающий определенную категорию, обозначает одновременно и позицию морфологического сегмента, репрезентирующего морфему со значением данной категории, т. е. позицию, которую данный морфологический сегмент должен занимать относительно корневой морфы, границ словоформы и других аффиксальных морф. Поскольку набор перечисленных категорий составляет минимальную модель словоформы, они представлены в любой словоформе ительменского финитного (субъектного) глагола. В большинстве приведенных примеров некоторые морфы имеют нулевой экспонент, ср.: (1а) $\theta-u\overset{-1}{\underset{1}{\text{ь}}}-\theta-\theta-en$; (4а) $t'\overset{-1}{\underset{1}{\text{ь}}}-u\overset{-1}{\underset{1}{\text{ь}}}\overset{1}{\underset{-1}{\text{ь}}}\overset{2}{\underset{1}{\text{ь}}}\overset{3}{\underset{1}{\text{ь}}}-\theta-kichen$; (6а) $\theta-u-\theta-s-en$; (8а) $t'\overset{-1}{\underset{1}{\text{ь}}}-u\overset{-1}{\underset{1}{\text{ь}}}\overset{1}{\underset{-1}{\text{ь}}}\overset{2}{\underset{1}{\text{ь}}}\overset{3}{\underset{1}{\text{ь}}}-a\overset{-1}{\underset{1}{\text{ь}}}\overset{1}{\underset{-1}{\text{ь}}}\overset{2}{\underset{1}{\text{ь}}}\overset{3}{\underset{1}{\text{ь}}}-kichen$ и т. д. Нулевые экспоненты могут иметь только морфемы обязательных категорий, так как нулевой экспонент есть не просто значимое отсутствие, но категориально значимое отсутствие (так, в приведенных примерах нуль в категории Р — 3-е л., ед. ч.; в категории А — результативный вид; в категории Т — прошедшее время).

1.2. Примененне дистрибутивной методики для анализа словоформ, в которых представлены морфы, репрезентирующие необязательные морфологические категории (т. е. такие морфы, отсутствие которых не может

¹ В работе рассматриваются словоформы, содержащие не более одной корневой морфы.

быть расценено как нулевой экспонент), позволяют получить обобщение более широкого плана — максимальную модель словоформы (за точку отсчета также, как правило, принимается позиция корневой морфемы). Номер позиции в максимальной модели словоформы одновременно определяет относительное расположение любых двух морфологических сегментов в любой грамматически правильной словоформе данного языка. Принцип дополнительного распределения морф должен учитываться при выявлении потенциальных грамматических категорий [2]. Максимальная модель словоформы финитного (субъектного) глагола ительменского языка имеет вид $P-(...)-R-(...)-A-T-P$; скобками отмечены фрагменты модели, где располагаются морфы необязательных категорий (подробнее о дистрибуции морф необязательных категорий в ительменском языке см. в [3]).

1.3. Характерной чертой ительменской словоформы является строгая упорядоченность аффиксальных морф относительно корня и друг друга; иными словами данные ительменского языка подтверждают исходные положения дистрибутивного метода. Рассмотрим еще одну ительменскую словоформу, в которой представлено несколько необязательных аффик-

сов: (13) $n-lo^2-ova-sxena-^b-kzu-c-kichen$ «мы постоянно хотим целовать друг друга», где морфа $-lo^2-$ — показатель взаимности, $-sxena-$ — морфа со значением дисперсивной множественности, $-^b-$ — суффикс детранзитива. Никакое изменение порядка следования морф невозможно: однозначное соответствие позиционной характеристики экспоненту реализуется в строгом порядке следования морф. В данном случае перед нами — классическая схема агглютинативной словоформы. Эта схема отражает широко распространенные (и широко известные) факты, однако она не учитывает те случаи, когда для экспонента морфемы характерна не одна позиция, а более, или когда морфы меняются местами друг относительно друга, «скачут» с позиции на позицию. Такие случаи не объясняются в рамках традиционного применяемой методики порядкового членения [4] и побуждают к дальнейшему развитию методики описания позиционной характеристики морфемы.

2.1. Обратимся к данным алеутского языка. Минимальная модель финитного (субъектного) глагола имеет вид: $R-T-P$, например: (14) $ag^2a-ku-x$ «он работает». где ag^2a- — корневая морфа, $-ku-$ — показатель будущего времени, $-x$ — показатель 3-го л., ед. ч. субъекта. Максимальная модель имеет вид: $R-(...)-T-P$ (подробнее см. в [5]). Глагольные словоформы алеутского языка, в которых представлены необязательные категории, свидетельствуют, что морфы, репрезентирующие эти категории, могут меняться местами: (15) $ag^2a-aka-^qada-ku-x$ «он уже не может работать» (букв. «работать-мочь-перестал-он»); (16) $ag^2a-^qada-aka-ku-x$ «ему можно перестать работать» (букв. «работать-перестать-может-он»); (17) $kaazna-atu-^qada-ku-x$ «он накурился» (букв. «курить-хотеть-перестал-он»); (18) $kaazna-^qada-atu-ku-x$ «он хочет бросить курить» (букв. «курить-перестать-хочет-он»). Эти примеры показывают, что изменение порядка следования морф в парах (15)—(16) и (17)—(18) приводит к возникновению новых словоформ. Такой механизм устройства словоформы, в отличие от строгого порядка [см. примеры (1)—(13)], можно определить как относительно свободный порядок следования морфологических сегментов.

2.2. Относительно свободный порядок следования морф ни в малейшей степени не ослабляет роли позиционной характеристики морфемы — ведь мена порядка следования морф обязательно вызывает изменение значения

словоформы. Если строгий порядок следования предполагает знание о том, с какой позицией соотнесен данный экспонент, то в случае относительно свободного порядка необходимо знать: 1) с какой позицией (позициями) соотнесен данный экспонент; 2) каковы правила интерпретации перестановки морф.

2.3. Следует заметить, что наличие механизма относительно свободного порядка следования можно ожидать прежде всего в тех фрагментах максимальной модели словоформы, которые заняты необязательными морфемами. Факты, аналогичные алеутским, обнаруживаются в чукотском языке (а также, видимо, в близкородственных ему алюторском и керекском). Ср. следующие чукотские примеры: (19) $\overset{-6}{m}$ - $\overset{-5}{ra}$ - $\overset{-4}{lge}$ - $\overset{-3}{ra}$ - $\overset{-2}{mач}$ - $\overset{-1}{n}$ - $\overset{0}{om}$ - $\overset{-6}{av}$ - $\overset{-5}{н-ы}$ - $\overset{-4}{рк-ыи}$ «я очень захочу согреть его» (букв. «я-буду-немного-хотеть-немного-сделать-теплым-(его)»); (20) $\overset{-6}{m}$ - $\overset{-5}{ra}$ - $\overset{-4}{mач}$ - $\overset{-3}{ra}$ - $\overset{-2}{lge}$ - $\overset{-1}{n}$ - $\overset{0}{om}$ - $\overset{-6}{av}$ - $\overset{-5}{н-ы}$ - $\overset{-4}{рк-ыи}$ «я не очень хочу согреть его» («я-буду-немного-хотеть-очень-сделать-теплым-(его)»). Мена позиций морф *-lge-* «очень» и *-mач-* «немного» приводит к изменению значения словоформы так же, как и в алеутском языке [примеры (15)–(18)].

3.0. Отдельного рассмотрения заслуживает проблема соотношения экспонента и его позиции при установлении инвентаря морфем описываемого языка.

3.1. В чукотском языке [примеры (19)–(20)] экспонент *-ra-* репрезентирует две различных морфемы: в позиции -5 — это будущее время, в позиции -3 — это деизератив [6]. Деизератив относится к числу необязательных морфем, иначе говоря, в минимальную модель словоформы он не входит. Минимальная модель финитного (субъектно-объектного) глагола чукотского языка имеет вид: $P_{Sub}-T-R-A-P_{Obj}$; максимальная модель чукотского глагола не выведена, но в самом общем виде, если указать только фрагменты цепочки, в которых располагаются необязательные аффиксальные морфемы, она может быть представлена так: $P_{Sub}-T-(...)-R-(...)-A-P_{Obj}$. Место показателя деизератива в максимальной модели может быть указано с достаточной точностью: $P_{Sub}-T-(...)-Des(...)-R-(...)-A-P_{Obj}$ [ср. примеры (19)–(20)]. Экспонент *-ra-*, как было показано выше, в конкретных словоформах может отмечаться дважды, однако это не является обязательным условием: (21) *m-ra-n-om-av-ы-рк-ыи* «я буду согреть его»; (22) *m-ra-n-om-av-н-ы-рк-ыи* «я хочу согреть его». В последнем случае должен быть выделен нулевой показатель небудущего времени: (22а) *m-∅-ra-n-om-av-н-ы-рк-ыи*. Наконец, экспонент *-ra-* может встречаться в смежных позициях: (24) *m-ra-ra-n-om-av-н-ы-рк-ыи* «я буду хотеть согреть его», буд. время представлено префиксом *-ra-*, деизератив — циркумфиксом *-ra...н-*.

3.2. В ительменском языке, как и в чукотском, деизератив и буд. время представлены одним экспонентом *-aь-/-a-*. Позиция деизератива в модели словоформы — непосредственно перед позицией показателя вида: $P-(...)-R-(...)-Des-A-T-P$. Рассмотрим конкретные примеры: (25) *m'-иь-аь-кзу-кичен* «я хотел уйти» [ср. (4)]; (26) *m'-иь-а-с-кичен* «я хочу уйти» [ср. (6)]; (27) *m'-иь-аь-кзу-с-кичен* «я все время хочу уйти» [ср. (10)]. Возможно наличие двух экспонентов *-аь-* в одной словоформе: (28) *m'-иь-аь-кзу-аь-кичен* «я захочу уйти». В последнем случае они всегда разделены морфой длительного вида *-кзу-*; смежных позиций, как в чукотском [ср. (24)], они никогда занимать не могут.

3.3. Рассмотренный материал чукотского и ительменского языков подводит к выводу, что в данном случае вряд ли целесообразно говорить

об омонимии морфем дезидератива и буд. времени. Мы имеем дело только с неразличением экспонентов, морфемы же во всех случаях отчетливо противопоставлены своими позиционными характеристиками. Если считать, что противопоставленность морфем может достигаться как за счет различия экспонентов, так и за счет различия позиций, то выделяется три следующих оппозиции (иллюстрируем примерами из ительменского языка):

3.3.1. Экспоненты разные — позиция одна (например, *-с/-з-* — наст. время, *-θ-* — прош. время, *-аь/-а-* — буд. время).

3.3.2. Экспонент один — позиции разные (*-аь/-а-* — дезидератив, *-аь/-а-* — буд. время, различаются позицией в словоформе).

3.3.3. Экспоненты разные и позиции разные (любая пара разнопорядковых морфем, например, *-кзу/-кзо/-кз-* — длительный вид и *-с/-з-* — наст. время).

3.4. В алеутском языке мы находим следующие примеры: (29) *книгис хила-ака-ма-ку-х* «он тоже может читать книгу»; (30) *книгис хила-ма-ака-ку-х* «он может читать такую же книгу»; (31) *сайгис маги-иту-ма-ку-х* «он тоже хочет иметь ружье»; (32) *сайгис маги-ма-ату-ку-х* «он хочет иметь такое же ружье». Приведенные примеры содержат экспонент *-ма-* в различных позициях, который в данном случае следует трактовать не как реализацию двух морфем, противопоставленных только позицией, а как разнопозиционную реализацию одной морфемы со значением «сходство с субъектом/объектом действия». Соотнесенность с субъектом или объектом действия определяется по относительному порядку следования морф в словоформе (соотнесенность с объектом, разумеется, возможна только при наличии у глагола объектной валентности). При отсутствии в словоформе морф, снимающих «двусмысленность», т. е. представляющих морфемы, располагающиеся между двух возможных для *-ма-* позиций [в примерах, (29)—(30) представлена морфема *-Дка-* «мочь/долженствовать», в примерах (31)—(32) — морфема *-Дту-* «хотеть», где буквой *Д* обозначена обязательная долгота (акцентная выделенность) предшествующего гласного], всегда реализуется значение «сходство с субъектом действия»: (33) *книгис хила-ма-ку-х* «он тоже читает книгу»; (34) *сайгис маги-ма-ку-х* «у него тоже есть ружье». В пределах одной словоформы экспонент *-ма-* не может быть представлен дважды (подробнее см. в [5]).

Необходимо заметить, что относительно свободный порядок следования морф в алеутском языке препятствует тому, чтобы противопоставленность морфем обеспечивалась только позицией.

4.0. Позиционная определенность корневой морфемы, которая обычно принимается за точку отсчета, является существенной типологической характеристикой морфологической системы конкретного языка или группы языков. Относительно корневой морфемы располагаются аффиксальные морфемы не только в агглютинативных, но и во флективных языках. Однако получить, например, для русского языка столь же строгие позиционные характеристики аффиксальных морфем, как для ительменского или алеутского языков, по-видимому, вряд ли возможно. В отношении русского языка можно ограничиться констатацией известного факта, заключающегося в том, что стержнем морфемной структуры здесь является определенность позиции корневой морфемы, которая проявляется в том, что существует три позиционных класса морфем: префиксы, корни и суффиксы, и никакие перестановки морфем различных позиционных классов так же невозможны, как невозможны перестановки суффиксов в ительменском языке.

Однако существуют языки, в которых позиционная характеристика

корня не служит таким однозначным разграничителем морфем на позиционные классы. Примером могут служить данные языка папто [7]:

4.1. В глагольных словоформах языка папто морфы одной и той же морфемы *-be-*² могут выступать как перед корнем, так и после него: (35) *wi-ba-ya-na-tari* «он его не свяжет»; (36) *tari-ba-ya* «он будет его связывать». Более того, морфа этой морфемы может выходить за пределы морфемной структуры словоформы, становясь элементом синтаксической структуры на уровне предложения, но относясь при этом к тому же корню: (37) *sabā ba ye wi-na-tari* «завтра его не-свяжет-он». Допустимо предположение, что такая «свобода» аффиксального элемента связана с тем, что позиционная характеристика корня в папто обнаруживает некоторую неопределенность. Так, существует целый класс «неполнослитных корней», которые в словоформе могут разрываться (представлены как циркумфикс), и внутри помещается целая последовательность аффиксальных морф: (38) *bo-ba-ye-na-ta* «он бы его не увел». Здесь представлена разорванная корневая морфа *bo-(...)-ta* «уводить». Эта же словоформа может быть репрезентирована другой цепочкой морфов: (39) *na-ba-ye-bota* с тем же значением, что и (38). Словоформа (39) является грамматически правильной, хотя и менее употребительной, чем (38).

Таким образом, к особенностям морфемной структуры словоформы в папто следует причислить нестрогий порядок следования морф [ср., например, позиции корневых морф в (35) и (36); ср. также позиции морф отрицания морфемы *-na-* в (35), (37), (38), с одной стороны, и в (39), с другой], а также возможность выхода морфы за пределы словоформы [ср. *-ba-* в (35), (36), (37)]. Разумеется, «свобода» порядка следования морф в папто имеет свои границы. Корневая морфа может занимать некоторые, вполне определенные позиции, которые могут быть перечислены. Кроме того, обращает на себя внимание тот факт, что морфа морфемы *-ba-*, способная выходить за пределы словоформы, во всех случаях занимает вторую слева позицию [ср. (35)–(39)]: она никогда не может занимать никакой иной позиции, кроме названной (не важно в данном случае, будет ли *-ba-* вторым слева словом в предложении или второй морфой в словоформе — это «грамматическое правило» дает еще одну, неожиданную на первый взгляд, возможность для пересмотра соотношения морфемной структуры слова и синтаксической структуры предложения). Подчеркнем, что порядок следования морфемных составляющих в папто представляется нестрогим лишь на фоне данных других языков.

5. Проведенный анализ позволил выявить три основных типа соотношения экспонента и позиции морфемы при формировании морфемной структуры словоформы:

1) Однозначная позиционная характеристика экспонента — строгий порядок следования морф. Экспонент, характеризующийся различными позициями, репрезентирует различные морфемы. Изменение порядка следования морф невозможно.

2) Относительная связь экспонента и позиции — относительно свободный порядок следования морф. Экспонент, характеризующийся различными позициями, репрезентирует одну морфему. Изменение порядка следования морф приводит к возникновению другой словоформы.

3) Свободная связь экспонента и позиции — нестрогий порядок следования морф. Экспонент, характеризующийся различными позициями,

² Морфема *-ba-* имеет целый ряд значений, но в приводимых нами примерах она передает только значение буд. времени; исключения составляют случаи (38)–(39), где *-ba-* передает значение сослагательности.

репрезентирует одну и ту же морфему. Изменение порядка следования морф не приводит к возникновению новой словоформы. При этом цельнооформленность словоформы становится менее определенной.

б. Возможно, значимость позиционной характеристики морфемы, которая проявляется в однозначном соответствии экспонента позиции и в относительно свободном порядке следования морф, определяет морфемную цельнооформленность словоформы. Тогда допустимо предположение, что реализация трех основных типов соотношения экспонента морфемы и ее позиции в конкретном языке связана с разделением языков на агглютинативные, флективные и изолирующие.

Авторы выражают глубокую признательность А. Л. Грюнбергу за консультации по языку пашто и П. И. Инэнликю — за консультации по чукотскому языку.

ЛИТЕРАТУРА

1. Володин А. П., Храковский В. С. Типология классификации морфем // Тезисы рабочего совещания по морфеме (ноябрь 1980 г.). М., 1980.
2. Володин А. П., Храковский В. С. Об основаниях выделения грамматических категорий (время и наклонение) // Проблемы лингвистической типологии и структуры языка. Л., 1977.
3. Володин А. П. Ительменский язык. Л., 1976.
4. Ревзин И. И., Юлдашева Г. Д. Грамматика порядков и ее использования // ВЯ. 1969. № 1.
5. Головки Е. В. Морфология глагола алеутского языка: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1985.
6. Скорик П. Я. Грамматика чукотского языка. Ч. 2. Л., 1977. С. 209.
7. Грюнберг А. Л. Очерк грамматики афганского языка (пашто). Л., 1986.

ШАХОВСКИЙ В. И.

СООТНОСИТСЯ ЛИ ЭМОТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА
С ПОНЯТИЕМ?

Мысль о возможности выразить человеческие эмоции через сознание и язык не нова. Поскольку эмоции в этом процессе получают языковое оформление, представляется необходимым разобраться в том аспекте эмотивной семантики языка, который соотносит ее с обобщающей функцией сознания. Предлагаемая работа преследует три цели: 1) выяснить, как решается в лингвистике вопрос о самом факте эмотивного значения; 2) вскрыть взаимосвязь слова, понятия, мышления и эмоций; 3) высказать гипотезу о возможной понятийной соотнесенности эмотивной семантики слова и подойти к разработке лингвистической теории эмоциональной стороны речи [1, с. 343].

Многочисленные проблемы и задачи, стоящие перед коммуникативной лингвистикой, настоятельно требуют исследования роли эмотивного значения как человеческого фактора в осуществлении речевого общения. Мнений об эмотивном значении слова высказано уже немало. Суть этого явления до конца не выяснена, хотя ясно, что такой феномен (может быть, и не под таким словесным обозначением) существует и с ним надо считаться.

Наличие эмотивного значения у слова признается не всеми лингвистами. Так, по мнению Зегерштедта, для выражения эмоций важна функция слова, а не его значение; эта функция задается контекстом и условиями коммуникации [2, с. 142]. Среди наименее исследованных проблем, связанных с эмотивным значением, можно назвать следующие: каким образом эмотивный компонент лексической семантики слова соотносится с понятием и мышлением; как он соотносится с денотативным компонентом значения; в чем его самостоятельность или коннотативность; как он соотносится с экспрессивным значением; как он представлен в языке на различных его уровнях; в чем специфика эмотивной номинации по сравнению с дескриптивной; как изменяются нормы реализации и содержание эмотивного компонента в синхронии и в диахронии; как осуществляется межъязыковая эмотивная коммуникация (аспект эмотивных универсалий) и др.

В результате длительных споров по поводу отнесения эмотивного компонента к лексической семантике (как в советской, так и в зарубежной лингвистике) выясняется, что этот компонент входит в семантическую структуру языковой единицы (ср. [3, с. 406; 4]; противоположное мнение см. [5, с. 104]). Но вопрос о роли эмотивного значения в составе семантики слова (микро-, макрокомпонент, аспект, вариант, окраска значения, коннотация и пр.) остается пока открытым, как и вопрос о структуре этого компонента (моноструктура или полиструктура). Неясна до конца и типология предельных составляющих компонентов эмотивного значения.

Некоторые лингвисты пытались предложить более или менее строгие критерии для выяснения внутренних параметров, формальных маркеров эмотивного значения и составляющих его микроэлементов (ср. компонентный анализ У. Вайнрайха и Э. Бендикса и метод семантического дифференциала Ч. Осгуда). К сожалению, указанные методы в большой мере основаны на интуиции исследователя и не всегда могут быть признаны вполне доказательными.

В связи с тем, что эмотивное значение не поддается формальной экспликации, предлагалось даже вообще «отменить» его как нечто неустойчивое, диффузное, зависимое от множества факторов, находящихся как внутри, так и за пределами его формы. Так, по мнению Джуса, эмоциональные элементы речи не могут быть описаны «конечным числом» абсолютных категорий и рассматриваются им как «смутные, неуловимые, переменчивые явления», как внеязыковые элементы [6, с. 197]. Стивенсон [7] считает, что эмотивное значение зависит от первичного концептуального содержания, от изобразительного значения, от ассоциаций и от импликаций слова, от личных взаимоотношений говорящего и воспринимающего. Такое обилие зависимостей, по его мнению, делает эмотивное значение словарно нефиксируемым феноменом, тем более, что, как и сами эмоции, эмотивное значение обладает множеством оттенков, которые не всегда можно объяснить, выразить или описать словами.

Нельзя не признать, однако, что эмотивное значение слова не является отражением эмоций только данного говорящего. Оно — не индивидуально, а представляет собой обобщенное отражение «социальной эмоции». В этом отношении эмотивное значение носит такой же социальный характер, как и логико-предметное значение: оно соотносимо с соответствующими эмоциями любого носителя данного языка. В стандартных эмоциональных ситуациях люди данной языковой общности испытывают и выражают принципиально одинаковые эмоции. Каждый индивид, естественно, варьирует типизированную эмоцию, подгоняет ее под то или иное слово (знак этой эмоции) в зависимости от своего индивидуального опыта, но в пределах социального (обобщенного) опыта. Это и обеспечивает дифференциацию эмоций при их языковом выражении через эмотивное значение того или иного языкового средства.

Можно отметить, что обилие случаев использования нейтральных языковых единиц для выражения эмоциональности как будто бы подтверждает мнение Зегерштедта об эмотивности как следствии использования слова в той или иной функции. Но абсолютное большинство советских и зарубежных лингвистов настаивает на существовании с л о в а р н о г о эмотивного значения. Приведем некоторые доказательства в подтверждение его реальности.

1. Два слова могут иметь одинаковое логико-предметное значение, но различаться по наличию (отсутствию) эмотивного компонента. Ср. англ. *poet: rhymester; obstinate: ass; bad: terrific* и др. К одному или нескольким синонимичным по логико-предметному значению словам в языке есть эмотивные параллели с противоположными оценочными знаками: *girl: bunny/bint; child: kid/brat; woman: duck/crow*. Эти слова имеют приблизительно одно и то же денотативное содержание, но различаются по ассоциируемым понятиям, по выражаемым эмоциям, по эффекту воздействия, по ситуациям употребления и пр., что ведет к различиям и в их глобальных значениях.

2. Эмотивное значение может развиваться отдельно от логико-предметного внутри лексического значения слова: так, англ. *imp* в значении

«ребенок» во времена Шекспира употреблялось как ласкательное, игривое название ребенка и ласкательное обращение к взрослым людям, а его современное значение толкуется словарями как «mischievous child» (эмоция неодобрения). Аналогично в русском языке слова *ребенок*, *ребеночек* по отношению к взрослому человеку являются ласкательными по форме, но уничижительными по содержанию.

3. Эмотивные значения слов осознаны, дискретны, адекватно идентифицируются и дифференцируются говорящими, одинаково соотносятся всеми говорящими на данном языке с типизированными ситуациями и эмоциями, одинаково идентифицируются ими с языковыми единицами их выражения — носителями этих значений. В связи с этим эмотивные значения, несомненно, коммуникативны. Эмотивная лексика сознательно отбирается говорящими в рамках существующего кода, т. е. ее отбор контролируется сознанием говорящих в зависимости от ситуации общения. Коммуникативность эмотивов — единиц языка с эмотивным типом семантики — заключается в том, что они сообщают о душевном волнении говорящего, передают некую эмоциональную информацию (одновременно с фактуальной или независимо от нее), вызывают ответную эмоциональную реакцию; например осознанное обеими сторонами общения чувство отвращения, презрения, ненависти и др. В абсолютном большинстве случаев использование эмотивного значения коммуникантами смоделировано. На этом факте основаны сценическое искусство (например, известная система Станиславского), художественная литература, воспроизведение прошлых эмоций при пересказе событий, демонстрация и симулирование эмоций и мн. др.

4. Эмотивное значение может быть вычленено при измерении смысловой информации контекстуального слова [8, с. 16]. Рассмотрим следующий английский пример: «No,— said the girl, but it's dreadful to be hungry» (Th. Dreiser. *Sister Carrie*). Проведем диагностирующую трансформацию, т. е. заменим слово *dreadful* на слово *bad* (явно нейтральное в эмотивном отношении, т. е. рационально-оценочное слово). Такая замена выявляет сему оценочности в семантике слова *dreadful*. Однако смысловая информация высказывания при этом далеко не адекватна вертикальному контексту, за ее «бортом» остается выражение сильных эмоций девушки. В связи с этим необходимо признать, что сема оценочности слова *dreadful* является периферийной, вершиной же является сема эмотивности (ее маркеры — «feeling», «emotion», «horror», «fear»). Сема «эмоция» с комплексом семантических признаков и семных конкретизаторов («ужас», «страх») составляет эмотивное значение данного слова — информацию, передающую чувство страха, ужаса говорящей, наряду с отрицательной оценкой голодной жизни в чужом городе.

5. На факт существования эмотивного значения указывает, например, также и то, что оно быстрее схватывается (понимается, осознается), чем логико-предметное значение. До осознания логико-предметного значения слова, как показали психолингвистические эксперименты [9, с. 94—108], человек осознает его эмоциональный смысл (что-то хорошее, что-то плохое: оскорбление, гнев, ласка и пр.). Факт более быстрого воздействия эмотивного значения (по сравнению с логико-предметным) на сознание человека говорит, по нашему мнению, в пользу признания так называемого «эмоционального мышления».

В литературе приводится, в частности, такой факт самостоятельности эмотивного значения; большие афазией затрудняются вспомнить дескриптивное слово, обозначающее тот или иной предмет, но зато оперируют эмо-

тивами, характеризующими их отношение к этим предметам и выражающими эмоциональные ощущения. Например, кусок торта и протухший сыр больной афазией называть не может (не помнит слова), но указывая на торт, говорит: «Good!», а на сыр: «It stinks!» [2, с. 159]. Аналогичные факты находим и в исследованиях Э. Л. Носенко [10, 11], Н. В. Витт [12, 13] и других лингвистов и психологов.

Все изложенное позволяет, на наш взгляд, считать объективным факт существования эмотивной семантики слова и рассматривать эмотивное значение в качестве одного из ее типов.

Понятие, как известно, является одной из категорий мышления. Слово, понятие и мышление оказываются тесно сопряженными. Поэтому наличие в словарном корпусе любого языка так называемой эмотивной лексики, а также потенциальная способность словарных неэмотивов быть употребленными в эмоциональных целях указывает на связь этой лексики с эмоциональным мышлением. «Эмоциональное мышление» давно признается психологами как объективно существующий психологический феномен [14, § 4, с. 147—159; 15, 16]. Мы исходим при этом из того, что эмотив — это слово, а слово является, несомненно, элементом сознания. Лайонз резко противопоставляет понятия и эмоции, разводя их по противоположным полюсам мыслительной деятельности [17, с. 473]. Однако заметим, что эмоциональное состояние (гнев, радость, печаль, страх и пр.), действительно, не может считаться понятийным, но его языковое выражение является осмысленным, кодифицированным, т. е. поднятым до понятийного уровня сознания. Понятие, например, ужаса и эмоции ужаса передаются одним и тем же словом.

Проблема эмоций — это проблема отношений объекта мира (O) и субъекта (S). Эмоции существуют только там, где есть отношение этих параметров. Эмоция — это реакция субъекта на стимул, который заставляет человека по-иному группировать объекты мира и их свойства. Понятия об этих объектах и их свойствах создаются в результате взаимодействия S и O [18]. Влияние O на S и активное отражение объекта субъектом вызывает в S определенные психические изменения, т. е. эмоциональные реакции. Другими словами, осмысление человеком отношений SRO может сопровождаться эмоциями. Приведем несколько иллюстраций: 1) Старый замк в двери упорно не открывается: «Ч е р т о в замк!»; 2) Целый день в квартире звонит телефон, не давая ничего делать: «П р о к л я т ы й телефон!»; 3) Подвел каким-то образом приятель: «Н у, и с в и н ь я ж е!»; 4) Получила неожиданный подарок: «О й! Ч т о з а п р е л е с т ь!» и т. п. Эти и им подобные типизированные реакции должны находить отражение, т. е. быть как-то закрепленными в структуре понятий об объектах мира и спроецированными на семантику слов и высказываний, называющих эти объекты или описывающих их взаимоотношения. Ср. англ. сленг. *fink* «undesirable person, one who is not trustworthy (an informer, a strikebreaker or worse), a term of abuse or disrespect». Формирование понятий об отражаемых словом объектах реального мира зависит от познающего, отражающего и говорящего субъекта. А поскольку «...без „человеческих эмоций“ никогда не бывало, нет и быть не может человеческого искания истины» [19], то на некоторые формируемые понятия «набрасываются» эмоционально-субъективные сетки отношений к тем предметам (в лингвистическом смысле термина), которые стоят за этими понятиями. Эти отношения попадают в сигнификат соответствующих слов в виде социально закрепленных компонентов, т. е. смысловых долей — рациональных или эмоциональных оценок [20].

Оценочные понятия являются общепризнанной категорией: модальная логика включает модальность в содержательную структуру понятия, а оценка — компонент модальности. Примерами слов, отражающих оценочные понятия, являются: англ. *scoundrel* «подлец», «мерзавец», «негодяй», *blackmailer* «вымогатель», *liar* «лжец»; *to snake* «пресмыкаться», *to ape* «обезьянничать», *hypocrite* «лицемер», *rotten* «гнилой» и др. По оценочное отношение может быть и эмоциональным, т. к. в процессе сигнификации эмоции могут играть значительную роль. И в случае рациональной, и в случае эмоциональной оценки при окончательном оформлении понятия сознание человека как бы выводит за скобки маркеры эмоций основного (логического) содержания понятий. Но они — эти маркеры эмоций — присутствуют виртуально в сознании носителей языка и манифестируются в определенных контекстах речевого общения.

Предполагается, что социальные эмоции могут через соответствующие понятия проецироваться на семантику слова, проникать в нее, закрепляться в ней и воспроизводиться в типизированных ситуациях. С другой стороны, предполагается, что не только понятия о том или другом предмете задают содержание соответствующих им слов, но и, наоборот, отдельные семантические компоненты могут индуцировать в соответствующих данным словам понятиях те или иные признаки, обогащающие их содержание. Так, например, обстоит дело с эмоционально-оценочно-экспрессивными признаками, которые возникают в «официальном» содержании понятия за счет эмоциональных ассоциаций и представлений говорящих, ср. англ.: *Euroshima*, *reaganomics*, *mafia*, *junter*, *Pentagonese*. Исследование материала приводит нас к мысли о том, что лексическое содержание слова является результатом взаимодействия двух видов понятий: дедуктивно-логического и индуктивно-прагматического. Первый вид понятий общеизвестен и общеприят (понятие с определенной совокупностью существенных признаков). Эти признаки формируют основу прямых, так называемых предметно-логических значений слов. Второй вид понятий включает в себя потенциальные и субъективно приписываемые предмету признаки. Среди этих признаков могут быть и оценочные, носящие эмоциональный характер. Именно эти последние лежат в основе эмотивной семантики слова. При таком подходе традиционное двухчастное деление семантики слова (денотативная и коннотативная) получает понятийную детерминацию, а оба компонента значения — понятийную онтологию, что, видимо, и объясняет однозначную интерпретацию эмотивов всеми коммуникантами определенного социума. Отличие этих двух видов понятий заключается, в частности, в том, что первое, т. е. дедуктивно-логическое, имеет более жесткие границы. Этому последнему соответствует семантический инвариант того или иного слова. Границы индуктивно-прагматического понятия «размыты», они содержат изменяющиеся и субъективные признаки, варьирующие семантику слова, в том числе и по эмотивным парадигмам. Индуктивно-прагматические понятия являются производными и вторичными по отношению к дедуктивно-логическому понятию.

Рассмотрим два примера индуктивно-прагматических понятий. При объяснении содержания понятий мы исходим из того, что словарные дефиниции отражают понятийное содержание слова, и из понимания понятий как свернутых суждений, разворачиваемых для обнаружения их интенционала, экстенционала и импликационала. В содержание интенционала понятия входят существенные, главные признаки, в содержание экстенционала — несущественные, второстепенные, а в импликационал — ассо-

циативные, потенциальные, вероятностные и пр. Все эти признаки подвержены оценочной квалификации, рациональной или эмоциональной. Ср. англ. *gate-crasher* (one who attends without an invitation) [21, с. 402]. Это значение можно представить следующим образом: *незванный гость* = «человек, приходящий в гости» (интенционал) + «незванно, нежданно» (кваликативно-атрибутирующая рамка интенционала) + «что не является нормой, и потому нежелательно» (оценочный атрибут), т. к. «приносит неудобства хозяину, нарушая его планы» (экстенционал) + «что вызывает у него недовольство (эмоциональный атрибут), социально и узуально закрепленное и воспроизводимое в типизированной ситуации».

Как отмечалось выше, эмоция есть отношение *SRO*. Традиционно считается, что предметно-логическое значение слова совпадает с понятием. Именно поэтому то, что дано в словарной дефиниции слова, якобы и есть само понятие. Для говорящего обыденное понятие и слово, таким образом, тождественны, они — лишь две стороны одного листа. Любая дефиниция — это логическая операция, которая раскрывает в какой-то степени (никогда — в полной) содержание понятия, и через него — обобщенное, но не исчерпывающее знание о предмете. С этих позиций эмоциональное-окрашенное содержание понятия есть несколько иное знание о мире. Поясним сказанное на таком примере: *Петя — тигр*. Среди сущностных признаков, характеризующих тигра, имеется признак «жестокость». По этому приведенное высказывание имеет смысл «Петя жестокий, как тигр» (\approx как если бы был тигром). Признак жестокости тигра закреплен в социальном опыте говорящих коллективов однозначно и получил эмоциональное осмысление. Он вызывает эмоцию страха, что нашло эмоциональную оценку осуждения в соответствующем понятии. Через многочисленные контексты употребления этот признак возвратился во вторичную семантику слова *тигр* как эмотивно-окрашенное созначение, т. е. коннотация.

Сама по себе «жестокость» является понятийной дескрипцией. То, что эта дескрипция ассоциируется со страхом, и ведет к тому, что эмоциональное отношение к обозначаемому словом *тигр* является вершинной семой в его значении. Сема «эмоциональное отношение» оказывается в высказывании *Петя — тигр* в «коммуникативном фокусе». Но когда мы говорим *Петя — тигр*, то мы можем выражать не только осуждение, но и восхищение, что зависит от ситуации и вертикального контекста. Эмоция восхищения при этом ассоциируется с другими признаками, характеризующими тигра — «ловкость», «смелость», «визящество», «грация» и пр. Их эмоциональная оценка также отражена в импликационале понятия о тигре.

Во всех рассмотренных здесь случаях основой эмоциональной окрашенности содержания понятия являются определенные логические признаки — характеристика объекта мира. В этом отношении права В. Н. Телия, которая считает, что без когнитивной «подкладки» невозможно оценить все стороны означаемого [24].

Ю. С. Степанов подчеркивает, что «значение слова *стремится* к п о н я т и ю как к своему пределу» [23, с. 12—14]. Эмотивы — слова, выражающие эмоции говорящего, — на наш взгляд, также «стремятся» быть понятийно обусловленными. Мы говорим об эмоционально окрашенных понятиях только в том смысле, что содержание некоторых понятий через семантику слов — их носителей — может вызывать адекватные эмоциональные реакции, социально закрепленные за соответствующими словами и репродуцируемые при их употреблении в речи. И в случае эмо-

тивов, и в случае немотивов понятие является кодовым ключом для их адекватного восприятия и употребления в речевом общении. Наиболее полно и точно эту мысль высказал А. Н. Савченко: «...при помощи языка осуществляется и закрепляется сочетание определенных эмоциональных отношений с определенными понятиями в соответствии с социальным опытом народа или социальной группы, и, таким образом, чувства, являющиеся неотъемлемым элементом сознания, становятся неотъемлемым элементом языковой формы мышления» [24, с. 30].

Вопрос о сути эмотивного значения тесно связан с вопросом о том, как оно соотносится с понятием. Эта проблема подробно обсуждается в ряде зарубежных работ, но ни к какому убедительному решению авторы пока не приходят. Какие же аргументы выдвигаются учеными против понятийности эмотивного значения? Огден, Ричардс, Эмпсон и другие исследователи относят междометия, бранную лексику, инвективы (нецензурные слова), непосредственно выражающие эмоциональные состояния, к непонятным на том основании, что сами эти состояния непонятны. Насколько данное положение аргументированно? Привлечем для рассмотрения междометия — наиболее ярких представителей эмотивной лексики любого языка. Споры об этой категории имеют очень долгую историю и восходят к античности. Суть возникающих здесь проблем может быть сведена к трем основным: языковая природа, семантическая маркированность и коммуникативная релевантность междометий. Интересно отметить, что по всем этим вопросам как в отечественном, так и в зарубежном языкознании имеются прямо противоположные точки зрения. Из последних работ, где дан их обзор, укажем монографию И. С. Торопцева [25] и учебное пособие А. С. Дыбовского [26].

Тезис о семантической маркированности междометий и их способности выражать понятия выдвигался и аргументировался и ранее в ряде работ [27—29]. Суть этих аргументов заключается в следующем: междометия, несомненно, являются словами, т. к. они отвечают критерию цельности этой языковой единицы. А. С. Дыбовский указывает на способность междометий к номинализации, адвербиализации, вербализации [26, с. 29], к синтаксической ассимиляции: номинализованные междометия «выступают в предложении в функции подлежащего, сказуемого, дополнения» [26, с. 49]. В качестве аргумента в пользу словности междометия, а следовательно, и его обобщающего характера, указывается и на павловское учение о сигнальных системах. При этом делается вывод, в соответствии с которым первой сигнальной системы «в чистом виде» у человека якобы не существует [26, с. 24]. И. С. Торопцев в связи с этим замечает, что междометие — не произвольное высказывание. Неучастие сознания и воли при воспроизводстве междометий — кажущееся ввиду автоматизма речи. Только непосредственная звуковая реакция (т. е. нефонематическая) на раздражения (первая сигнальная система) свободна от мышления и воли [25, с. 101].

Нам представляется, что эти факты могли бы послужить аргументами в пользу понятности междометий. Еще одним подобным доводом является их адекватное понимание говорящими (они обладают общепонятным значением), а следовательно, и их воспроизводимость.

А. И. Смирницкий считал эмоциональное содержание междометий непонятным, т. к. «оно не осмысливается, не анализируется, а непосредственно выражается, не будучи, так сказать, пропущенным через мышление» [30, с. 80]. Мнение такого выдающегося советского ученого, несомненно, авторитетно. Но ведь если междометия не осмыслиются, не анали-

зируются и не пропускаются через мышление, тогда з а ч е м в словаре любого языка имеется довольно большое количество дискретных междометий на все случаи эмоциональной коммуникации, к а к они эти междометия различают и понимают? За счет сознания, не достигающего понятия? Такое толкование, на наш взгляд, мало что объясняет, т. к. проблема непонятного сознания еще более сложна. Другое дело, если А. П. Смирницкий имел в виду нефонематические звуки (выкрики, «мычание», стоны и т. п.). Они действительно «не осмысляются, не анализируются и не пропускаются через мышление», и представляют всего лишь уровень эмоциональной рефлексии.

Видный американский ученый Э. Станкевич, специально занимавшийся проблемами «эмотивного языка», полагал, что понятийное содержание междометий диффузно, свернуто до минимума, но оно есть. Именно поэтому Станкевич [31] считал неправомерным относить междометия к неязыковым единицам, т. е. отрицать их языковую сущность. Близок к этой точке зрения и Стивенсон, ставящий эмотивное значение междометий в зависимость от тех понятий, которые они передают [7].

Сравнивая высказывания *Я осуждаю этого человека за его изворотливость и угодливость* и *Он проныра и подхалим*, А. Н. Савченко замечает, что второе предложение якобы ни под какое понятие не подводится, т. к. слова *проныра* и *подхалим* являются непосредственным выражением эмоции отворачивания и в этом смысле равноценны междометиям (в первом высказывании, по А. Н. Савченко, выражено понятие осуждения [24]). Если с ним согласиться, то окажется, что в языковых системах имеется огромное количество лексических единиц, выражающих эмоции непосредственно. Тогда вся эмоционально-оценочная лексика языка попадает под эту категорию и объем непонятной лексики значительно расширяется. С таким мнением и неожиданными выводами из него трудно согласиться.

В качестве аргумента в пользу непонятности эмотивного значения некоторыми учеными [32] используется тот факт, что эмотивное значение может варьироваться независимо от того дескриптивного значения, к которому оно «прикреплено». Но такой аргумент также вызывает возражение, потому что тогда становится непонятым сам принцип «прикрепления» эмотивного значения к тому или иному дескриптивному значению той или иной конкретной языковой единицы. Имеющее в языке место относительно независимое варьирование дескриптивной и эмотивной частей семантики слова, на наш взгляд, объясняется социолингвистическими и психологическими причинами: логическое содержание понятия и его эмоциональное осмысление могут изменяться в разной степени. По нашему мнению, аргумент Штирле и Коэна [33] говорит именно о связи эмотивного значения с понятием, которое бесконечно и постоянно изменяемо, что влечет за собой изменение и его эмоционального осмысления. Но поскольку эмоциональность, в принципе, более лабильна, чем рациональность, изменение эмотивного компонента семантики слова может опережать развитие его логико-предметного компонента или отклоняться в неожиданную сторону, а затем закрепляться в опыте говорящих и «возвращаться» в семантику соотносительных слов, ср. англ. сленг: *cool* «kill», *bleeder* «a very stupid, unpleasant or contemptible person», *cow* «loosely woman», *dish* «an attractive person, esp. a woman».

Еще один довод против понятийной отнесенности эмотивной семантики: оттенки эмотивного значения не всегда можно выразить словами и описать в терминах понятий (т. е. логических дескрипций), а в речевом обще-

нии на формирование этих оттенков могут оказывать влияние совершенно случайные факторы, например, звуковой эффект [2, с. 159]. Конечно, при рассмотрении любого вопроса можно найти аргументы «за» и «против». Но в данном случае — при изучении эмотивного значения — целью должно быть установление тех факторов, которые задают эмотивную функцию слова, и определение статусов эмотивного компонента в семантике слова, а не отрыв его от логико-предметного компонента последнего.

Известно, что язык есть практическое сознание и поэтому он «не может не включать в той или иной форме всех сторон целостного отражения действительности» [34, с. 124]. Сознание включает и рациональные, и эмоциональные моменты, соотносящиеся или ассоциируемые с понятиями и с соответствующими им эмоциями. Каким бы самостоятельным ни представлялось эмотивное значение, оно ассоциируется с теми или иными эмоциональными представлениями, а последние, как известно, сопровождают понятия. Так что отрицать вообще какую бы то ни было связь эмотивного значения с понятием нельзя.

Конечно, признать, что эмотивное значение является продуктом только чистого интеллекта и что оно происходит только от понятий, было бы упрощением сложного механизма его формирования и соотносительности с понятием. Однако полностью отрицать факт его некоторой зависимости от понятийного содержания слова — значит переводить всю эмотивную семантику языка в область стихийности психики. Что же, на наш взгляд, говорит о понятийной сопряженности эмотивного значения? Во-первых, в абсолютном большинстве случаев все слова с эмотивным значением имеют логические корреляты (это и слова, и описательные словосочетания, передающие те же понятия). Даже междометия можно представить в понятийных терминах: *Hurrah!* = *I'm pleased very much, overjoyed about something*. Легко заметить различие в информации и прагматике того, что стоит справа и слева от знака равенства. Аналогично можно семантизировать любое междометие, бранное, нецензурное слово, равно как и другие эмотивы. У них есть первичное понятийное содержание (то же, что и в их нейтральных коррелятах), хотя их понятийные ассоциации, конечно, различны. Так, у эмотива *frightful* первичным понятийным содержанием было «full of fright», у эмотива *awful* — «full of fear». Отрицать, что эмотивное значение междометия имеет несколько аспектов и хотя бы в одном из них остается понятийным, как нам представляется, нельзя. Можно, видимо, признать, что в принципе существует и непонятийное эмотивное значение как разновидность понятийного. Но если эмотив может получить социальную понятийную интерпретацию, закреплен за определенной ситуацией, то его эмотивное значение может быть понятийно обусловлено.

Представляется важным для данного анализа напомнить, что языковое (словесное) выражение эмоций, в конечном счете, всегда является намеренным, даже если оно, на первый взгляд, и спонтанно: ведь в любом случае эмотивы отбираются на сознательном или подсознательном уровнях. Все зависит от скорости их осмысления, которое может быть и незаметным в состоянии сильной эмоциональной напряженности коммуникантов.

Некоторые ученые предполагают, что поскольку эмоции и понятия — различные явления, эмоции должны выражаться только непонятийно (ритм, интонация, просодия и пр.) [35, с. 346]. На это можно возразить следующим образом. Многие понятия, как мы уже отмечали выше, сами по себе имеют определенную эмоциональную ценность, которая в речевом опыте переносится на слово, семантика которого, таким образом, получает понятийную детерминацию. Например, в английском языке имеется боль-

шой фонд зоолексем, во вторичных (метафоричных) значениях которых присутствует эмотивная коннотация уничижения или одобрения. Говорящие четко дифференцируют употребление конкретного зоонима в целях той или иной эмоциональной характеристики человека, ср. в уничижительном значении: *fox* «хитрый», *parrot* «болтливый», *ass* «глупый», *wolf* «пожирающий других», *dog* «злой», *weasel* «проныра, пролаза», *crow* «уродливый (о женщине)», *cow* «неповоротливая и толстая (о женщине)», *monkey* «копирующий других, не имеющий своего ума», *crab* «раздражительный» и др. А зоонимы *chicken*, *kitten*, *kid*, *sprat*, *pussy*, *bird* и др. выражают дифференцированную ласкательность. Аналогично обстоит дело и с аффективами-междометиями: *damn*, *deuce*, *darn*, *blimey*, *faugh*, *gosh* и др., и с аффективами-обращениями: *lovey*, *darling*, *sweetheart*, *honey*, *kitten* и др.

Прежняя деятельность человека, т. е. его опыт, формирует наборы фреймов (по М. Минскому) или прототипных сцен (по Ч. Филлмору), включающих эмоциональные консоциации (по Г. Шперберу) и представления. Представления, как и их словесные знаки, вызывают в психике человека эмоции. В этом проявляется связь первой и второй сигнальных систем: при восприятии слова мы «переживаем» образ и потому как бы ощущаем сам объект наименования. Этот процесс можно назвать сенсуальным воздействием слова [36, с. 170], при котором значение данного слова одновременно вызывает у коммуникантов и представление о предмете, названном данным словом, и определенные эмоции, сопряженные с ним.

Таким образом, эмоции могут переноситься с предмета на представление о нем, а с представления о предмете — на слово и его семантику. Из этого следует, что связь между представлением и эмоцией довольно тесная, «субъективная связь превращается тогда в нашем мышлении в объективную категорию» [36, с. 169]: слово, «принявшее» в свое значение объективную эмоциональную окраску представления о предмете, начинает само по себе производить такое же воздействие на наше сознание, как и сам предмет или представление о нем. Это, несомненно, объясняется тем, что понятия и представления отражены в семантике слов, в том числе и в эмотивной. Ср. русск. *канючить*, *хайло*, *втюриться*, *общага*, *приспешник*, *молодчик*, *деточка*, *миленький*, *лапочка*, *котенок*, *славненько*; англ. *monster*, *brute* («исключительно жестокий и подлый человек»), нем. *der Hitzkopf* «горячая голова (о человеке)», *der Schreiberling* «борзописец», *der Söldner* «наемник, наймит». Понятийностью лексического значения, видимо, является соотнесенность (непосредственная или опосредованная) семантических компонентов с соответствующими понятийными признаками, проектируемыми на значение слова и формирующими его семантическую конфигурацию, т. е. переход одного качества признаков (предметного) в другое (понятийное) и далее в третье качество (семантическое). Поскольку принципиально возможна передача эмотивных компонентов лексического значения на иностранный язык [37—39], то возникает вопрос: как был бы возможен перевод эмотивов, если бы они никакого отношения к понятиям не имели?

Таким образом, в языке, несомненно, есть эмотивная семантика (как результат отражения эмоций в языке), однако она не однородна. Одним из ее видов является эмотивное значение, причем в этом случае эмотивность в слове самостоятельно значима и обязательна. Но каким бы самостоятельным эмотивное значение ни представлялось, оно всегда соотносится как минимум с определенными представлениями, а последние, когда они уже сформированы и социологизированы, не могут быть независимыми от понятий.

Мышление, как известно, протекает в форме понятий, а понятия требуют опоры на слово. Отсюда ясно, что слова — носители понятий, в том числе и слова с эмотивным значением. Выразить эмоцию — значит как-то охарактеризовать отражаемый объект, показать свое эмоциональное отношение к нему (любая осмысленная эмоция есть прежде всего отношение, т. е. оценка, а эмоция возникает только при оценивающем мотиве). Отношение (в том числе и эмоциональное) имеет определенную содержательно-концептуальную базу, благодаря которой и возможны интерпретации эмотивных значений.

В заключение отметим, что признание эмоционального аспекта мышления и эмоционально окрашенных (индуктивно-прагматических) понятий указывает на: 1) неправомерность противопоставления интеллектуального и эмоционального в слове; 2) необъективность отнесения всех эмотивных компонентов семантики к непонятийным; 3) ошибочность выведения всего эмоционального в языке за пределы лингвистики. Эти выводы дают возможность с иных позиций рассматривать структуры семантики языковых единиц и место эмоций в этой структуре и вообще в системе языка.

ЛИТЕРАТУРА

1. Леонтьев А. А. Психофизиологические механизмы речи // *Общее языкознание: Формы существования, функции, история языка*. М., 1970.
2. *Language, thought and culture* / Ed. by Henle P. University of Michigan Press, 1958.
3. Резников Л. О. Против агностицизма в языкознании // *ИАН ОЛЯ*. 1948. № 5.
4. Азнаурова Э. С. Очерки по стилистике слова. Ташкент, 1973.
5. Новиков Л. А. Семантика русского языка. М., 1982.
6. Якобсон Р. Лингвистика и поэтика // *Структурализм: «за» и «против»*. М., 1975.
7. Stevenson C. L. Meaning: emotive and descriptive // *Philisophical review*. 1948. V. 57.
8. Частные вопросы автоматизированного анализа текстов. Минск, 1972.
9. Шаховский В. И. Лингвистическое интервью как метод установления эмотивной адекватности оригинала и перевода // *Средства выражения экспрессивности текста*. Ростов н/Д, 1982.
10. Носенко Э. Л. Специфика проявления в речи состояния эмоциональной напряженности: Дис. ... докт. филол. наук. М., 1979.
11. Носенко Э. Л. Эмоциональное состояние и речь. Киев, 1981.
12. Витт Н. В. Эмоциональная регуляция речевого поведения при общении: Текст лекций спецкурса. М., 1983.
13. Витт Н. В. Речь и эмоции. М., 1984.
14. Проблемы мышления в современной науке. М., 1964.
15. Тихомиров О. К. Структура мыслительной деятельности. М., 1969.
16. Тихомиров О. И. Психология мышления. М., 1984.
17. Лайонс Дж. Введение в теоретическую лингвистику. М., 1978.
18. Лекторский В. А. Субъект. Объект. Познание. М., 1980.
19. Ленин В. И. // Полн. собр. соч. Т. 25. С. 112. Рец. на кн.: Рубакин Н. А. Среди книг. Т. II. М., 1913.
20. Брожек В. Марксистская теория оценок. М., 1982.
21. New Webster's dictionary of the English language. Springfield, 1971.
22. Телия В. Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. М., 1985.
23. Степанов Ю. С. Основы общего языкознания. М., 1975.
24. Савченко А. Н. Язык и системы знаков // *ВЯ*. 1972. № 6.
25. Горощев И. С. Язык и речь. Воронеж, 1985.
26. Дыбовский А. С. Универсальные свойства междометий и их лингвистическое описание. Владивосток, 1983.
27. Гравичек Фр. Некоторые замечания о значении слова и понятия // *ВЯ*. 1956. № 1.
28. Искоз А. М., Ленкова А. Ф. Выражают ли междометия понятия? // *Уч. зап. ЛГУ*. Сер. филол. наук. 1958. Вып. 48. № 260.
29. Виноградов В. В. Русский язык. М., 1972.
30. Смирницкий А. И. Значение слова // *ВЯ*. 1955. № 2.

31. *Stankiewicz E.* Problems of emotive language // Approaches to semiotics / Ed. by Sebeok, Jh. A. London — The Hague — Paris, 1964.
32. *Sterle K.* Text als Handlung. München, 1975.
33. *Cohen J.* Structure du langage poétique. P., 1966.
34. *Резников Л. Д.* Понятие и слово. Л., 1958.
35. *Venson J.* Emotion and expression // Philosophical review. 1967. V. 76.
36. *Кутерман Б.* Эмоциональный смысл слова // ЖМНП. Нов. сер. 1909. Ч. 19.
37. *Гак В. Г.* Проблемы лексико-грамматической организации предложения: Дис. ... докт. филол. наук. М., 1968.
38. *Комиссаров В. И.* Слово о переводе. М., 1973.
39. *Швейцер А. Д.* Перевод и лингвистика. М., 1973.

ДЕГТЯРЕВ В. П.

ПЛЮРАЛИЗАЦИЯ ИМЕН СОБИРАТЕЛЬНЫХ В ИСТОРИИ
СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

Наиболее значительные, структурно-типологические изменения категории числа в истории славянских языков, отраженные в письменности и диалектах, связаны с падением категории единичности и преобразованием древних типов имен собирательных (далее — собир.) в грамматические формы множественного числа.

Противопоставление множественности и единичности и различение двух типов множеств — собирательного и раздельного исконны для вербального мышления. Сравнительное историко-генетическое исследование категории числа в славянских языках показало, что архаические средства выражения множественности имели неформализованный — лексический или словообразовательный характер и категорию числа первоначально отличали определенные черты словообразовательной категории [1]. В праславянском языковом состоянии категория числа включала два типа функционально равноценных парадигм — словообразовательную, в которой противопоставлялись в функции выражения единственного и множественного числа имена единичные и собир., оформленные в ед. или во мн. числе (соотношение типа *господа* — *господинъ* или *словѣне* — *словѣнинъ*), и словоизменительную — флективно выраженное противопоставление ряда грамматических форм ед., мн. и дв. числа. В общую парадигму числа входили слова (словообразовательные формы ед. или мн. числа) и грамматические (словоизменительные) формы от тех же производящих основ. В некоторой степени такое состояние отражают данные древней письменности славянских языков. В старопольском формой мн. числа слова *brat* служило собир. ед. ч. *braciâ*. Вместе с тем польск. *brat*, по данным письменности XV—XVI вв., имело две парадигмы форм мн. числа: первый ряд составляли падежные формы ед. ч. собир. *braciâ*, второй — формы косвенных падежей простого мн. числа: род. п. *bratów*, дат. п. *bratom*, вин. п. *braty*, твор. п. *braty*, местн. п. (о) *bratoch*, *braciech*, а в им. пад. оба ряда объединялись одной общей формой — собир. ед. ч. *braciâ*. Ожидаемой формы им. п. мн. ч. *brati* не существовало. По данным словаря польского языка XVI в., собир. *braciâ* зафиксировано в письменности 2 220 раз, а простые формы мн. числа (только в косвенных падежах) — немногим более 150. О преимущественном использовании собир. *braciâ* в функции формы мн. числа свидетельствует также сочетаемость его с количественными числительными (в источниках XVI в. типа *dwa braciâ*, *ze dwoma braciâ*), ср. то же и в старочешском: *tři bratři*, *dva bratři*. В старейших памятниках древнерусской письменности и в старославянской книжности не обнаружена морфологически правильная форма им. пад. мн. числа *братя*, ее место занимает собир. ед. ч. *братия*, которое употребляется и в сочетании с количественным числительным, например: др.-руск. *три братия* (Син. пат., л. 9 об); *•Г• братья* (Пов. вр. лет по Лавр. сп., л. 3 об,

л. 7, л. 7 об). Это убедительно свидетельствует о том, что собир. *братия* занимает здесь позицию грамматической формы мн. числа, хотя и оформлено в ед. числе. Ту же функцию формы мн. числа выполняли др.-болг. собир. *братия* (>*братя*), др.-чеш. собир. *bratřie*, ст.-слав. *bratia*, др.-серб. *bratja* (*brāha*), словен. *brātja*, в.-луж. *bratřa*, н.-луж. *bratsa* и др. Практически, когда необходимо было выразить значение мн. числа «братья», применялось имя собир. Формы мн. числа типа ст.-русск. и ст.-укр. *брати*, ст.-хорв. *brati*, чеш. *bratři* образовались позже и применялись для выражения конкретных, количественно ограниченных, определенных множеств известных лиц. Это раскрывает первоначальное соотношение имен собир., оформленных в ед. числе, и грамматических форм мн. числа. Объединяясь общей функцией, они различались семантически: имена собир. представляли множество именованно-качественно и обобщенно, а простые формы мн. числа выражали конкретные, ограниченные множества, поэтому они чаще всего встречаются в сочетании с количественными числительными при обозначении счета, тогда как в номинативной функции обычно употребляются собир. существительные. Диагностическими признаками собир. значения имени существительного в древних славянских языках являются соотносительность его с формой единичности и сочетаемость с собир. числительными, например: др.-русск. *челядь* — *челядинъ* и *осьмеро челяди*. Специальные сингулятивные формы на *-ин* образовывались только от личных основ. По этим признакам установлено, что собир. значения выражались и формами мн. числа, ср. *людие* — *людинъ*, ст.-слав. *двои людие*; *граждане* — *гражданинъ*, *двое граждан* и под. Таким образом, архаическое состояние грамматического строя славянских языков в отношении категории числа характеризовалось сочетанием и взаимодействием явлений словообразования и словоизменения.

Выразительные черты словообразовательного, лексико-грамматического характера числа проявляются в том, что древнейшие типы имен собир. в праславянском языке и в старшие эпохи самостоятельного развития славянских языков, как и в праиндоевропейском языковом состоянии, функционировали в роли выразителей множественности — самостоятельно или наряду с простыми грамматическими формами мн. числа, восполняя тем самым недостаточное на определенных участках системы развитие формализованных средств выражения количественных отношений. Вместе с тем процесс становления формализованной, грамматической парадигмы числа (парадигматизация), начавшийся на праиндоевропейской основе, продолжался и в старший исторический период развития славянских языков. Об этом свидетельствует плюрализация имен собир. как проявление общего процесса грамматикализации слов и словообразовательных типов вследствие абстрагирования семантики собир. форм мн. числа, обобщения и унификации значений множественности. Исторически собир. формы мн. числа, соотносительные с сингулятивами на *-ин*, абстрагируют значение множественности и таким образом утрачивают оттенок собирательности, растворяясь в общей массе грамматических форм мн. числа. С этим связан диахронический процесс падения форм единичности. Так, собир. мн. ч. *людие* утратило соотносительность с ед. ч. *людинъ*, вышедшим из употребления, и включилось в более абстрактное, нейтральное по смыслу противопоставление с ед. ч. *человек*. По существу происходит утрата категории единичности, вместе с тем изменяется соотношение сингулятивных и собир. форм. Так, формы ед. ч. на *-анин*, соотносительные с формами мн. ч. на *-ане* (*-*ēne*/*-*janē*), теряют суф. единичности *-ин* вследствие выравнивания основы по типу форм мн. числа. Этот процесс охватил за-

падные и южные славянские языки, особенно глубоко чешский, словацкий и лужицкие, с одной стороны, словенский, а также кайкавский и отчасти чакавский диалекты сербохорватского языка, с другой. Формы единичности на *-ин* отсутствуют в материалах по полабскому и словицкому языкам, а также во многих говорах польского языка, например, в малопольском наречии, ср. данные юго-западных малопольских говоров: *miescyn* (в соответствии с литературным *mieszczanin*) и названия жителей по месту поселения: *Věšorzon*, *Krakovon*, *Tokažon*, *Pascyn*, *Myšleńicon*, *Čšebnihon*, *Varsařon* и т. п. [2], в силезских говорах, например, в опольских: *xořb'an* (z *Xořb'ou*), *xřšcan* (z *Zřšstřf*) *grecan* (z *Grecu*), *kužňan* (z *Kužňe*), *kolyňiscan* (z *Kolyňist*), *kadub'an* (z *Kaduba*), *staňiscan* (ze *Staňisc*), *ćopolan* (z *Ćopolou*) и т. п. [3, с. 91], в говорах Крайны, типичные примеры: в селе Ставница: *stavňičon* — мн. ч. *stavňičohne/stavňičaňe*, в Радовнице: *radovňičon* — мн. ч. *radovňičaňe* [4, с. 52, 53]. В великопольских говорах в этом словообразовательном значении преобладает формант *-äk* (*-äk*), но и он не связан с категорией единичности. В остальных славянских языках снижение продуктивности этого типа также проявляется в активизации других словообразовательных типов с иными функциями, например, образований на *-ец* в русском и в еще большей мере в болгарском и македонском языках, употребляемых в формах мн. ч. на *-овци/евци*, ср. название болгарского села *Доброславци* на месте более старого *Дуброславничан'е*, *Доброславчан'е*, ср. также родовые названия *Г'енчовци*, *Г'орговци*, *Г'уровци* [5, с. 4], тырновские *Ивановци*, *Николчовци*, *Русковци*, *Маневци* и др. [6]. В ряде говоров болгарского языка суф. *-ин* не только не утратил продуктивности, но и расширил свои словообразовательные значения и применяется для образования названий лиц по роду деятельности, профессии или каким-либо характерным признакам, особенно от заимствованных слов, например, в рунском говоре с. Сычанли (Западная Тракия) наименования лиц с суф. *-ар'* факультативно получают дополнительный модифицирующий суффикс личного значения *-ин*: *муфтър'* — *муфтърин*, *бек'ър* — *бек'ърин* и *другарин*, *душманнин*, *свинърин*, *купънарин*, *чубаннин* [7, с. 87, 90]. Подобные формы широко распространены по говорам, но это не противоречит положению о падении категории единичности, а свидетельствует о лексикализации образований на *-ин* и означает развитие новой словообразовательной категории лица.

В русском языке на протяжении его истории вышли из употребления старорусские формы типа *половчин*, *нѣмчин*, *москвитин*, *псковитин*, *тѣвритин*. Но если и сохраняются сингулятивы, а вместе с тем и парадигматическое противопоставление, характерное для лично-собр. форм, а также важнейший синтагматический признак собирательности — сочетаемость с собир. числительными, как, например, в русском: *римляне* — *римлянин*, *двое римлян*, то и при этом едва ли правомерно считать, что формы мн. ч. на *-ане* удерживают прежнее качество собирательности. Дело в том, что эти формы включились в функционирование категории одушевленности, поэтому они не относятся к категории имен собир., на которые не распространяются грамматические свойства одушевленных существительных независимо от типа выражаемой совокупности.

Важные последствия для грамматического строя славянских языков имела диахроническая трансформация имен собир. ед. числа в грамматические формы мн. числа, преобразование собир. суффикса в форматив множественности. Грамматикализация лексики происходит в результате изменения уровня абстракции, формализации средств выражения количественных отношений, универсализации категории числа, комплектова-

ния числовой парадигмы. Логико-семантическим механизмом переосмысления словообразовательного собир. значения в грамматическое отвлеченно-множественное значение является абстрагирование количественных понятий, переход мысли от именованно-качественного представления множества к абстрактно-количественному, от собирательной, определенно-конкретной, к количественно абстрагированной множественности. Абстрагирование количественности ведет к размежеванию лексической и грамматической сторон слова. Идея отношения осознается уже как неосновная, соотствующая категориальному значению предметности. Этому должно соответствовать новое, не лексическое (словесное), а грамматическое, формализованное выражение значения количества. Таким образом, исследуемый процесс связан с формированием грамматических значений как специфически языковых значений отношения, опирающихся на структурные свойства и грамматические средства языковой системы. Исторически функция выражения множественности последовательно закрепляется за грамматическими формами мн. числа. Естественно, что древнейшие типы имен собир., активно функционировавшие в качестве выразителей множественности, подверглись семантическому и формальному преобразованию. Функция на новом уровне абстрагирования и развития грамматического строя стимулировала трансформацию имен собир. в формы мн. числа как разрешение противоречия между формой и содержанием.

В истории и.-е. языков именам собир. принадлежала активная роль в развитии формообразующих средств мн. числа. Еще на древнейшей стадии развития праславянского языка в составе и.-е. диалектного сообщества произошло преобразование имен собир. на *-a в грамматические формы мн. ч. ср. р., например: собир. **drū-ā* > **drъva* → мн. ч. *drъva*. Сложился форматив им.-вин. п. мн. ч. -a для имен существительных ср. р. В старший письменный период развития древних славянских языков функцию форм мн. числа продолжали выполнять праславянские типы имен собир. жен. р. на -ия (*братия* или *братрия*) и ср. р. на -иѣ (*камене*). Вместе с тем в письменной истории славянских языков отражается процесс преобразования имен собир. этих типов в формы мн. числа. Так как в им. п. имена собир. на -иѣ сначала не имели параллельных грамматических форм мн. числа, переоформление парадигмы проходило таким образом, что в им. п. имя собир. было переосмыслено в форму мн. числа, а в косвенных падежах от него образованы соответствующие флектированные формы мн. числа (ц.-слав. род. п. *братий*, дат. п. *братиямъ*, твор. п. *братиями* и т. д.), последовательно вытеснившие первоначальные собир. формы ед. числа. Еще в старославянской письменности и в старейших церковнославянских источниках болгарской, сербской и русской редакций собир. *братия* употребляется исключительно в ед. числе, простые формы мн. числа от слова *братъ* образуются лишь в косвенных падежах (род. п. *братъ*, дат. п. *братомъ* и т. д.) в соответствии с формами мн. числа греческого (византийского) первоисточника. Однако система грамматических оппозиций все же допускала образование грамматической формы мн. числа прямо от собир. *братия* в определенных особых случаях, например, в сочетании с количественными словами. Два таких факта встретились в среднеболгарском Охридском апостоле конца XII в.: потом же ювискъ боле: ѿ братий (л. 28об XV. 6) въ мносъ братий (л. 92об VIII. 29) — наряду с обычными здесь формами ед. числа или рядом с соотносительной формой мн. числа другого слова. Пример, хотя и не бесспорный, — в др.-русск. грамоте Мстислава около 1130 г.: и ты игоумене Исаѣ и вы братиѣ. донѣлѣже сѧ миръ състоить. молитѣ ба за мѧ и за моѣ дѣти.

Регулярное употребление форм мн. числа от собир. *братия* в косвенных падежах отражается в древнесербской письменности с конца XIII в., в среднеболгарской — со второй четверти XIV в. и прежде всего в сугубо книжных источниках. С конца XIV в. формы мн. ч. *братиямъ*, *братиями* и т. д., образованные несомненно под влиянием среднеболгарской книжно-письменной традиции, прослеживаются в славяно-молдавских и в славяно-румынских грамотах. В XV в., завершающем среднеболгарский период, определились основные черты грамматического строя болгарского языка, среди них — и переход собир. *братия* (> *братя*) в форму мн. числа. Утрата падежного словоизменения только способствовала этому процессу. Сочетаемость с количественными числительными и согласование определений во мн. числе, по данным дамаскинов XVII в., показывают, что к этому времени слово *братя* воспринималось уже как привычная, давно установившаяся форма мн. числа. Это отражают и диалекты: мизийские *брат* — *брѣт'а*, например, шумен. *двѣма*, *трѣма брѣт'а*, *брѣт'ата си*, наши *мѣли брѣт'а* [8, с. 435], балканские, например, тетевенские *брат* — *брѣт'а*: *труѣца брѣт'а*, *деуѣца брѣт'а*, *чѣтири брѣт'а* [9, с. 56, 108—112], троянские *брат* — *брѣт'ъ* [10, с. 175], рунские, по данным восточнорунских говоров с. Сычанли (Гююрджинско): *брат* — *брѣт'ъ*, чл. формы *брѣт'ътъ* и *брѣт'ъту*, как и иные собир. на -'ъ: *билѣт'ъ* — *билѣт'ъту*, *журан'ъ* — *журан'ъту*, *пчелѣр'ъ* — *пчелѣр'ъту* [7, с. 71, 78], и области Странджа: *брат* — *брѣк'е* [11, с. 23], западнорунские (неврокопские) *брат* — *брѣк'а* [12, с. 131], родопские, по данным архаического тихомирского говора: *брат* — *брѣт'ѣ* с унифицированным окончанием, как и мн. ч. *кѣмѣн'ѣ*, *кѣл'ѣ*, *ѣдѣк'ѣ*, *ѣфчѣре* — по типу собир. ср. р. на -je [13, с. 35], и др.¹; северо-западные *брат* — *брѣк'а* и *брѣик'а*, например: *трѣма брѣк'а*, *два брѣк'а*, *девет брѣик'а* [15, с. 280, 433, 437]; по этому типу образовано мн. ч. *госѣд(та)*, воспринимаемое здесь и как ед. ч.: *госѣдта по трѣ дни седѣ* [15, с. 280], новосельские (Видинско) *брат* — *брѣк'е*: *двойца брѣк'е* [16], юго-западные: ихтиманские *брат* — *брѣт'а(та)* и *брѣк'а(та)*: *двѣма брѣт'а*, *троѣца брѣк'а*, *петѣна брѣт'а* [17, с. 66], орханийские (ботевградские) *брат* — *брѣк'а*: *два брѣк'а*, *двѣма брѣк'а*, *дѣвет брѣк'а*, *тѣдите брѣк'а* [18, с. 78—90], софийские (говор с. Доброславцы) *брат* — *брѣк'а* [5, с. 22], кюстендилские *брат* — *брѣк'а*: *петѣна брѣк'а*, пиянешское *ѣмѣ двѣма брѣк'а* [19, с. 92], банатские *брат* — *брѣик'а(та)*, редкое, чаще *брѣик'е*, унифицированное по образцу продуктивных образований с окончанием -е, как *дружѣр* — *дружѣре*, *мудрѣц* — *мудрѣце* или *крал'* — *крал'ѣ*, *мѣш* — *мѣжѣѣ*, *цар* — *царѣѣ*, *вѣлк'* — *вѣлце* и под. [20, с. 169]. Видимо, к праславянскому типу имен собир. на *-ijā восходит модель мн. числа с окончанием -йа: *влѣ* (*влах*) — *власйѣ* (Винга) и *грѣк* — *грѣцйѣ*. Эти формы иногда воспринимаются как собир. В македонских говорах, образующих с западными болгарскими говорами непрерывную изоглоссную область, тоже употребляются плурализованные формы: *брѣк'а*: *пет брѣк'а*, *твоите брѣк'а*, *дваѣца брѣк'а*. В кумановском говоре, занимающем центральное место в группе северномакедонских говоров, рядом с мн. ч. *брѣк'а* возникло мн. ч. *л'ѣѣг'а* от *л'ѣѣѣ* (*лѣѣѣ*) [21].

В истории сербохорватского языка древние книжные (сербско-славянские) формы мн. ч. (род. п. *братѣи*, дат. п. *братѣамъ*, твор. п. *съ братѣиа-*

¹ Л. Милетиц отметил некоторое распространение форм мн. ч. на -'а по образцу мн. ч. *брѣт'а* в восточных болгарских говорах, в частности, в рунских: *idaŭ dubri gōst'g* (Хасково), *nājahaŭte bŕzi kōn'a* и т. п. [14].

ми — из грамот сербского царя Стеф. Уроша конца XIII в.) не получили развития; в качестве общезыковой и литературной формы мн. числа утвердилось под влиянием народной речи собир. ед. ч. *браћа*. Старая хорватская форма мн. ч. *brati*, отмеченная раньше в Законе винодолльских общин 1288 г. по рукописи XV в., сохранилась в кайкавском диалекте (Хорватские Загорье). В современном сербохорватском языке имена собир. по-прежнему сохраняют древнейшую функцию выразителей множественности. Собир. *браћа* выражает номинативное множественное значение формами ед. числа и в определенно-количественных значениях сочетается с собир. числительными, указывающими на количество братьев например: *Ja imam sedmogo brabe*.

В истории русского языка процесс преобразования имен собир. типа *братья, зятья, князья, деверья, шурья* в формы мн. числа совершался постепенно на протяжении XV—XVII вв. и стал закономерным выражением внутренних тенденций развития грамматического строя. Первые, единичные формы мн. числа косвенных падежей отмечены в письменности с начала XV в., например, в Ипатьевской летописи (1425 г.): съ шюр(ъ)ами своими, л. 115об, 6650 г. в Хлебниковском (XVI в.) и Погодинском (нач. XVII в.) списках — *шюрьями*. Но этот пример не вполне надежен: в форме *шюрьями* буква ь, как отмечено издателями памятника, приписана сверху и, может быть, другой рукой [22]. Другие примеры зафиксированы в житиях и посланиях духовных лиц и могут быть связаны с книжнославянским влиянием. В приказно-деловой письменности Московского государства до второй пол. XVI в. формы мн. ч. от имен собир. на -ья встречаются редко и только с нач. XVII в. получают широкое распространение, а во второй пол. XVII в. становятся окончательно сложившейся нормой формирующегося национального русского языка. Форматив мн. числа -ья нашел применение и за пределами категории имен собир.: мн. ч. *атаманья, господья, дядья, кумовья* (с контаминацией окончания -ове и форманта -ья), *мужья, панья, сватовья, холопья* и т. п. Новые формы мн. ч. широко распространены во всех диалектных зонах русского языка (с.-в.-русск. *братовья, сватовья, зятевья* или *братья, сватья, сынья* и под., ю.-в.-русск. *братья, сынья, сватья, дядья, деверья, матерья* и др.), уступаая место простым формам мн. типа *братья, сыны* лишь в некоторых западных и юго-западных говорах, пограничных с белорусским и украинским языками, например, брянск. *браты, зяті, сыны*; формы на -ья (*братья, зятья, мужья*) встречаются здесь спорадически².

В староукраинском языке XIV—XV вв. функцию формы мн. ч. для слова *брат* выполняло собир. ед. ч. ж. р. *братия*. Многочисленные формы мн. ч. (им. п. *братья* — XV в., род. п. *братіи, братеи* — с нач. XV в., дат. п. *братіамъ, братиямъ* — с нач. XV в., твор. п. *братіами* — с конца XIV в., местн. п. (вм. род. п.) — *от (у) братіях* — XV в.), собранные в Словаре староукраинского языка XIV—XV вв. [25], принадлежат славяно-молдавским источникам и связаны с влиянием среднеболгарской книжной подосновы письменного языка молдавской канцелярии. Живую народную речь украинцев отражают простые форм. им. п. мн. ч. *брати* (с 1439 г.) и *братове* (с 1493 г.), еще редкие в письменности XV в. Мн. ч. *браті* (а также *браты* и *брат'а, братіи*) отмечено в одном из архаических говоров украинского языка — бойковском диалекте в Карпатах [26]; в юго-западном наречии, особенно в лемковских говорах

² Обобщающие сведения по диалектам русского языка даны в [23, 24].

и во всей карпатской диалектной группе, типичны формы на *-бве*: *бра-тбве*, как и *сватбве*, *синбве*, *мужбве*, *сусидбве*, *предкбве* и под. Древнее собир. *братя* в говоре прикарпатских лемков имеет парадигму мн. ч.: *братя*, *братши*, *братям*, *братями*, *братях* [27] — результат плюрализации на диалектной основе.

В старобелорусском языке, по данным книжных источников XV — XVI вв., функцию формы мн. ч. слова *брат* выполняло собир. *братия* с парадигмой форм ед. ч., ср. то же соотношение: *хологъ* — собир. *хологья* (XVI в.). В определенно-количественных сочетаниях использовалась простая форма мн. ч.: *тры браты* (Летопись по сп. Рачинских около 1580 г.). В письменности XVI—XVII вв. отражен переход собир. *братия* > *братя* в форму мн. ч.: *старшие братья* (Литов. метрика 1567 г.), дат. п. мн. ч. *братямъ* (первая пол. XVII в.). Однако эти книжные формы в речи не закрепились, вместо них получили распространение в качестве общезыковой и литературной нормы обычные грамматические нормы мн. ч.: *братѣ*, *братбѣ*, *братам*, *братами*, *братях* (ср. также *кумы*, *сваты*), как и в говорах.

В истории чешского языка в формы мн. ч. были преобразованы собир. *bratřie* и *kněžie*, функционировавшие как выразители мн. ч. существительных *bratr* и *kněz*. В соответствии с этой функцией они сочетались с количественными числительными: *trzie bratřie* (Život sv. otců, 21a, 282, 290; *piet bratřij*, op. cit., 13a, 58). Плюрализация завершилась в живой речи во второй пол. XIV в. В языке произведений Яна Гуса и его сподвижников, в песнях и духовных стихах гуситов (нач. XV в.), в языке П. Хельчицкого существительные *bratři* и *kněží* имеют прочно утвердившиеся парадигмы мн. числа. В дальнейшем форма *bratři* вышла из употребления, вместо нее применяется простая форма мн. ч. *bratři*. Рефлексом старой собир. формы в им. п. является диалектное восточноляшское мн. ч. *bračo* к ед. ч. *brat*, функционирующее наряду с мн. ч. *bratři* от ед. ч. *brater*. В восточноляшском наречии сочетаются языковые черты чешской, словацкой и польской речи в Силезии. В этих формах чувствуется влияние говоров польского языка, ср. крамское (центр великопольского наречия) мн. ч. *bračo* [28], доманевские в Ленчицком повете *bračo* или *brača* (наряду с мн. ч. *braty*) и *kśižo* [29], северные великопольские *bračo* // *brača*, *kśyžo* [30]. В яблунковских и соседних говорах с исторической словацкой речевой основой окончание *-o* распространилось среди части имен существительных, обозначающих лиц мужского пола: *katračo*, *sũtšážo*, *žižo*, *muožĩ paňo*, *L'igobaňo*, *Višľaňo* и др. [31].

В словацком древние имена собир. *brat'ã* и *knãža* в результате фонетического преобразования (*brat'ã* > *bratia*) на базе среднесловацкого наречия и плюрализации дали форматив мн. ч. им. п. *-ia*-, *-ovia*, получивший широкое распространение в классе имен личных муж. р.: *slovania*, *mešt'ania*, *I'udia*, *synovia*, *otcovia*, *dedovia*, *mužovia*, *strykovia* и мн. др.

В истории польского языка в формы мн. числа были преобразованы собир. *braciã* и *kścieżã*. В актах первой пол. XVI в., судя по согласованию определений во мн. числе (при сохранении морфологических признаков форм ед. ч.), намечается переосмысление собир. *braciã* в форму мн. ч. Отмечаемая в актовой письменности XVI—XVII вв. сочетаемость собир. *braciã* с количественными числительными прямо свидетельствует о том, что оно могло выражать наряду с собир. и расчлененное множественное значение, соответствующее абстрагированному осмыслению множества. В этот период формы выражения приходят в соответствие с реальным

значением множественности и получают окончания мн. числа в косвенных падежах: *braci, braciom, braćmi, braciach; księżi, księżom, księżmi, księżach*.

Разнообразие форм выражения множественности в диалектах создается сочетанием в единой парадигме трансформов имен собир. в разных фонетических вариантах с простыми формами мн. ч., которые перестали различаться вследствие абстрагирования и обобщения значения, например, силез. им. п. мн. ч. наряду с *braciã, kšęžã* — мн. ч. *braty* (Кельч, Ловковице), *bratšiši* (Добрачице), *braćoŭ* (Борки), а также *kšęžoŭe, kšęze* и др. [32, с. 111], в Опольском повете: *kšyza // kšyžyŭ* (Старые Щелковицы), *braćoŭ kšyŭzoŭ* (Сходни) наряду с более редкой здесь формой на *-oŭe: bratoŭe, kšyŭzoŭe* [33, 3, с. 105—106]. В силезских говорах в косвенных падежах утвердились простые формы мн. ч.: род. п. *bratŭf, kšęžŭf*, дат. п. *bratŭm, kšęžŭm (lužŭm)*, твор. п. *bratŭma, kšęžaŭmi (lužaŭmi)* [32, с. 112, 113]. В глогувечком диалекте формы мн. ч. типа *braćoŭ (braćoŭ), kšęžoŭ* и *kšęžoŭ* распространились и среди других названий лиц мужского пола: *muzykaŭcoŭ, fraŭciškaŭcoŭ, kŭmraćoŭ, miŭnistracŭcoŭ, partizacŭcoŭ, Ruišoŭ* [34]. Образования этого типа известны в говорах Силезии, в Малопольше, на Куявах и спорадически встречаются на Мазовье. В крайнянских говорах часто употребляются формы мн. ч. типа *braciã, księžã*, но не меньше наряду с ними или вместо них выступают обычные формы мн. ч., см. [4, с. 76]. Вместе с тем в диалектах тип имен собир. ед. ч. муж. р. на *-ã* от одушевленных слов окончательно не утрачен, но получил некоторое распространение у названий лиц мужского пола, например: малопольские и великопольские *vŭjã, zadukaã, muzykaŭã, swacã, ryceã, parcelaŭã, ćelazã* [35].

В верхелужицком языке формы им. п. мн. ч. на *-a* по образцу плюрализованых имен собир. *bratŕa, knježa* образуют личные имена существительные муж. р.: *serb — serbja, čech — česi/češa, žid — židži/židža, bar — barja, kmotr — kmotrŕa, pop — popja, mnich — mniša, susod — susodža* и др. В нижелужицком языке этому типу соответствуют формы мн. ч. на *-i, -e, -a*, выражающие собир. значение: *bur — burja, burje, sused — suseži, brats — bratsi, kmotš — kmotši, kmotše, kmotša, kněz — knježa, gosć — gosći*.

Широкий охват диалектов явлениями плюрализации имен собир. свидетельствует о глобальном характере процесса грамматикализации категории числа, в котором получают выажение внутренние — общие и особенные тенденции развития грамматического строя славянских языков.

Абстрагирование количественных значений и формирование грамматической парадигмы мн. числа исторически вызвали преобразование типа предметной (неодушевленной) собирательности ср. р. на *-ie*, обусловленное функцией множественности. Этот процесс тоже имел свои особенности и разные последствия в истории славянских языков. Различия важны для понимания механизма грамматикализации и закономерностей образования грамматических форм. Отмечаемые уже в старославянских текстах формы мн. ч. от имен собир. на *-ie* — *былика каменя, листвика, кореника* и т. п., особенно многочисленные в церковнославянских памятниках древнерусского, среднеболгарского, древнесербского изводов, выражали расчлененность множества. Несомненно, эти формы повлияли на развитие праславянского типа *-ie* в отдельных славянских языках и оказались исторически перспективными в выражении абстрагированной, логической множественности, постепенно вытеснившей прежнее значение расчлененности.

В период формирования новоболгарского языка XV—XVII вв. в письменности под влиянием диалектов активизируются собир. ед. ч. на *-ие* > *-е* с функцией множественного. Вместе с тем, как и в среднеболгарском (сочинения Евф. Тырновского, летопись Константина Манасии и др.), имена собир. на *-ие* образуют формы мн. ч.: *биліе* — *биліа*, *дръіе* — *дръіа*, *мраморіе* — *мраморіа*, *овоціе* — *овоціа*, *лозіе* — *лозіа* и под., отмечаемые в Люблинской рукописи XVII в., дамаскинах — Коприштенском, Тихонравовском, Троянском и др. источниках XVII в. По данным Свиштовского дамаскина 1753 г., отражающего архаические и новые, развивающиеся черты северо-восточного наречия болгарского языка середины XVIII в., с одной стороны, еще прочные позиции в выражении множественности занимают имена собир., а с другой — все большее распространение получают образуемые от них формы мн. ч., поскольку собир. нередко лексикализуются, отсюда лит. болг. *цветъ*, *лозъ*, *нивъ*, *кѣщъ*. То же соотношение форм ед. и мн. ч. отмечено в современных северо-восточных говорах о-диалекта: *цвет'е* — *цветъ*, *лѣз'е* — *лозъ*, *лїст'е* — *лїстъ*, *пѣр'е* — *перъ*, *нїв'е* — *нивъ* и т. п. В шуменском говоре (мизийская группа восточных говоров) употребительны собир. ед. ч. *дрѣв'е*, *вѣже*, *лїсте*, *лѣз'е*, *снѣпе*, *тѣрне* и формы мн. ч. на *-а*, производные от существительных этого типа: *лоз'а*, *врат'а*, *нив'а*, *древ'а*. В другом мизийском говоре — гребенском (Силистрия) модель мн. ч. имен ср. р. с окончанием *-йа* (*вѣжи* — *вѣжйа*, *лузйа*, *цвїтйа*, *пирѣ* — *пирйа*) образована от собир. типа на *-ие* [36, с. 48—49]. В западных болгарских говорах тоже распространены имена собир. ср. р. ед. ч. на *-е* и производные от них грамматические формы мн. ч. (с одушевленными основами): софийские *рѣб'е* — *рѣб'а* (ср. также серб.-хорв. *робље* — *робља*), *лїг'е* — *лїг'а*, *мѣж'е* — *мѣж'а* и *маж'е* — *мажл'а*, как и исконные, древние собир. от неодушевленных основ: *кѣл'е* — *кѣл'а*, *пѣр'е* — *пѣр'а*, *дрѣв'е* — *дрѣв'а*, *лѣз'е* (несобир.) — *лѣз'а*, *нїв'е* — *нїв'а*, *слѣв'е* — *слѣв'а*, *вѣж'е* (несобир.) — *вѣж'а*, *цвет'е* (несобир.) — *цвет'а* [37, с. 239, 246, 259], орханийские ед. ч. *арѣпе*, *вѣже*, *гѣсте*, *бїсе*, *гѣдже*, *грѣзде*, *лївѣде*, *лѣзе*, *лїсте*, *кѣле*, *прѣте*, *тѣрне*, *рѣсте* (*хрѣсте*), *цвѣте* (с утратой мягкости конечного согласного основы в ед. ч.) и мн. ч. *нїв'а*, *лѣз'а*, *пѣр'а*, *цвет'а* [18, с. 35—36].

В общей парадигме, противоположающей имени собир. ед. ч. на *-е* и формы мн. ч. на *-а*, заняли место в качестве имен собир. ед. ч. бывшие формы мн. ч. **i*-основ *гѣск'е* (**gostъje*) и *л'їд'е* (**ljudъje*). Об этом свидетельствует согласование сказуемых и определений в ед. ч.: софийские *гѣск'е* *прѣдумѣло* (Кумар.), *нѣше мїло гѣск'е*, *гѣск'е што гѣвѣри* (с. Гинци), впрочем, непоследовательное [37, с. 259]. Тем самым находят свое объяснение формы мн. ч. *гѣск'а* и *л'їд'а*. Очевидно, что формы ед. и мн. ч. близки по смыслу. Г. Попиванов приводит пример, в котором они варьируются в речи одного информанта: *и нѣзе рѣб'е фанѣха* — *и нѣзе рѣб'а фанѣха* [там же]. Различия между формами мн. ч. и собир. ед. ч. порой нивелируются на основе общего значения совокупной множественности, ср. согласование определений и сказуемого в ед. ч. с именем сущ. мн. ч.: *Дрѣбно си слѣзи прѣмѣа* (Елешница), *Запрѣ се гѣре*, *запрѣ се нїви* (Реброво) [37, с. 259].

Окончание мн. ч. *-а* распространилось и среди части одушевленных основ мужского и женского рода (возможно, также в связи с процессом трансформации имен собир. в формы мн. ч.) по типу собир. *брѣтя*: шумен. *бївол'а*, *бѣлгар'а*, *волѣв'а*, *дугар'а*, *дуген'а*, *тилц'а*, *турч'а*, *циган'а* и др. [8, с. 351, 361], тетевенские *бївол'а*, *волѣв'а*, *влас'а* (ед. ч. *влах*), *турчол'а*, *читач'а*, *грчол'а* (*грци*), *колугер'а*, *овчер'а* и ж. р. *женур'а*, *дечур'а*

[9, с. 58], гребенские *чурап'а*, *бустан'а*, пожаревские *женур'а*, *мъжур'а*, [36, с. 49], сливенские (подбалканский говор) *жинур'а*, *цигън'а*, *гърчул'а* [38] и др.

Исконные имена собир. ед. ч. могут быть непосредственно осмыслены как формы мн. ч., например: *те нив'е* (< собир. ед. ч. нивие) или лексикализованы в целостном единичном понятии, как *цвете* (< собир. *цветик*). Плурализация имен собир. ср. р. стала для многих болгарских говоров активным источником образования и распространения продуктивного типа мн. ч. на *-е*, в котором объединились также окончания древних основ на согласный и на **-й* (муж. р.). В юго-западном ихтиманском говоре среди имен существительных, образующих мн. число на *-е*, можно выделить группу слов, у которых эта форма прямо восходит к именам собир. ср. р.: мн. ч. *бдре*, *дабе*, *кляне*, *кдле*, *нив*, *пра́те*, *трѹпе*, *тръне* и др. В одном ряду с ними оказались формы мн. ч. *ма́же* и *гд́сте* с окончанием из основ на **-й* [17, с. 65]. В балканском тетевенском говоре группа односложных существительных муж. р. во мн. ч. принимает окончание *-е* того же происхождения: *гд́сте*, *гля́сте*, *зѣбе* (*зѣб* «скала»), *дрѣне*, *кд́ле*, *мѣ́же*, (*х*)*ра́сте*, *пѣне* (*пѣнь*), *п'р́те*, *рѣбе*, *снд́пе*, *т'р́не*, *кд́дне*, *с'р́бе* (*срѣбин*), включая и перешедшие в этот тип существительные муж. р. **-ѡ*-основ *ца́р'ѡ*, *кра́л'ѡ* и др. [9, с. 55]. В этом типе мн. числа обобщены на основании единой функции множественности окончания основ на **-й* (*гд́сте*), основ на согласный (*с'р́бе*) и форматив имен собир. ср. р. *-ие* > *-е*. Такому широкому обобщению окончаний разных типов праславянского склонения несомненно способствовало отсутствие форм косвенных падежей, утрата падежного словоизменения в истории болгарского языка. В юго-западных болгарских говорах, по данным говора с Горно поле, чрезвычайно продуктивное окончание мн. ч. *-йе* (*-йѣ*) присоединяется к разным, односложным и многосложным, основам. Одни такие формы восходят к именам собир. ср. р.: *бас* — *ба́йе*, *брес* — *брѣск'е*, *дап* — *да́бйе*, *лис* — *ли́ск'е*, *прат* — *пра́к'е*, другие — к формам мн. ч. от согласных основ — на *-ар*: *друза́р* — *друза́рийе*, *жетва́р* — *жетва́рийе*, на *-ач*: *ора́ч* — *ора́чийе*, на *-ин*: *бу́гарин* — *бу́гарйе*, *ср́бин* — *ср́бйе*, на *-ен'*: *ка́мен'е* (ед. ч. *ка́мик*), *кѡ́рен'* — *кѡ́рен'е*, *ва́гл'ен* — *ва́гл'ен'е* и др. [39]. В кюстендилском говоре, входящем в южную группу юго-западной диалектной зоны, часть односложных имен существительных муж. р. образует два ряда форм мн. ч.: на *-ове* (*-еве*) и на *-йе*: *бор* — *бѡрове* и *бѡрийе*, *брес* — *брѣстове* и *брѣске* (*брѣйе*), *дап* — *дабове* и *дабйе*, *клин* — *кльнове* и *кльн'е*, *лис* — *ли́стове* и *ли́ске* (*ли́сйе*), *сноп* — *снд́пове* и *снд́пйе*, *бус* — *бу́зйе* и *бу́ске*, *сот* — *сѡтйе* и *сѡтке*, *сѡ́ке* [19, с. 65]. Здесь, как и в других говорах, в типе мн. ч. на *-йе/-'е* обобщены разные по происхождению формы мн. ч. — древних основ на **-й* (*гос* — *гѡске*, *гѡсйе*), на согласный (*арга́тин* — *арга́ке*, *жетва́р* — *жетва́рийе*, *офча́р* — *офча́рийе*, *офча́ре*) и др. [19, с. 82] и тип имен собир. ср. р. на *-'е*. В группе восточнорупских говоров в образовании форм мн. ч. также используется окончание *-'е/-'йе*, восходящее к формативу имен собир. ср. р. на *-ие*, например: тракийские (с. Сычанли) *глас* — *гласйе*, *грѣм* — *грѣме*, *гос* — *гѡстйе*, *грон* — *грѡбйе*, *роб* — *рѡбйе*, *сноп* — *снд́пе*, *клон* — *кд́не* [7, с. 71–72], странджанские *бук* — *бу́чйе*, *клен* — *кльн'е*, *клин* — *кльн'е*, *кол* — *кѡл'е*, *лис* — *ли́ск'е*, *прат* — *прат'е*, *сноп* — *снд́пйе* и *снопйа*, *трѣн* — *трѣн'е* (наряду с формами мн. ч. на *-ве*: *кѡл-ве*, *ли́стве*, *трѣнве*, *снд́пве*), распространившееся и на одушевленные основы: *гос* — *гѡск'е*, *мъш* — *мъ́жйе*, *брат* — *бра́к'е* и др. [11, с. 28]. Обе формы мн. ч. на *-йе/-'е* и на *-све* принимают артикль *-то* подобно собир. ср. р. ед. ч. на *-е*. Примечательная особенность состоит в том, что формы

мн. ч. на -е обозначают определенных лиц, животных, предметы: *биул'е, говедаре*, но если говорится вообще о множестве обозначаемого, то применяются производные от них собир. формы мн. ч. на -'а/-'яа: *биул'а, говедар'яа, еснаф'яа, свинар'яа, бакал'а, гърчул'аа, кучек'а, момчек'а, циган'а* [11, с. 47, 50]. В этом своеобразно отразилось то архаическое состояние, когда общее значение множества выражалось именами собир. (этой цели и здесь служат собир. формы мн. ч.), а грамматические формы мн. ч. применялись для обозначения конкретных множеств. В западно-русских говорах окончание -'е и артикль -то имеют формы мн. ч. из праславянского склонения основ на *-й (*л'уг'ето, г'остето*, переоформленное по данному типу мн. ч. *маж'ето*), основ на согласный (*камен' — камен'е, камен'ето, ремен — ремен'е, ремен'ето*), а в иных случаях форма мн. ч. является преобразованным именем собир. ср. р.: *збѣ, трѣн'е(то), дѣбѣ, сн'опѣ* и т. п. [12, с. 70]. Редко, как и в других говорах, окончание -'е(то) принимают сущ. жен. р.: *з'вѣд'ето, г'ор'ето, сф'аш'т'ето* и др. В архаическом тихомирском говоре в Родопах мн. число на -'е (с удлинением согласной основы) образуют еще более разнообразные типы имен сущ.: *авѣс — авѣсе, брат — братѣ, вѣт'рѣ, г'дѣ, грѣбеѣ, дарвѣ, дѣне, д'длѣ, каменѣ, кл'ине, колѣ, к'онѣ, листѣ, председателѣ, п'оте, сн'огѣ* и др. [13, с. 35, 49].

Формы мн. ч. на -е, восходящие к типу имен собир. ср. р., широко распространены в македонских говорах. Собирабельные по происхождению формы мн. ч. на -йел-'е продуктивны в дольнопреспанском говоре на крайнем юго-западе Болгарии, переходном от западномакедонского наречия к восточномакедонскому: *д'ѣн — д'ѣйе*, например: *чѣтири д'ѣйе, сноп — сн'опйе, клас — класйе, к'орен — к'орен'е, камен — камен'е, лист — листйе, н'рт — н'ртйе* (ст.-слав. *пржтйе*), *ремен — ремен'е, т'рн — т'рн'е* [40, с. 45, 47]. Обычно формы мн. ч. на -йел-'е образуют односложные имена существительные муж. р., но в западных болгарских и македонских говорах окончание, восходящее к типу собир. ср. р. на -'е, принимают и существительные жен. р., например, преспанские *в'дда — в'ддйе, л'вада — л'вадйе, м'рѣжа — м'рѣжйе, н'ва — н'вйе, трѣва — трѣвйе, с'л'ва — с'л'вйе, п'ланина — п'ланин'е, п'адина — п'адин'е* [40, с. 47]. В горнокостурском говоре, как и в остальной костурской диалектной области, этому типу равноценно мн. число на -йал-'а — морфологически правильная форма мн. ч. от имен собир. ср. р.: *лив'ада — лив'адйа* и *лив'аг'а, н'ва — н'вйа*, например: *две н'вйа* (Пополе), *в'дда — в'ддйа, трѣва — трѣвйа, д'дбри л'удйа, л'уг'а, струп — струпйа, д'ѣмб — д'ѣмбйа, сноп — сн'опйа, клас — класйа, камен — каменйа, ремен — ременйа, к'орен — к'оренйа* [41]. В литературном македонском языке кодифицированы простые и собир. формы множественности: *ливада — ливади* и *ливаг'е, планина — планини* и *планин'е, нива — ниви* и *нивје*. Прилагательные в сочетании с собир. на -је принимают формы ед. и мн. ч.: *жолто снопје* и *жолти снопје*. Наряду с собир. формами мн. ч. на -је применяются и производные от имен собир. ср. р. формы мн. ч., например: *даб — дабје/дабја* (и простая форма мн. ч. *дабови*), *камен — камене/камена, кол — колје/колја, дрво — дрвје/дрвја* и *дрва, крило — крилје/крилја* и *крила, жито — житје/житја* и *жита, перо — перје/перја* и *пера, сноп — снопје/снопја* и *снопови* и т. п. Собирабельное множественное обозначает неопределенное множество предметов, а простое множественное — сосчитанный ряд отдельных предметов. Македонский литературный язык находится в состоянии формирования и развития грамматических норм. Устранение дублетности форм мн. числа может выразиться в стилистическом использовании одного из вариантов или в их смысловой дифференциации, например:

лист — *лисѣ/лисја* (раст.) и *листови* (бумаги), *крило* — *крилѣ/крилја* и *крила* (створки двери, окна и др.), *перо* — *перѣ/перја* и *пера* (перья для письма) и т. д.

В говоре банатских болгар, отделившемся от общенародного болгарского языка с конца XVII в. и, следовательно, в известной мере сохранившем архаические черты, хотя, конечно, и изменившемся в процессе самостоятельного развития в иноязычном окружении, некоторые имена существительные муж., жен. и ср. р. образуют кроме обычных форм мн. ч. и вторую, собир. форму на *-а*, *-йа* и *-йѣ*: *брѣк'* — *брег'йѣ*, *клас* — *класйѣ*, *гумну* — *гумн'а* и др. Собирательный оттенок значения ощущим и в некоторых других формах мн. ч. типа *бърдйа*, *трѣйѣ*, *лываг'е* [20, с. 177]. Таким образом, продуктивность окончания мн. ч. *-е*, характерного для большинства современных болгарских говоров, связана с влиянием плюрализованных форм имен собир. ср. р. на *-е*, обобщивших разные по происхождению окончания им. п. мн. ч. — склонения имен муж. р. на **-i*, на согласный, а в отдельных случаях и имен жен. р. на **-ja* (ст.-слав. *овьцѣ* > *овце*). О подавляющем влиянии имен собир. ср. р. на *-е* свидетельствует то, что характерный для собир. артикль *-то* присоединяется ко всем формам мн. ч. на *-е* независимо от их происхождения (ср., например, шумен. *л'удето*, *вбловето*, *селѣнето*, странджанские *м'аговето*, *роговето*, *сн'аговето*, *сйновеето*, неврокопские *гр'аховето*, *камен'ето*, *ден'ето*, *сѣдвовето*, *синовеето*), хотя формы мн. ч. при этом не превращаются в формы ед. ч. и не становятся именами собир. Очевидно, что разные по происхождению формы мн. ч. на *-е* по свойственному им значению совокупной множественности ассоциировались с именами собир. ср. р., которые, в свою очередь, переходили в формы мн. ч. Артикль *-то* исторически присвоен от имен собир. ср. р. на основе их исконной функции форм мн. ч. Произошло обобщение имен собир. и грамматических форм мн. числа на основе указанной функции.

В болгаристике утвердилось положение, что литературные формы мн. ч. типа *листи*, *снопи*, *тръни*, *трупи* тоже производны от имен собир. ср. р. *листе*, *снопе*, *тръне*, *трупе* (ст.-слав. *листие*, *снопие*, *тръние*, *трупие*) путем фонетического изменения неударного окончания *-е* > *-и* в северо-восточном наречии с последующей плюрализацией форм ед. ч. Достоверность этого фонетического явления подтверждают троянские лексикализованные в ед. ч. имена собир. ср. р. *грѣзди*, *зѣли* или имена отвлеченные *брѣн'и*, *купѣн'и*, *сидѣн'и*, не имеющие форм мн. ч. [10, с. 177]. В троянском говоре некоторые односложные существительные муж. р. образуют мн. число с окончанием *-и*: *пърт* — *пърти*, *зъл* — *зълби*, *път* — *пъти*, *трън* — *търни* [10, с. 175]. В шуменском говоре окончания мн. ч. *-и* принимают существительные жен. и муж. рода (*глави*, *сълзи*, *вѣни*, *гѣри*, *вѣди*, *жѣни*, *ѣнци*; *гласи*, *мѣсти*, *листи*, *ѣблито*, *дѣрито*, *гѣри*, *пѣти*) [8, с. 360]. По наблюдениям Г. Попиванова, в районах Тырново, Шумена, в северной Добрудже формы мн. ч. от некоторых имен существительных благодаря собир. значению воспринимаются и требуют согласования прилагательных как собир. формы ед. ч. ср. р.: шумен. *тѣнку дари*, *чѣрно косми*, *м'адно кл'учи*, *бързу хърти*, *равно коли*, *бѣстро сълзи*, *широко двѣри* [8, с. 361]. Такое же согласование характеризует и трехсложные формы: *м'адно ковѣли*, *ц'ало с'л'ани* (Снежина). Однако не всегда окончание мн. ч. *-и* восходит к *-е* как его фонетический вариант. В таких примерах, как тырновские и шуменские *тѣнку дари*, *чѣрно косми*, *м'адно кл'учи*, *бързу хърти*, *бѣстро сълзи*, прилагательные имеют формы ед. ч. ср. р. потому, что правильные грамматические формы мн. ч. *дари*, *косми*, *кл'учи*, *хърти* по-

лучили собир. смысл и приравнены к именам собир. ср. р., соотносительным с односложными основами.

В современном сербохорватском литературном языке имена собир. ср. р. на *-je* сохранили формы ед. ч. вместе с функцией множественности. Простые формы мн. ч., как и в прошлом, выражают расчлененность, раздельность множества или немногочисленность составляющих его единиц, ср. собир. *pérje* и мн. ч. *pèra*, собир. *kàmēnje* и мн. ч. *kàmeni*, собир. *lišće* и *lišтови*, *cvjēće* и *cvjětovi*, *grōžđe* и *grōzdovi*. Однако в диалектах имена собир. образуют формы мн. ч., например, контаминированные формы мн. ч. в старочерногорских среднекатунских и лешанских говорах: *камѣњи* — *камѣнѣ/камѣнѣма* (Цуце, Загарач, Доњи Бјелице, Љинкополе), *прстѣњи* — *прстѣнѣ/прстѣнѣма* (Цуце), *грмѣњи* — *грмѣнѣ/грмѣнѣма* (Цуце, Загарач) и др. [42].

В истории русского языка образование и утверждение форм мн. ч. на *-ья* типа *деревьѣя*, *листьѣя*, *каменьѣя*, *кореньѣя* от имен собир. ср. р. на *-ье*, охватившее все диалекты, стало выражением морфологического развития категории числа, преобразования словообразовательной парадигмы типа *лист* — собир. *листьѣя*, *дерево* — собир. *деревьѣя* в словоизменительную типа *лист* — мн. ч. *листьѣя*, *дерево* — мн. ч. *деревьѣя*. Это не привело к утрате типа имен собир. ср. р. на *-ье*, поскольку они развили стилистические и специальные лексические функции, благодаря которым и сохранили продуктивность в говорах.

В белорусском языке имена существительные, от которых были образованы имена собир. ср. р. на *-'е*, по данным разговорной речи, языка художественной литературы и диалектов, различают две формы мн. числа — собирательную и дистрибутивную, например: *лист* — мн. ч. *лісці* и *лісты* (собир. *лісце*), *кбрань* — мн. ч. *карѣннi* и *каранi* (собир. *карѣнне*), *брус* — мн. ч. *бруссі* и *брусы* (собир. *бруссе*), *зуб* — мн. ч. *зуб'і* и *зубы* (собир. *зуб'е*) и др. Однако в литературном языке собир. сущ. ср. р. *бруссе*, *валбссе*, *калбссе*, *камѣнне*, *карѣнне*, *кблле*, *крѣлле*, *лісце*, *зблле* и т. п. употребляются только в ед. числе.

В старопольском языке имена собир. на *-'е*, по данным письменности, уже в XV в. образуют формы мн. ч. в расчлененно-множественном значении, например: *lišcia*, *ziela*, *ciernia*, *korzenia*, *pierza*, но они не получают развития, хотя изредка встречаются еще в художественной литературе XIX в. Соотносительные с мягкими производящими основами муж. р., собир. на *-'е* типа *kamienie*, *korzenie*, *krzemienie*, *ciernie* etc. были идентифицированы с формами мн. числа древнего склонения имен на **-i-* (как *ludzie*) на основе фонетического тождества окончаний и функции множественности. В результате этого в течение XVI—XVII вв. они перестроили свою парадигму, превратившись в формы мн. числа. Имена собир., соотносительные с производящими основами на твердый согласный (*kłosie*, *krzewie*, *pierze*, *prącie*, *papier*, *strącze*, *włosie*), сохранили собир. значение и парадигму ед. числа.

В старочешской письменности имена собир. на *-ie* в отдельных единичных случаях сочетаются с определениями и сказуемыми, согласованными во мн. числе. В этом нарушении формального согласования проявляется естественное стремление реализовать функцию множественности, однако плюрализации имен собир. на *i-* < *-ie* не произошло. Благодаря распределению функций между именами собир. и простыми формами мн. ч. от общих производящих основ в чешском языке имена собир. ср. р. сохранили парадигму ед. числа.

История славянских типов имен собир. проявляет важнейшую законо-

мерность в развитии категории числа в период формирования грамматических норм национальных славянских языков, заключающуюся в формализации, грамматикализации выражения количественных отношений, в развитии и утверждении флективных парадигм. Взаимодействие имен собир. с категорией числа, вызвавшее разные преобразования — переосмысление одних типов имен собирательных в формы мн. числа и переоформление других, — целиком основано на их исконной функции выражения множества. Переход функции мн. числа от имени собир. к грамматической форме мн. числа в истории славянских языков, вызвавший столь разнообразные изменения, означал упорядочение функций и унификацию способов выражения абстрагированных языковых значений множественности, дальнейшую формализацию числовых оппозиций, определившую словоизменяемый грамматический характер современной категории числа.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Дегтярев В. И.* Категория числа в славянских языках (Историко-семантическое исследование). Ростов-н/Д, 1982.
2. *Kucała M.* *Porównawczy słownik trzech wsi małopolskich.* Wrocław, 1957. S. 25.
3. *Golač P.* *Gwara Schodni i okolicy.* Wrocław, 1955.
4. *Zagórski Z.* *Gwary Kraju.* Poznań, 1964.
5. *Гълъбов Л.* *Говорът на с. Доброславци, Софийско // Българска диалектология. Прочувания и материали. Кн. 2. София, 1965.*
6. *Селищев А. М.* *Македонские коды XVI—XVIII веков. Очерки по исторической этнографии и диалектологии Македонии.* София, 1933. С. 235.
7. *Бояджиев Т.* *Говорът на с. Съчанли, Гюмюрджинско.* София, 1972.
8. *Попиванов Г.* *Особености на шуменския говор // Сборник на Българската академия на науките. Кн. XXXIV. Клон ист.-филол. София, 1940.*
9. *Стойчев Кр. С.* *Тетевенски говор // СбНУ. Кн. XXXI. София, 1945.*
10. *Ковачев Ст.* *Троянският говор // Българска диалектология. Прочувания и материали. Кн. 4. София, 1968.*
11. *Горов Г.* *Странджанският говор // Българска диалектология. Прочувания и материали. Кн. 1. София, 1962.*
12. *Мирчев К.* *Неврокопският говор.* София, 1936.
13. *Кабасанов С.* *Един старинен български говор. Тихомирският говор.* София, 1963.
14. *Miletič Lj.* *Das Ostbulgarische.* Wien. 1903. S. 244.
15. *Тодоров Ц.* *Северозападните български говори // СбНУ. Кн. ХLI. София, 1936.*
16. *Младенов М. Сл.* *Говорът на Ново село, Видинско. Привнос към проблема за смеените говори.* София, 1969. С. 52, 306.
17. *Младенов М. Сл.* *Ихтиманският говор.* София, 1966.
18. *Попиванов Г.* *Орханлийският говор // СбНУ. Кн. XXXVIII. София, 1930.*
19. *Умленски Ив.* *Кюстендилският говор.* София, 1965.
20. *Стойков Ст.* *Банатският говор.* София, 1967.
21. *Видоески Б.* *Кумановският говор.* Скопје, 1962. С. 140.
22. *Полное собрание русских летописей. Т. 2. Ипатьевская летопись. 2-е изд. СПб., 1908. С. 313.*
23. *Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров/Отв. ред. Орлова В. Г. М., 1970.*
24. *Бромлей С. В., Булатова Л. Н.* *Очерки морфологии русских говоров. М., 1972.*
25. *Словник староукраїнської мови XIV—XV ст. Т. 1/Ред. Гумецка Л. Л. Київ, 1977. С. 120—122.*
26. *Ониськевич М. О.* *Словарь бойковского диалекта // Славянская лексикография и лексикология. М., 1966. С. 92.*
27. *Груньский М., Ковальов П.* *История форм украинської мови. Харків, 1931. С. 62.*
28. *Ваќ P.* *Słownictwo gwary okolic Kramaska na tle kultury ludowej.* Wrocław, 1960. S. 55.
29. *Szymczak M.* *Słownik gwary Domaniewka w powiecie Łęczyskim. Cz. I. Wrocław — Warszawa — Kraków, 1962. S. 49.*
30. *Tomaszewski A.* *Gwara Łopienna i okolicy w północnej Wielkopolsce. Kraków, 1930. S. 67.*
31. *Kellner Ad.* *Východolašská nářečí. I. Brno, 1946. S. 138, 143.*
32. *Nitsch K.* *Diallky polskie Śląska. Cz. I. Kraków, 1939.*

33. *Zaręba A.* Słownik Starych Siołkowic w powiecie Opolskim. Kraków, 1960. S. 61.
34. *Pluta F.* Dialekt Głogówecki. Cz. II. Wrocław, 1964. S. 65.
35. *Urbańczyk S.* Zagryś dialektologii polskiej. Wyd. 5. Warszawa, 1976. S. 45.
36. *Кочев Ив.* Гребенският говор в Силистренско. София, 1969.
37. *Попиванов Г.* Софийският говор // Сборник на Българската академия на науките. Кн. XXXIV. Клон. йст.-филол. София, 1940.
38. *Панайотов П.* Сливенският говор // СбНУ. Кн. XVIII. София, 1901. С. 517.
39. *Котова Н. В.* Морфология существительных и прилагательных в говоре Горно поле (юго-западная Болгария) // Славянская филология/Под ред. Бернштейна С. Б. М., 1973. С. 56—60.
40. *Шклифов Б.* Долно-преспанският говор. Принос към проучването на югозападните български говори. София, 1979.
41. *Шклифов Б.* Костурският говор. Принос към проучването на югозападните български говори. София, 1973. С. 12, 24, 60, 61, 148, 151, 156, 161.
42. *Пешикан М. Б.* Старопреногорски средьокатунски и лъшански говори. Београд, 1965. С. 134.

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

ЧАНТУРИШВИЛИ Д. С.

ОБ ОДНОМ ТИПЕ ОБУЧАЮЩЕГО ПАРАДИГМАТИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ НЕРУССКИХ

*Светлой памяти Ф. П. Филина
(К 80-летию со дня рождения)*

Национально-русское двуязычие нуждается в обучающем обеспечении, которое необходимо постоянно совершенствовать. Об острой нужде в хороших и, что не менее важно, хорошо изданных учебниках, разговорниках, словарях шел серьезный разговор 3—5 апреля 1986 г. на Ташкентской всесоюзной научно-практической конференции «Совершенствование национальных отношений в свете решений XXVII съезда КПСС». Об этом, в частности, в своих выступлениях говорили Э. В. Бромлей, М. Н. Губогло, Ю. Д. Дешериев, В. И. Карташов, Н. Г. Самсонов, К. М. Ульвидас, Д. С. Чантуришвили и др.

Словарь, над которым автор работает с 1972 года, рассчитан на читателя хотя бы с минимальным школьным образованием по русскому языку. С помощью этого Словаря читатель сможет правильно 1) разбить каждую словоформу на морфы, 2) поставить ударение в каждой словоформе, 3) просклонять и проспрягать каждое слово, 4) написать каждую словоформу, 5) отнести родоизменяемую форму именно к данному, а не к другому существительному. При этом в Словаре не сформулировано ни одно правило и ни одно отступление от правила: все показано. Иными словами, весь фактический материал, извлеченный из многочисленных источников, приведен в определенную систему и полностью освобожден от теоретических рассуждений.

Выполнение поставленных выше задач гарантирует Поисковый аппарат (ПА), а перевод каждого слова на родной язык (в нашем случае — грузинский) обеспечивает правильное его понимание.

Словарь состоит из ПА, включающего в свой состав, кроме образцов с их индексами, также одно Приложение, 30 таблиц, Список глагольных парадигм (ГП), и собственно Словаря. Здесь каждое слово имеет индекс, который отсылает к ПА и на основании которого строится парадигма интересующего нас слова. За индексом следует перевод заглавного слова на родной язык.

Основу ПА составляют о б р а з ц ы и относящиеся к ним и н д е к с ы. И те и другие имеют (раздельно) сплошную нумерацию. ПА состоит из пяти разделов. Первые четыре раздела отражают парадигматику имен (существительных, прилагательных, числительных) и местоимений, пятый — парадигматику глагола. Все формы имен, местоимений и глаголов русского языка представлены в 480 образцах, реализованных в 1 861 индексе.

Презентация имен существительных. В основе выделения всех именных форм (в том числе и причастий) лежит дистрибуция винительного падежа: В (вин. уникальный в ед. ч. существительных на -а, -я), В = И (вин., омонимичный им.) и В = Р (вин., омонимичный род.) [1]. Все (разумеется, изменяемые) существительные русского языка разместились в 195 образцах, реализованных в 430 индексах. При выделении образцов мы руководствовались принципом, согласно которому для признания отдельности (самостоятельности) системы достаточно одного дифференциального признака, в том числе и ударения, ибо в русском языке ударение активно участвует в конструировании парадигмы, тогда как, скажем, в грузинском языке роль ударения в этом отношении равна нулю. Каждый образец представляет собой парадигму, в которой отражены только падежные окончания в их графическом выражении, по Г. О. Винокуру — комплексная морфема (КМ) [2, с. 399]. То, что следует за образцом, мы именуем длиной парадигмы (ДП), понимаемой нами как любые преобразования основы, включая перемещение ударения в пределах основы. Например, существительные *пирог*, *кусок*, *ларёк* и *паёк* имеют одну и ту же КМ, но отличаются друг от друга структурой основы и поэтому имеют каждое свой индекс. ДП могут быть однокомпонентными и многокомпонентными. Однокомпонентная ДП — это парадигма с константной основой: слова с этой КМ изменяются только так и только с тем ударением, которое отражено в парадигме образца, например: *пляж*, *буй*, *товарищ*, *герой*, *гений*, *сторож*, *волк*; *ноша*, *корча*, *каланча*, *марля*, *любовь*, *юноша*, *слуга*; *личико*, *питьё*, *море* и т. д. Таких, у н и к а л ь н ы х, парадигм 102. Многокомпонентные ДП включают в себя от 2 до 16 лексем. Понятие ДП нам понадобилось именно для того, чтобы при тождестве КМ отразить те изменения в структуре основы (чередования, движение ударения, суффиктивизм и т. д.), которые никак не могут быть отражены в образце, представляющем только КМ.

Вслед за А. А. Зализняком существительные *singularia tantum* «признаются имеющими оба числа; мн. число носит здесь потенциальный характер: практически оно почти никогда не употребляется, но при необходимости может быть построено и будет правильно понято» [3, с. 5].

Имена существительные составляют три группы: мужское склонение (79 образцов, 165 индексов), женское склонение (68 образцов, 179 индексов) и среднее склонение (48 образцов, 86 индексов). В свою очередь, в каждой из этих групп существительные распределяются в зависимости от дистрибуции вин. падежа. Так, в мужском склонении выделяются подразделы «ед. В = И — мн. В = И»: *завод* (40 образцов, 83 индекса), «ед. В = Р — мн. В = Р»: *артист* (39 образцов, 82 индекса); в женском — «ед. В — мн. В = И»: *береза* (31 образцов, 105 индексов), «ед. В = И — мн. В = И»: *тетрадь* (10 образцов, 19 индексов), «ед. В — мн. В = Р»: *акула* (22 образца, 49 индексов), «ед. В = И — мн. В = Р»: *лань* (5 образцов, 7 индексов); в среднем — «ед. В = И — мн. В = И»: *болото* (37 образцов, 75 индексов), «ед. В — мн. В = Р»: *волчище* (1 образец, 1 индекс), «ед. В = И — мн. В = Р»: *чудовище*, а также *волчище* (4 образца, 4 индекса), «ед. В = Р — мн. В = Р»: *подмастерье* (7 образцов, 7 индексов).

Дадим представление об этом разделе ПА одним образцом и его ДП. Здесь, как и во всем ПА, в индексе при его расшифровке на месте черточек будет то, что дается в образце (см. с. 76).

Как известно, формы род. падежа типа *вѣтр-у* (при обычном *вѣтр-а*) и предл. падежа на *вѣтр-ѹ* (при обычном о *вѣтр-е*) и *в кров-ѹ* (при обычном

	Ед	Мн
И	∅	ь
Р	á	ов
Д	ý	ам
В=И	∅	ь
Т	ом	ами
П	é	ах

31. топбр- 33. ýгол- 35. хребёт-
 топор- угл- хребт-
 32. бугбр- 34. котёл- 36. гнил/ёц-
 бугр- котл- гниль/ц-

о *крóв-и*) не могут быть отражены в нормальных парадигмах, однако не давать их в парадигматическом словаре было нельзя. Поэтому после 40 образцов подраздела «ед. В = И — мн. В = И» мы даем Приложение (П), в котором учтены все возможные случаи этих форм, обозначаемых в грамматической литературе как Р2 и П2. В частности, в нем даны формы Р2 на *-у, -ý, -ю, -ю* (*вóздух-у, балык-ý, грави-ю, кисел-ю*) при отсутствии форм П2; формы П2 на *-ý, -ю* (*в сад-ý, на корн-ю*) при отсутствии форм Р2; форма П2 на *-и* (*в тен-и*), наконец, форма Р2 на *-ý* при наличии формы П2 на *-ý* (*льд-ý, на льд-ý*) и форма Р2 на *-ю* при наличии формы П2 на *-ю* (*ча-ю, в ча-ю*). Все эти формы имеют каждая свой номер (их 33), который в виде П1, П2 и т. д. дается в Словаре вместе с индексом основной парадигмы. Так, слово *дым*, относящееся к 23-му образцу, имеет индекс 57, за которым следует П25. Это значит, что слово это в род. пад. наряду с основным окончанием *-а* (*дым-а*) имеет окончание *-у* (*дым-у*), а в предл. пад. наряду с *-е* (*о дым-е*) — *-ý* (*в дым-ý*); слово *забыть-ё*, относящееся к 179-му образцу, наряду с индексом 412 имеет П22, т. е. в предл. пад. *-é* (*о забыть-é*) и *-и-* (*в забыть-и*).

• Презентация имен прилагательных: Здесь 11 частей — по числу таблиц склонения прилагательных в зависимости от структуры основы и места ударения. Раздел этот отражает полные формы (пф), краткие формы (кф), сравнительную степень (сравн.), превосходную степень прилагательных, а также существительные и наиболее распространенные топонимы и антропонимы, склоняющиеся по типу прилагательных.

Вслед за А. А. Зализняком все прилагательные, за известным исключением, признаются имеющими кф. «Правда, у значительной части этих прилагательных краткие формы практически почти никогда не употребляются; ср., например, *пограничный, оловянный, сосновый*. Однако эти краткие формы потенциально существуют (подобно мн. числу существительных *singularia tantum*): любое из таких прилагательных может приобрести в соответствующем контексте „качественный“ оттенок, и тогда краткие формы оказываются вполне естественными» [3, с. 6]. В отличие от кф,

сравн. степень не считается частью парадигмы, но входит в образец «...в качестве добавочной информации, выходящей за рамки словоизменения» [З, с. 6]. Превосходная степень в качестве образца имеет соответствующий суффикс и общее указание на то, что эта форма изменяется по 4-й таблице, отражающей безударные окончания пф прилагательных на *ж, ч, ш, щ*. Формы превосходной степени даются в конце каждой части, возглавляемой таблицей, за исключением 5-й (*куцый*), 8-й (*лисий*), 9-й (*сестрин*), 10-й (*отцов*) и 11-й (*господень*), вообще не имеющих степеней сравнения, за исключением прилагательного *куцый*, которое имеет сравн. степень. В разделе 137 образцов, реализованных в 229 индексах. В отличие от существительного, могущего в своей парадигме иметь одну определенную разновидность вин. падежа (или разные — в ед. и мн. ч.), КМ пф прилагательного отражает в с е разновидности этого падежа, что и обеспечивает безошибочное отнесение данной формы прилагательного именно к данной, а не к другой форме существительного. Представление об этом разделе даем 1-й таблицей, отражающей безударные окончания пф прилагательных с твердой основой и двумя образцами с их ДП:

Таблица 1

	М	С	Ж	Мн
И	<i>ый</i>	<i>ое</i>	<i>ая</i>	<i>ые</i>
Р	<i>ого</i>		<i>ой</i>	<i>ых</i>
Д	<i>ому</i>		<i>ой</i>	<i>ым</i>
В			<i>ую</i>	
В=И	<i>ый</i>	<i>ое</i>		<i>ые</i>
В=Р	<i>ого</i>			<i>ых</i>
Т	<i>ым</i>		<i>ой</i>	<i>ыми</i>
П	<i>ом</i>		<i>ой</i>	<i>ых</i>

208-й образец

	пф	кф
М	<i>ый</i>	<i>ѳ</i>
Ж	<i>ая</i>	<i>ѧ</i>
С	<i>ое</i>	<i>Ѳ</i>
Мн	<i>ые</i>	<i>ѳ</i>
		<i>ѧ</i>
сравн.	<i>ѧѧ</i>	

463. *мил-**мил-*464. *блѣдн-**блѣдн-*кф м *блѣден-*465. *рѡвн-**рѡвн-*кф м *рѡв/ен-*и *рѡв/ѣн-*466. *холодн-**холодн-*кф м *холод/ен-*467. *вѡльн-**вѡльн-*кф м *вѡл/ен-*468. *сильн-**сильн-*кф м *сил/ен-*и *сил/ѣн*

Презентация имен числительных. Этот раздел представлен в 24 образцах, реализованных в 29 индексах, причем последние 4 образца с 4 индексами отражают существительные числительного склонения. В числительных на *-наццать* и *-дцать* эти элементы признаются суффиксами. В образцах числительных так называемого двойного склонения отражены обе КМ. Покажем это на примере числительного *триста*:

346-й образец

И	<i>ў/а</i>
Р	<i>ѣх/ѡ</i>
Д	<i>ѣм/ам</i>
В=И	<i>ў/а</i>
В=Р	<i>ѣх/ѡ</i>
Т	<i>емя/ами</i>
П	<i>ѣх/ах</i>

677. *тр-/ст-*Р, В=Р *тр-/сѡт-*

Презентация местоимений. Здесь 53 образца, реализованных в 57 индексах, из коих 17 образцов с 21 индексом — собственно местоимения, а 36 образцов и столько же индексов — существительные местоименного склонения. Покажем один образец с его ДП:

361-й образец

И	<i>ѡ</i>
Р	<i>егѡ</i>
Д	<i>ему</i>
В=И	<i>ѡ</i>
Т	<i>ѣм</i>
П	<i>ѣм</i>

694. И, В=И *чит-* 695. И, В=И *ни/чит-*
ч- *ни/ч-*

с предлогом *три*
 слова: *ни у чего*
 и т. д.

Презентация глагола. Глагол представлен в 7 частях: 1. Формы наст. вр. (нсв) и буд. прост. (св); 2. Формы буд. сложн.; 3. Формы пов. накл.; 4. Формы прош. вр. (и сослаг. накл.); 5. Формы действ. прич. наст. и прош. вр., 6. Формы страд. прич. наст. и прош. вр. и 7. Формы дееприч. Формы всех этих 7 частей отражены в 71 образце и реализованы в 1 116 индексах. Как видим, даются не таблицы спряжения глаголов, а формы, «собрав» которые можно получить парадигму нужного глагола. Например, чтобы построить парадигму глагола *читать*, надо обратиться к индексам 850 (наст. вр., 413-й обр.), 1 073 (буд. сложн., 434-й обр.), 1 080 (пов. накл., 435-й обр.), 1 308 (прош. вр. и сослаг. накл., 441-й обр.), 1 437 (действ. прич. наст. вр., 453-й обр.), 1 479 (действ. прич. прош. вр., 459-й обр.), 1 530 (страд. прич. наст. вр., 461-й обр.), 1 564 (страд. прич. прош. вр., 465-й обр.), 1 747 (дееприч. наст. вр., 474-й обр.) и 1 805 (дееприч. прош. вр. на *-в*, *-вши*, 476-й обр.). Расшифровка этих индексов даст полную парадигму этого глагола, состоящую из 128 форм.

Индексам всех частей рассматриваемого раздела предшествует своеобразный «ключ», помогающий безошибочно выписать нужную форму. Суть этого «ключа» состоит в следующем. В индексе всех глагольных форм показатели инфинитива *-ть*, *-ти* и *-чь* отделены от остальной части черточкой. Эта часть до черточки и есть в нашем понимании ¹ основа инфинитива, и речь идет о финали, концовке этой основы. За формой инфинитива следует интересующая нас форма, основа которой далеко не всегда совпадает с основой инфинитива. Поэтому индексу предшествует «ключ»: финаль основы инфинитива с левой стороны тире, а с правой — финаль интересующей нас формы, к которой в индексе на месте черточки надо прибавить то, что дается в образце. Покажем это на примере одного из образцов и, выборочно, компонентов его ДП:

410-й образец

	Ед.	Мн
1	<i>у(сь)</i>	<i>ем(ся)</i>
2	<i>ешь(ся)</i>	<i>ете(сь)</i>
3	<i>ет(ся)</i>	<i>ут(ся)</i>

¹ Именно «в нашем понимании», ибо *-чь* принято считать «конечной фонемой корня» [4, с. 25]. Между тем *-чь* как показатель инфинитива равным счетом ничем не отличается от *-ть* и *-ти*, имеющих то же значение. А тот факт, что это — деформированный инфинитив, важен для исторической грамматики, так же как инфинитивы типа *мес-ти* и *вес-ти*, также подвергшиеся деформации, в отличие от *нес-ти*, где *с* — звук исконный.

гласн. — без этого

гласн.

746. нсв *жажд/а-ть*
жажд-

747. св *воз/жажд/а-ть*
воз/жажд-

748. св *вы/жд/а-ть*
вы/жд-

согл. — этот же согл.

756. нсв *лез-ть*
лез-

757. св *с/лез-ть*
с/лез-

758. св *вы/лез-ть*
вы/лез-

а — м

760. св *вы/жа-ть*
вы/жм-

а — н

761. св *вы/жа-ть*
вы/жн-

га — ж
763. нсв *дваг/а-ть*
дваж-

764. св *за/брызг/а-ть*
за/брызж-

е — з (1 ед, 3 мн), ж

767. св *вы/же-чь*
вы/жж-
вы/жжж-

é — яг (1 ед, 3 мн), яж

768. св *ле-чь*
ляг-
ляж-

с — б

781. св *вы/зрес-ти*
вы/зреб-

с — д

782. св *вы/крас-ть*
вы/крад-

са — ш

784. св *о/пояс/а-ть*
о/пояш-

ска — щ

786. нсв *рыск/а-ть*
рыщ-

787. св *об/рыск/а-ть*
об/рыщ-

788. св *вы/иск/а-ть*
вы/ищ-

Как видим, «ключ» этот не что иное, как своеобразное мнемоническое средство, имеющее то неоспоримое достоинство, что оно безошибочно «срабатывает» во всех без исключения случаях. В скобках заметим, что эффективность этого «ключа» убедила нас в правомерности тезиса об одноосновности русского глагола, т. е. в том, что все формы глагола образуются от основы инфинитива, подвергающегося тем или иным морфологическим преобразованиям.

Как только что было показано, в 1-й части рассматриваемого раздела ПА образец выражен КМ. Таких КМ 24, и реализованы они в 327 индексах. 2-я часть состоит из одного образца и одного индекса и отражает будущее сложное от глагола несоверш. вида В 3-й части образцы представляют собой показатели повел. накл. (в том числе *й*, *ь* и *ѳ*, хотя во всех этих случаях имеем нулевую флексию, если не учитывать мнения о том, что *й* есть «редуцированное» окончание *-и* повел. накл.). Таких показателей 6, и реализованы они в 230 индексах. Покажем некоторые образцы с их индексами выборочно:

435-й образец

Ед	<i>й(ся)</i>
Мн	<i>й/те(сь)</i>

436-й образец

Ед	<i>ь(ся)</i>
Мн	<i>ь/те(сь)</i>

440-й образец

Ед	<i>й(сь)</i>
Мн	<i>й/те(сь)</i>

евá — ý

1092. нсв *ноч/ев/á-ть*
ноч/ý-

1093. св *за/ноч/ев/á-ть*
за/ноч/ý-

бы — ýд

1143. нсв *бы-ть*
бýд-

1144. св *по/бы-ть*
по/бýд-

ерé — р

1236. нсв *тер/é-ть*
тр-

1237. св *на/тер/é-ть*
на/тр-

1238. св *с/тер/é-ть*
со/тр-

ы — о

438-й образец

1113. нсв *мы-ть*

мы-

1114. св *по/мы-ть*

по/мы-

Ед	<i>и(сь)</i>
Мн	<i>и/те(сь)</i>

ла — ел

1180. св *вы/стл/а-ть*

вы/стел-

В 4-й части образцами служат суф.-л (при его возможном отсутствии в м.р.) и окончания всех трех родов (при отсутствии окончания в м.р.) и мн. ч. В этой части 10 образцов, реализованных в 87 индексах, например:

441-й образец

М	<i>л-ѳ(ся)</i>
Ж	<i>л-а(сь)</i>
С	<i>л-о(сь)</i>
Мн	<i>л-и(сь)</i>

ес — е(м), без ес

1314. св *вы/чес-ть*
вы/че-
вы/ч-

442-й образец

М	<i>ѳ(ся)</i>
Ж	<i>л-а(сь)</i>
С	<i>л-о(сь)</i>
Мн	<i>л-и(сь)</i>

ас — ос

1330. св *вы/рас-ти*
вы/рос-

446-й образец

М	<i>л-ѳ(ся)</i>
Ж	<i>л-а́(сь)</i>
С	<i>л-о́(сь)</i>
Мн	<i>л-и́(сь)</i>

й — шѳ(м), ш

1361. св *на/й-ти́*
на/шѳ-
на/ш-

5-ю часть возглавляет таблица окончаний причастий настоящего и прошедшего времени, а образцы отражают суффиксы и окончания причастия. Действ. прич. наст. вр. даны в 8 образцах, реализованных в 84 индексах, а прош. вр. — в 2 образцах, реализованных в 52 индексах. Покажем эту часть таблицей и двумя образцами с их индексами выборочно:

Таблица 30

	М	С	Ж	Мн
И	<i>ий(ся)</i>	<i>ее(ся)</i>	<i>ая(ся)</i>	<i>ие(ся)</i>
Р	<i>его(ся)</i>		<i>ой(ся)</i>	<i>их(ся)</i>
Д	<i>ему(ся)</i>		<i>ой(ся)</i>	<i>им(ся)</i>
В			<i>ую(ся)</i>	
В=И	<i>ий(ся)</i>	<i>ее(ся)</i>		<i>ие(ся)</i>
В=Р	<i>его(ся)</i>			<i>их(ся)</i>
Т	<i>им(ся)</i>		<i>ой(ся)</i>	<i>ими(ся)</i>
П	<i>ем(ся)</i>		<i>ой(ся)</i>	<i>их(ся)</i>

453-й образец

	ющ
М	ий(ся)
Ж	ая(ся)
С	ее(ся)
Мн	ие(ся)

гласн. под уд. — л
1438. нсв колеб/á-ть
колебл-

460-й образец

	ш
М	ий(ся)
Ж	ая(ся)
С	ее(ся)
Мн	ие(ся)

й — шёд
1512. св на/й-тй
на/шёд-

Такова же структура и 6-й части, с той, однако, разницей, что в образцах, кроме суффикса страд. прич. (возглавляющего образец), и пф причастия, дана еще и кф причастия. Страд. прич. наст. вр. представлены 4 образцами и 32 индексами, а прош. вр. — 6 образцами и 151 индексом. Пф страд. прич. склоняются так же, как пф прилагательных с твердой основой (см. выше). Приведем два образца с их индексами выборочно:

461-й образец

	ем	
	пф	кф
М	ый	ѳ
Ж	ая	а
С	ое	о
Мн	ые	ы

оѳа — ѳ
1541. нсв рис/ов/á-ть
рис/ѳ-

469-й образец

	пф	кф	
	ѳнн	ѳн	ен
М	ый	ѳ	
Ж	ая		а
С	ое		о
Мн	ые		ы

тѳй — ѳвл
1680. св у/мертѳ/й-ть
у/мерѳвл-

Наконец, в 7-й части образец представлен суффиксом деепричастия. Их здесь 8, и реализованы они в 152 индексах. Покажем это на примере некоторых образцов и компонентов их ДП выборочно:

472-й образец

а(сь)

ѳ — ѳ
1715. нсв леж/á-ть
лѳж-

474-й образец

я(сь)

и — а
1758. нсв мѳч/и-ть
мѳч/а-

477-й образец

ши(сь)

е — ѳ
1827. нсв нес-тй
нѳс-

473-й образец

á(сь)

475-й образец

á(сь)

1828. св у/нес-тй
у/нѳс-

а (суф. инфинитива) — *й — ъ*
 а (суф. деепртч.) 1786. св *при/й-ти*
 1723. нсв *крич/а-ть* *при/ѡ-*
крич-
 1724. св *про/ворч/а-ть*
про/ворч-

478-й образец

ий(сь)

гласн. под уд. — без
 этого гласн.
 1854. св *о/пер/ѣ-ть/ся*
о/пер-

Такова структура ПА. И если в первых 4 разделах вполне достаточно одного индекса для построения парадигмы, то для построения глагольной парадигмы требуется несколько индексов, количество которых зависит от вида и переходности/непереходности глагола. А это значит, во-первых, что каждый раз в Словаре пришлось бы давать целый ряд индексов, а во-вторых, один и тот же набор индексов повторялся бы по многу раз ввиду идентичности спряжения глаголов. Поэтому мы составили Список глагольных парадигм (ГП), каждая из которых имеет свой порядковый номер (ГП1, ГП2, ГП3 и т. д.). Стало быть, в Словаре глагол имеет не индексы форм, а номер ГП, объединяющей индексы, по которым надо строить парадигму. Во всех случаях глагольную парадигму возглавляет КМ личной формы глагола. Так мы имеем парадигмы 410-го образца, 411-го образца и т. д. Количество парадигм, как правило, превосходит количество индексов данного образца. Так, например, ДП 410-го образца составляют 58 индексов, а на базе этого образца имеем 96 парадигм (ни здесь, ни далее не считая глаголов с постфиксом *-ся*, которые значатся под номером с глаголом без *-ся* с указанием, где это надо, на отсутствие у глагола с *-ся* форм страд. причастий). ДП 411-го образца составляет 30 индексов, а количество парадигм — 56. ДП 412-го образца — 4 индекса и столько же парадигм². ДП 413-го образца имеет 50 индексов, количество парадигм — 86 и т. д. Список ГП, который уточняется, является органической частью ПА.

ПА, как и весь Словарь, сознательно ориентирован на графический облик словоформы. Тем не менее мы все же постарались дать знать, что в ряде случаев *ь* является, так сказать, графическим репрезентантом фонемы *j*. Так, в словах типа *семь-я ь* отделяется косой чертой (/), а в род. мн. имеем *ѡ*, и дается форма этого падежа *сем/ѣй*. Становится ясно, что здесь *-ѣй* — финаль основы, в отличие, скажем, от *мор-ѣй*, где *ѣй* — окончание род. мн. Слово *собрать* во мн. ч. имеет основу на *ь*, который мы не отделяем косой чертой, если оно относится к 45-у образцу, где род. мн. имеет окончание *-ев*: *собрать-ев*, но отделяем, если оно относится к 46-у образцу, где род. мн. имеет нулевое окончание, а *ь* «замещается» финалью основы *-ий*: *собрать/ий*.

Для предлагаемого Словаря, долженствующего дать однозначный ответ буквально на каждый вопрос, серьезные трудности создают разногласия по важнейшим вопросам состава слова, слово- и формообразования. Особенно острой представляется проблема интерфикса. Термин этот, предложенный А. М. Сухотиным, «страдает одним существенным недостатком. Он стоит в одном ряду с терминами, называющими значениями части слова — морфемы: *суффикс*, *префикс*, *аффикс* и т. п., тогда как интерфикс *не относится к числу морфем, является незначимым*» [5].

² Здесь представлены всего два глагола — *ждать* и *стонать* с формами *жд-да-ю*, *жд-жд-ешь...* *стон-ю*, *стбн-ешь...*, в отличие от 410-го образца, по которому имеем *жд-жд-у*, *жд-жд-ешь*, и 411-го образца, по которому имеем *стон-й*, *стбн-ешь...*

А. Н. Тихонов также считает, что интерфиксы «не обладают существенным признаком морфемы — не имеют значения. Поэтому они не являются морфемами. В составе слова они выполняют строевую роль, используются как соединительные элементы между его частями. Отсюда их общее название — и н т е р ф и к с ы» [4, с. 23]. По его исчерпывающему, на наш взгляд, определению, интерфиксы — это «морфонологические средства, которые облегчают условия сочетаемости словообразующих аффиксов с производящими основами и тем самым способствуют расширению словообразовательной базы русского языка, вовлекая в процесс словопроизводства слова, основы которых имеют в исходе сочетания фонем, затрудняющие присоединение суффиксов или сильно ограничивающих их сочетательные возможности» [4, с. 23].

В. В. Лопатин соглашается с тем, что «не все вычленяемые в структуре слова отрезки являются самостоятельными морфемами» [6, с. 41]. Ему «представляется наиболее целесообразным рассматривать сегменты словоформ, интерпретируемые в ряде работ как незначимые межморфемные „прокладки“ — интерфиксы (кроме интерфиксов сложных слов...) в качестве частей морфов» [6, с. 46].

Грамматика-80 (авторы соответствующего раздела В. В. Лопатин и И. С. Улуханов) признает аффиксальными, соединительными морфемами только те интерфиксы, которые выступают «в составе сложной основы» [7]. Все остальные интерфиксы Грамматика-80 (как и другие грамматики) объединяет прежде всего с суффиксальным морфом.

Вычленение интерфикса типа соединительных гласных *о*, *е* в словоформах со сложной основой не вызывает никаких споров, кроме того, признавать их морфами или нет. Труднее (и сложнее!) показать, что интерфиксы в словоформах с несложной основой вычленяются, но не являются морфами, что, скажем, в словоформах *ленинградский*, *ялтинский*, *орловский*, *африканский* (примеры Е. А. Земской) имеем не 5 разных суффиксов, а 1 суффикс, который в 4 словоформах присоединяется к корневому морфу при помощи интерфиксов *-ин-*, *-ов-*, *-й-*, *-ан-*.

Если признать интерфикс частью морфа в словах с несложной основой, то можем получить либо довольно странный вид корня (*арго*-изм, *конголез-ец*), либо такой же вид суффикса (*арго-тизм*, *конголезец*), либо, наконец, признать множество суффиксов при наличии фактически одного суффикса (см. выше).

Для нас несомненной является необходимость вычленения интерфикса, только вопрос в том, как это сделать. Если интерфикс выделить косой чертой или черточкой (*арго/т/изм*, *конго/лез/ец*; *арго-т-изм*, *конго-лез-ец*), то он может быть принят за суффикс, не будучи им. Неудачным представляется выделение интерфикса и круглыми скобками — *арго(т)изм*, *конго(лез)ец* — ввиду его резкого характера, создающего впечатление, будто этот чрезвычайно важный для структуры словоформы сегмент есть нечто второстепенное и постороннее в ее составе. Мы этот вопрос решили в пользу звездочки: *арго/т*/изм*, *конго/лез*/ец*. Так же и в отношении основообразующих интерфиксов: *жи/в*/уч/-ий*, *доч/ер*/н-ий*, *знам/ен*-и* и т. д. Впрочем, этот интерфикс можно передать и другим шрифтом: *живуч-ий*, *дочерн-ий*, *словесн-ий*, *знамен-и* и т. д. Логично распространить сказанное и на тематические гласные в личных формах глагола: *пйиш/е*-шь*, *нес-/ѣ*-шь*, *нбс/и*-шь*, *гроз/й*-шь* (ср.: *да-шь*, *е-шь*), которые вместе с соединительными гласными *о*, *е*, а также с гласными конца основы инфинитива *писать*, *лететь* еще Г. О. Винокур предлагал называть ф о р м а т и в а м и, служащими «...для придания основе того вида, который

нужен ей для того, чтобы к ней могло быть присоединено окончание...» [2, с. 403]. Однако тематические гласные слишком прочно заняли место в составе личных окончаний, чтобы посягать на их статус.

Очевидно, что выделение интерфиксов (и вообще морфов) не рассчитано на массового читателя, который, не будучи искусен в анализе морфной структуры словоформы, не сможет определить функцию интерфиксов в словоформах типа *небе/ес*/н-ый*, *мат/ер*/ин*/ск-ий*. Да и в случаях типа *цар/ев*/ич* и *цар/ев*/н-а*, довольно просто осмыслить эти интерфиксы в отрыве от суф. *-ич*, *-н-* без учёта таких форм, как *княж/ич* и *княж/н-а*. И все же принятый в Словаре принцип вычленения интерфиксов (как и другие аспекты Словаря) находит свое оправдание в том, что Словарь является обучающим не только для широкого читателя, но и для студентов филологических факультетов, окончивших школу на родном языке и готовящихся стать специалистами русского языка.

Будучи парадигматическим, наш Словарь вместе с тем показывает с о с т а в словоформы и тем самым берет на себя функцию и морфемного словаря. Задача эта оказалась довольно трудной ввиду разного подхода к членению словоформы в таких источниках, как словари З. А. Потихи [8], А. И. Кузнецовой и Т. Ф. Ефремовой [9] и А. Н. Тихонова [4]. Например, слова *печалить*, *печаль*, *печёнка*, *печень*, *печенье* З. А. Потиха членит так: *печáл/и/ть*, *печáль* (т. е. производная основа), *печён/к-а*, *пéчень* (т. е. производная основа), *печ/ён/ь/е*; А. И. Кузнецова и Т. Ф. Ефремова во всех этих словах выделяют корневой морф *печ:* *печ-áл-и-ть*, *печ-áл-ь*, *печ-ён-к-а*, *пéч-ен-ь*, *печ-ён-ье*. У А. Н. Тихонова, словарь которого отражает словообразовательную структуру слова, эти слова даны в трех разных гнездах: 1. *печáль* (т. е. производная основа), *печáл-и-ть*; 2. *пéчень* (т. е. производная основа), *печён-к(а)* и 3. *печь* (инф.), *печ-ён' / (е)* [печенье]. Для А. И. Кузнецовой и Т. Ф. Ефремовой, дающих морфему в ее, так сказать, „чистом“ виде, несущественно явление опрбщения, в частности, дестимологизации, явившейся одной из причин этого процесса. Так, в словах типа *мешок* и *песец* они выделяют корневые и суффиксальные морфы (*меш-ок-ь*, *пес-ец-ь*), а в словах типа *завод* — префиксальный морф (*за-вод-ь*), тогда как З. А. Потиха во всех этих случаях видит корневой морф (*мешок*, *песец*, *завод*), указывая в скобках: «историч. меш/ок, от мех», «историч. пес/ец, от пёс» или отличая «за/вод (срв. заводить)» от «завод (предприятие)». Практическим целям нашего Словаря более отвечает позиция З. А. Потихи. Мы уверены, что не следует членить на морфы (кроме флексии) слова типа *бородка-а*, *волосок*, *ножк-а*, *ручк-а*, если это бородака ключа, волосок в часовом механизме, ножка стола, дверная ручка (или письменная принадлежность), ибо ключ не имеет бороды, часы — волоса, стол — ноги, дверь (или письменная принадлежность) — руки подобные слова являются п е п р о и з в о д н ы м и, сами становясь основой для суффиксального распространения: *бородоч-к-а*, *волосоч-ек*, *ножеч-к-а*, *ручеч-к-а*, семантически существенно отличающиеся от форм *бород-оч-к-а*, *волос-оч-ек*, *нож-еч-к-а*, *руч-еч-к-а* и являющиеся деминутивами к формам с утраченной уменьшительностью, тогда как *бород-к-а*, *волос-ок*, *нож-к-а*, *руч-к-а* — типичные дериваты с деминутивным суффиксом *-к-*, образующим их от производной основы.

Нашим Словарем нет смысла пользоваться без бумаги и карандаша в руках. Каждый раз, расписывая индекс, читатель (между прочим, не только нерусский) должен строить конкретную парадигму, не ошибаясь ни в одном из указанных в начале статьи отношений, за исключением, разумеется, произношения, чему данный Словарь не обучает.

Постоянное «общение» с Словарем, во-первых, учит строить парадигму, а во-вторых, что важнее всего, вырабатывает определенные навыки, превращает интуицию в знания, следствием чего может стать то, что со временем склонение и спряжение будут осуществляться и без помощи Словаря. Вот почему мы называем предлагаемый Словарь о б у ч а ю щ и м и считаем, что он может быть полезен для носителя л ю б о г о языка, ибо главное в нем — безотказная работа ПА.

Наш Словарь не мог бы быть осуществлен прежде всего без «Грамматического словаря русского языка» А. А. Зализняка [3]. Кроме того, нами была использована обширная справочная литература (словообразовательные, орфографический, толковые, этимологические словари, словари ударений, произношения, морфем, курсы грамматик, особенно же — академических, работы по акцентологии и словоизменению русского языка). Однако по своей структуре и презентации материала он стоит особняком и являет собой опыт описанного выше обучающего парадигматического словаря русского языка для нерусских.

Парадигматический словарь уже грамматического, ибо последний включает в себя и несклоняемо-неспрягаемые слова, которым нет места в парадигматическом словаре, если под парадигмой понимать обязательное наличие КМ. Что касается так называемой нулевой парадигмы, то она актуальна только на синтаксическом, но никак не на морфологическом уровне, ибо грамматики, признающие нулевую парадигму (следовательно, нулевую КМ), эти же слова при собственно морфологической характеристике относят к словам неизменяемым, лишенным флективной гибкости, а основу парадигматического словаря составляет именно флективная гибкость, парадигма, выраженная не нулевой, а материально выраженной КМ.

ЛИТЕРАТУРА

1. Чантуришвили Д. С. Система падежей, доминанция падежных систем и дистрибуция винительного падежа в русском языке (с типологическими экскурсами в грузинский язык) // ВЯ. 1982. № 1.
2. Винокур Г. О. Избранные работы по русскому языку. М., 1959.
3. Зализняк А. А. Грамматический словарь русского языка. Словоизменение. М., 1977.
4. Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка. Т. I. М., 1985.
5. Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование. М., 1973. С. 114.
6. Лопатин В. В. Русская словообразовательная морфемика. М., 1977.
7. Русская грамматика. Т. I. М., 1980. С. 124—125.
8. Потиха Э. А. Школьный словообразовательный словарь. М., 1964.
9. Кузнецова А. И., Ефремова Т. Ф. Словарь морфем русского языка. М., 1986.

ОЗЕРОВА Н. Г.

**МНОГОЗНАЧНОСТЬ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО
И ЕГО ГРАММАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

В слове как основной единице языка сосредоточены и лексическое и грамматическое значения, причем в языке строго фиксировано сочетание определенных элементов грамматического значения с определенными типами лексического значения, что находит выражение в принадлежности морфологических категорий четко выделяемым классам слов с обобщенным лексическим значением предмета, признака, действия и т. п. Качественное значение прилагательного, предметное значение существительного, процессное значение глагола находятся в определенной связи с морфологической характеристикой соответствующих частей речи [1].

Присущие той или иной части речи морфологические категории, эксплицитно или имплицитно выраженные в словоформах данных лексем, находятся в различных соотношениях с лексико-грамматическими разрядами слов в пределах одной части речи. Эти соотношения зависят от семантической структуры морфологической категории, ее системной организации, особенностей функционального употребления форм категории, «степени охвата теми или иными грамматическими формами лексического состава данной части речи» [2]. Элементы лексического и грамматического значений в слове составляют его семантическую структуру, в которой они сложно и многоаспектно взаимодействуют, и порой трудно определить характер зависимости лексической и грамматической сем [3], их взаимообусловленности.

Взаимодействие лексического и грамматического значений, формальное их выражение зависят от степени абстракции составляющих их сем, от структуры представленных в слове грамматических категорий, от семантического потенциала грамматической формы [4].

Морфологическая категория числа существительных, обязательная для каждого субстантива, в современном русском языке характеризуется бинарной оппозицией единственного и множественного числа. Формы ед. и мн. числа, имея обобщенное значение количественной семантики, конкретизируют его, выражая исчисляемость/неисчисляемость обозначенных существительными предметов. В этом отражается связь морфологической категории числа с логико-понятийной категорией количества.

Количественная семантика своеобразно выражается в различных лексико-грамматических рядах существительных. В существительных отвлеченных, вещественных, собирательных значение количества передается не грамматической семой числа, а лексически, при помощи другого слова, в семантической структуре которого есть сема «количество», например: *много, мало, максимум, минимум*, или названиями точных единиц измерения. На внелексемное выражение грамматической семы в отдельных языках указывал еще в XIX в. А. А. Потебня: «Есть языки., в коих категория множествен. числа выражается словами „много“, „все“...» [5].

Коррелирующие формы ед. и мн. числа образуются, как правило, от существительных, обозначений исчисляемых понятий. В этом проявляется своеобразная кооперация, согласование лексической и грамматической сем [6, с. 303].

Морфологическая категория числа своеобразно взаимодействует с традиционно выделяемыми лексико-грамматическими разрядами существительных, которые объединяют более мелкие семантические группировки, включающие ограниченное количество лексических единиц. Число имен существительных относится к тем морфологическим категориям, которые наиболее тесно связаны с лексикой, с лексической природой слова. Это касается как возможности образования словоформ ед. и мн. числа от существительных, принадлежащих к различным лексико-грамматическим разрядам, так и процесса лексикализации определенных форм, характера участия категории числа в развитии семантической структуры субстантивов, реализации их семантических потенций [7].

Отвлеченные имена существительные, называющие свойства, качества предметов, абстрактные понятия, в большинстве своем выступают как субстантивы с дефектной числовой парадигмой, слова *singularia tantum*. Однако это общепринятое мнение корректно только для однозначных абстрактных имен. Анализ системы лексических значений полисемичных субстантивов обнаруживает, что многие существительные имеют соотносительные формы числа только для части значений [8].

Влияние межуровневого взаимодействия наблюдается в расширении семантического объема абстрактных имен существительных, относимых ранее к однозначным словам *singularia tantum*, в превращении их в полисемичные существительные, в части значений имеющие коррелятивные формы ед. и мн. числа. Обозначая в форме ед. числа какое-то отвлеченное качество, в форме мн. числа такое имя развивает новую семантику конкретного проявления этого качества.

В процессе семантического развития слова обычно на базе конкретного значения развивается абстрактное, однако в лингвистической литературе отмечается и противоположная тенденция в реализации семантического потенциала слова: конкретные значения развиваются на базе абстрактных, выступающих в данном случае в качестве исходных [9]. Эти семантические процессы самым непосредственным образом оказываются связанными с изменениями в грамматической характеристике возникших лексико-семантических вариантов многозначных слов.

Противопоставленность существительных по семантическому признаку абстрактность — конкретность не находит выражений в каких-то формальных показателях, как, например, оппозиция имен по признаку одушевленности — неодушевленности, имеющая морфологическое выражение в парадигме мн. числа и частичное в парадигме ед. числа. Однако анализ межпарадигматических связей между формами ед. и мн. числа показывает зависимость их существования от характера лексического значения существительного.

Абстрактные существительные, включаясь в общий процесс семантического развития лексики, могут стать носителями большего количества сем. Развивая новые значения, подобные субстантивы через возникшие лексико-семантические варианты связываются с категорией счетности и переходят из разряда слов с потенциально полной числовой парадигмой в разряд существительных с реально полной парадигмой.

Этому способствует также и возможность сочетания таких лексем с числительными, передачи ими чисто количественных отношений. Напри-

мер, существительное *емкость* в значении «способность вместить в себя определенное количество чего-л.; вместимость» не обладает парадигмой мн. числа. Сочетаясь с количественным числительным, оно приобретает значение «сосуд для хранения чего-л.». В этом значении лексема *емкость* характеризуется наличием числовой корреляции ед. число — мн. число, например: У пирса сливал нефтепродукты в береговую емкость крупный танкер (Изв. 1985. 8 июля) — Для транспортировки теперь будут использоваться две шарообразные *емкости* (Изв. 1982. 28 мая).

Абстрактные существительные с общим значением «признак, проявляющийся в различной степени и поддающийся измерению» (*влажность, жирность, рентабельность, скорость*) могут сочетаться с порядковыми числительными и качественными прилагательными, в семантике которых наличествует сема «количество», например: *высокая влажность, первая скорость, вторая скорость*. Это приводит к тому, что такие субстантивы для передачи количественных отношений используют формы мн. числа, например, в языке средств массовой коммуникации частотны словосочетания: пропорционально достигнутым *скоростям*, обрабатывать на больших *скоростях*, знаки ограничения *скоростей*, вода с небольшими *скоростями* течений и т. п. В некоторых случаях словоформы мн. числа характеризуются узкоспециальным употреблением, например, *неоднородности, регулярности, точности, целостности* и т. п.: Он провел в Крыму часть исследовательских работ по выявлению геологических *неоднородностей* радиоволновым методом (Сов. Крым. 1982. 3 июня); Структурные *регулярности* несомненно облегчают коммуникацию (ФН. 1984. № 4).

Полисемичное существительное с первичным абстрактным значением «свойство чего-либо» имеет асимметричные формы ед. числа, выступая в этом значении субстантивом *singularia tantum*: *гладкость* — «свойство по знач. прилаг. гладкий», *глупость* — «свойство по знач. прилаг. глупый», *грубость* «свойство по знач. прилаг. грубый», *жестокость* «свойство по знач. прилаг. жестокий», *жухлость* «свойство жухлого», *откровенность* «свойство откровенного», *тонкость* «свойство, качество тонкого» и т. п.

Развивая конкретное значение «проявление какого-либо качества», они продолжают оставаться словами с асимметричной парадигмой, только иного характера. В новых лексико-семантических вариантах, манифестирующих конкретную семему, они становятся существительными *pluralia tantum*: *возможности* «внутренние силы, ресурсы, способности» (Порыв, открывший в человеческой душе непредугаданные *возможности*. — Правда. 1982. 10 июня); *гладкости* «гладкие места» (На том *гладкости* кончаются, начинается сплошная шероховатость. — Правда. 1984. 7 авг.); *жестокости* «жестokie поступки» (Эти *жестокости* могут сравниться лишь с варварством гитлеровских вандалов. — Правда. 1982. 23 июня); *тонкости* «подробности, детали» (Закаляется экипаж, постигает *тонкости* морского военного дела. Его надо было освоить, отработать до *тонкостей*. — Изв. 1984. 29 авг.).

Данные лексико-семантические варианты полисемичного существительного характеризуются асимметрией числовых парадигм, не вступающих в оппозицию единичность — множественность. Несовпадение характера числовых парадигм в словоформах сигнализирует об их семантических различиях, о том, что такие словоформы выступают обозначениями различных денотатов. Процесс этот живой, развивающийся, охватывающий значительное количество абстрактных слов, конкретные семемы которых не зафиксированы в словарях. Например, лексема *красивость* в [10, т. 5] толкуется как однозначное абстрактное существительное *singu-*

laria tantum со значением «свойство красивого (обычно о внешней красоте)». В конкретном значении «красивые места в письменной речи» это слово употребляется как существительное *pluralia tantum* в языке современных писателей: Мы отвергаем за работой — не только я, не только ты — *красивости* или красоты для социальной простоты (Я. Смеляков. Михаилу Луконину); Не отсюда ли взялись в письме *красивости* и восклицательные знаки? (Н. Ильина. Дороги). Абстрактное существительное *абсурдность* имеет значение «свойство по знач. прилаг. абсурдный», в котором оно является словом *singularia tantum*. Конкретизируя свое значение, оно переходит в разряд имен *pluralia tantum*: Авось, все образуется, исчезнут все абсурдности (А. Вознесенский. Щенок по имени Авось). Ср. также *зависимости*: Мы увидели всю меру (безмерность) социальных *зависимостей* человека от человека (Лит. газета. 1982. 21 июля); *бездуховности* (Маленькие *бездуховности* сливаются в изменение качественное и становятся духовной катастрофой. — Изв. 1984. 27 мая); *несовместимости* (Оружие и музыка... Как можно трудиться деловито и тревожно среди *несовместимостей* таких. — Л. Вышеславский. Маршал и скрипка).

Значительную группу существительных первичной абстрактной семантики составляют слова, развившие конкретное значение «проявление какого-либо свойства». В этих лексико-семантических вариантах они обладают формами частных симметричных парадигм ед. и мн. числа, представляющих собой числовые корреляции. Например, существительное *несправедливость* имеет два значения: 1) «свойство несправедливого», в котором оно выступает как слово *singularia tantum*; 2) конкретное «несправедливый поступок», в этом значении данная лексема обладает парадигмами ед. и мн. числа, т. е. функционирует как нормальное существительное с семантикой конкретности: Без брани, но гораздо большее я накажу вас за вашу *несправедливость* (А. Островский. Поздняя любовь) — Сквозь обыденность, заземленность, через мелкие житейские *несправедливости*, наперекор ударам судьбы поднимается самосознание просветленной женской души (Изв. 1984. 29 сент.).

В ряду слов с аналогичной лексической и грамматической семантикой находятся существительные *идеальность*, *необходимость*, *необыкновенность*, *сложность*, *последовательность*, *реальность*, *неровность*, *трудность*, *нелюбовь*, *откровенность*, *очевидность*, *обусловленность* и т. п.

На базе абстрактного значения какого-нибудь существительного, обозначающего «свойство чего-либо», может развиваться еще одно конкретное значение «предмет, обладающий этим свойством». Это значение имеет большую степень конкретизации, чем семема «проявление какого-либо свойства», поэтому изменение количественной характеристики слова происходит без промежуточного этапа расчленения семантики слова на лексико-семантические варианты *singularia tantum* и *pluralia tantum*, передающих абстрактные и конкретные семемы. Такие слова получают непосредственную возможность функционировать в возникших лексико-семантических вариантах как существительные симметричных парадигм. Например, *ценность* со значением «стоимость чего-л., выраженная в деньгах» (*singularia tantum*) и «предмет, имеющий высокую стоимость» (с противопоставлением в словоизменении форм ед. и мн. числа): Менювая *ценность* продукта определяется издержками его производства (Н. Чернышевский. Капитал и труд) (*singularia tantum*) — Березники хотя и не сохранили вполне прежнего роскошного барского вида, но представляют *ценность* очень солидную (М. Салтыков-Щедрин. Благонамеренные речи); Трудовая практика школьника должна быть направлена на создание по-

лезных для общества *ценностей* (Изв. 1984. 22 фев.) Существительное *древность* в лексико-семантическом варианте «свойство по прилаг. древний» выступает как имя с дефектной числовой парадигмой: *древность* рода; в значении «памятник далекого прошлого» оно обладает формами ед. и мн. числа: Москва — сама историческая *древность* (В. Белинский) — Для изучения всей этой массы *древностей* необходимы были особые методы. Это в свою очередь позволило изучить *древности* не статично, а в процессе их развития (Изв. 1984. 4 июля).

Однако зависимость числовых корреляций существительного от его семантики не является односторонней, можно говорить о взаимозависимости лексической и грамматической семантики в категории числа, ибо грамматическая характеристика многозначного слова в одном из лексико-семантических вариантов распространяется на всю полисемантическую лексему, вызывая определенные изменения в качественной характеристике других семем. Например: баллон *емкостью* 5 литров — *емкости* для хранения зерна — нынче решено удвоить *емкости* помещений; *мощность* завода — наращивать *мощности* по выпуску тракторов — реконструкция завода с тем, чтобы удвоить его *мощности*. В 1-м и 3-м примерах существительные *емкость*, *мощность* представлены в обычной числовой оппозиции, ранее отсутствовавшей в абстрактных значениях «способность вместить в себя определенное количество чего-н.» и «способность производить что-л.»

По нашему мнению, рассматривать числовые корреляции *емкость* — *емкости*, *мощность* — *мощности* как деривационные неправомерно [11]. Словоформа мн. числа характерна как для лексико-семантических вариантов *емкость*, *мощность*, обозначающих конкретные предметы, так и для абстрактной семемы «качество какого-то неодушевленного предмета». Поэтому отношения между формами ед. и мн. числа в данном случае грамматические [12], аналогичные тем, которые существуют в корреляциях считаемых существительных *стол/стола*, *дом/дома*, *книга/книги*. Это ведет к выравниванию числовых корреляций всех лексико-семантических вариантов полисемичного существительного. Например, лексема *мощность* в значении «производственный объект (завод, машина, техническая установка)» в [10, т. 6]) характеризуется как существительное *pluralia tantum*, современное словоупотребление дает примеры функционирования этого слова с аналогичной семантикой и в форме ед. числа: На полгода раньше запланированного срока введена в строй действующих крупная *мощность* по выпуску апатито-нефелинового концентрата (Изв. 1984. 9 июля).

Двузначные существительные с первичной абстрактной семемой «свойство по знач. прилаг.» развивают значение «носитель признака», конкретизирующееся применительно к человеку. И этот лексико-семантический вариант характеризуется парадигмами ед. и мн. числа, в отличие от ЛСВ «свойство чего-либо», являющегося существительным *singularia tantum*, например: *заурядность* исполнения, *знаменитость* таланта, *известность* певца, *посредственность* романа и ср.: Сложения он весьма заурядного. А знаниями даже в *заурядности* не вышел (Изв. 1984. 16 сент.); Осторожней с *бездарностями* — особенно если в их глазах вы видите опасно энергичные искорки гигантомании (Е. Евтушенко. Фуку); Вокруг столько невероятно надутых пузырей, случайных *известностей* и неизвестных *знаменитостей*, что мое развенчание «нехорошим мнением» ничего не убавит (Ю. Бондарев. Игра); Легче жить с *посредственностями* (Ю. Бондарев. Игра). ЛСВ, обозначающие человека как носителя признака и имеющие

числовые корреляции ед. и мн. числа, квалифицируются словарями как разговорные, они широко употребительны в разговорной речи, в языке художественной литературы.

Абстрактные имена существительные, выражающие в формах мн. числа значение спредмеченного качества, свойства, построены по слововозвратительной модели «основа прилагательного + суф. *-ость, -есть*»: *возможности, мощности, реальности, скорости, емкости, вредности, сложности, древности*. Этот процесс расширения круга отвлеченных имен существительных, способных образовывать формы мн. числа, получил распространение еще в литературном языке XIX в. [13]. Квалифицируемые лингвистами 10—15 лет назад как «капризно-нерегулярные» [14], эти формы мн. числа в последнее время получили широкое распространение не только в профессиональной речи, но и в других функциональных стилях литературного языка, повлияв на аналогичное формообразование абстрактных существительных иных словообразовательных моделей.

При сопоставлении родовых и числовых характеристик существительного заметно специфичное отношение категорий рода и числа к лексической семантике многозначного субстантива. Категория рода однозначно характеризует все существительное в целом, независимо от количества и качества семем, например: *игра* «занятие с целью развлечения», *игра* перен. «преднамеренный ряд действий», *игра* «набор предметов, необходимых для той или иной игры», *игра* «сценическое исполнение роли», *игра* «исполнение музыкального произведения на одном или нескольких инструментах» и т. д. Во всех девяти значениях, выделяемых в лексической семантике этого слова, данное существительное женского рода. Словоизменительная релятивная категория числа, как видно из предыдущего изложения, избирательна к качественной характеристике семем: многозначный субстантив может быть в одних значениях словом *singularia tantum*, в других — *pluralia tantum*, в третьих — выступать в парадигмах ед. и мн. числа.

Грамматическая характеристика многозначного слова наглядно демонстрирует взаимодействие лексической и грамматической семантики в отдельной взятой лексеме. Лексическая семантика существительного определяет его отношение к морфологической категории числа, относящегося к основным грамматическим категориям существительного как части речи. Существительные собирательные, вещественные выступают субстантивами дефектной числовой парадигмы, так как обозначаемые ими денотаты представляют сплошную неделимую массу, характеризуются недискретной множественностью, цельностью, выводящей их за пределы категории счетности/несчетности предметов. Количественная характеристика их может быть дана вне присущих им словоформ, аналитически.

Абстрактное значение существительного также является причиной невозможности образования от него формы мн. числа, так как лексическая семантика препятствует проявлению в слове грамматической семы «неопределенная множественность», являющейся ведущей в грамматической семантике словоформы мн. числа.

Отмеченное В. В. Виноградовым «взаимодействие грамматических форм с лексическими» [15] в конструктивных формах существительных проявляется в том, что каждая грамматическая форма характеризуется набором определенных грамматических сем, которые актуализируются в отдельных лексико-грамматических разрядах и лексико-семантических группах субстантивов.

В грамматической семантике формы ед. числа выделяются семы единич-

ности, конкретности, определенности, целостности, однородности, собираемости, в формах мн. числа количественная сторона объекта характеризуется при помощи грамматических сем множественности, расчлененности, неопределенности, однородности, конкретности.

Взаимообусловленность грамматической и лексической семантики обнаруживается в сочетаемостных характеристиках грамматических сем, которые определяют возможность образования тех или иных грамматических форм от существительных различных лексических разрядов. Исследователями уже отмечалась совместимость/несовместимость лексических и грамматических сем внутри одной формы [6, с. 303].

Характерный для формы множественного числа существительных набор грамматических сем не может сочетаться с семой «отвлеченность», выступающей ведущей в лексической семантике абстрактных имен. Появление в семантической структуре этих существительных конкретизирующих лексических сем «отдельность совершения действия», «отдельное проявление признака», «отдельное проявление свойства» мотивирует сочетаемость их с грамматическими семами «множественность», «расчлененность», основными семами в форме множественного числа, реализует одно из лексических значений слова, которое вызывает изменения в грамматической характеристике нового лексико-семантического варианта.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Ивлева Г. Г.* Семантические особенности слов в немецком языке. М., 1978. С. 10.
2. *Нормативная грамматика русского языка для нерусских (Прспект).* М., 1984. С. 72.
3. *Русская грамматика.* Т. 1. Прага, 1979. С. 178.
4. *Теория грамматического значения и аспектологические исследования.* Л., 1984. С. 12.
5. *Потебня А. А.* Из записок по русской грамматике. Т. I—II. М., 1958. С. 38.
6. *Гулыга Е. В., Шендельс Е. И.* О компонентном анализе значимых единиц языка // Принципы и методы семантических исследований. М., 1976.
7. *Слово в грамматике и словаре.* М., 1984. С. 3.
8. *Булатова Л. Н.* Еще о грамматическом статусе категории числа существительных в русском языке // Проблемы структурной лингвистики. 1981. М., 1983. С. 126.
9. *Русанівський В. М.* Семантичні процеси розвитку української лексики // Історія української мови. Лексика і фразеологія. Київ, 1983. С. 665.
10. *Словарь современного русского литературного языка.* Т. 1—17. М.—Л., 1950—1965.
11. *Сумкина А. И.* Деривационные корреляции существительных в формах множественного числа // Развитие грамматики и лексики современного русского языка. М., 1964. С. 230.
12. *Соболева П. А.* Число существительных как грамматико-словообразовательная категория // Русский язык. Функционирование грамматических категорий. М., 1984. С. 70.
13. *Изменения в словообразовании и формах существительного и прилагательного.* М., 1964. С. 157.
14. *Русский язык и советское общество. Морфология и синтаксис современного русского литературного языка.* М., 1968. С. 153.
15. *Виноградов В. В.* Современный русский язык. Грамматическое учение о слове. Вып. 1. М., 1938. С. 146.

МУСАЕВ М.-С. М.

К ИСТОРИИ ГРАММАТИЧЕСКИХ ПАДЕЖЕЙ ДАРГИНСКОГО ЯЗЫКА

Систему так называемых грамматических падежей современного даргинского языка образуют абсолютив, эргатив, генитив, датив, инструменталис, тематив¹, комитатив, каузалис и фактив. Все они, кроме последнего, нашли свое отражение в существующей литературе. Целесообразность же включения фактива в систему падежей современного даргинского литературного языка впервые была обоснована в [2]. Говоря о состоянии изученности данных падежей, следует отметить, что они исследованы главным образом в синхронном аспекте и преимущественно на материале литературного языка. Выявлена система окончаний, определены их семантика и основные синтаксические функции [3; 4, с. 102—126; 5, с. 93—176; 6].

Что же касается диахронического анализа этих падежей, то он оставался вне сферы внимания исследователей, если не считать разрозненных высказываний о происхождении тех или иных их форм. Упомянем лишь две статьи, посвященные генезису формантов дательного падежа [7, 8]. Оставался вне сферы внимания и анализ богатого диалектного материала по падежам, хотя падежные системы ряда диалектов уже описаны [9—13; 14, с. 93—124; 15—17]. Между тем диахроническое рассмотрение падежной парадигмы даргинского и других дагестанских языков представляет очевидный интерес для лингвистической теории не только в силу ее необычайной разветвленности, но и вследствие того неоднократно подчеркивавшегося в специальной литературе обстоятельства, что эти языки демонстрируют преобразование самого их типологического состояния (характеризующегося усилением номинативных черт эргативной в своей основе структуры).

На современном этапе развития дагестановедения, когда в принципе уже завершена работа по описанию падежей литературных языков и множества диалектов, в повестку дня ставится задача показа путей их исторического развития. Современное состояние дагестановедения (в частности, имеющийся в нашем распоряжении диалектный материал), а также общей теории падежей делают вполне реальным решение такой задачи.

Выясняется, что в общедаргинском состоянии из числа рассматриваемых падежей функционировали только абсолютив, эргатив и, возможно, генитив, которые, кроме последнего, были унаследованы даргинским из языка-основы [18]. Что же касается других падежей, то они складывались уже в период значительной диалектной дифференциации общедаргинского состояния. Поэтому все рассматриваемые даргинские падежи

¹ Термин принадлежит Э. Г. Абдуллаеву [1]. Имеется в виду предметный падеж, отвечающий на вопрос о ком? или о чем?

можно разбить на две группы: а) падежи первого хронологического уровня (абсолютив, эргатив, генитив); б) падежи второго хронологического уровня (датель, инструменталис, комитатив, тематив, каузалис и фактив). Рамки журнальной статьи не позволяют обсудить происхождение всех грамматических падежей современного даргинского языка, поэтому мы здесь ограничимся описанием истории падежей только первого хронологического уровня.

Реконструируемый для общедаргинского состояния абсолютный падеж, по-видимому, был близок к современному абсолютиву как в плане содержания, так и в плане выражения. Однако ряд фактов говорит о том, что общедаргинский абсолютив в ряде случаев отличался от современного и в своем развитии подвергся существенным изменениям. Выясняется, что общедаргинский абсолютив значительно шире функционировал в роли атрибута, обстоятельства места и времени, что им управлялось намного больше послелогов, чем сейчас; что нынешняя абсолютивная форма личных местоимений выступала в роли субъекта и при переходных глаголах, что ряд других значений, составляющих ныне часть семантической структуры абсолютива, не был для него характерен. Установлено также, что нынешняя форма абсолютива ряда слов не совпадает с его древней общедаргинской формой, что в процессе исторического развития у отдельных слов изменился исход, в результате чего у этих слов нарушалось существовавшее ранее тождество формы абсолютива и основы косвенных падежей. В некоторых же случаях, напротив, бывшее нетождество обеих этих форм оказалось снятым.

Все это подтверждается приводимыми ниже фактами языка, которые одновременно сосуществуя в языке, отражают его архаичное и современное состояние. Архаичное в одних случаях сохраняется в тех или иных диалектах, образующих зону консервации, а в других случаях в различных устойчивых выражениях.

Прежде всего укажем на то, что абсолютив утратил или значительно ослабил почти все несубъектные и неobjектные функции, которые, как полагаем, широко были представлены в общедаргинском состоянии. Так, например, в связи с развитием прилагательного заметно сузилась сфера употребления абсолютива в функции определения, который в таких случаях либо заменяется другими падежами (ср.: *урху дуб* букв. «море-край» и *урхула дуб* «моря край»), либо новообразованными относительными прилагательными (ср.: *рурси дурхІя* букв. «девочка-мальчик» и *рурсиси дурхІя* букв. «девический мальчик», т. е. «мальчик с повадками девушки») или же превращается в часть сложного слова (ср.: *ада узи* букв. «отец-брат» — *адавзи* «дядя по отцу»).

Заметно ослабли и функции различных обстоятельств, ранее свойственные абсолютиву. Они ныне либо факультативно, либо облигаторно выполняются падежами обстоятельственной семантики или различными словосочетаниями. Так, например, широко представленная в общедаргинском состоянии функция обстоятельства места, выполняемая абсолютивной послеложной конструкцией, постепенно вытесняется генитивной послеложной. Управление послелогов абсолютным падежом в таких случаях ныне удерживается лишь в устойчивых выражениях народной поэзии, ср.: *ши-дурхІнар ванал бархІи* букв. «село внутри теплое солнышко» и разг. *шила дурхІнар дахтал чарт лер* букв. «села внутри много грязи». Только в устойчивых выражениях сохранилась и такая функция общедаргинского абсолютива, как функция сравнения, например: *вава бурхуцІа* букв. «цветок-желтый», т. е. «как цветок желтый». Эту функцию ныне выполня-

ет словосочетание «абсолютив + сравнительная частица *-ван*» (ср.: *ва-ваван* «как цветок») и т. д. И, наконец, наличие в языке факультативного употребления названий отрезков времени в форме как абсолютива, так и эссива для выражения обстоятельства времени также говорит о том, что более архаичное явление (выражение абсолютивом обстоятельства времени) со временем стало вытесняться новым явлением (выражением обстоятельства времени эссивом — падежом обстоятельственной семантики), ср.: *дуцГрум ну шагъарлизи вякьунра* букв. «лето (т. е. летом) я в город поехал» и *дуцГрумлизив ну шагъарлизи вякьунра* букв. «в лете (т. е. летом) я поехал в город».

Форма абсолютива личных местоимений в общедаргинском состоянии, по-видимому, выполняла функцию субъекта и при глаголах переходной семантики. Подобное состояние сохраняется в чирагском, кункинском и сиргинском диалектах [14, с. 140], образующих зону консервации.

Наряду с утерей или ослаблением несубъектных и необъектных функций абсолютива прослеживается усиление его субъектных и объектных функций. Прежде всего отмечается расширение круга семантических групп слов, выступающих в роли субъекта и объекта. В этой роли все больше стали функционировать, например, имена различной семантики, в том числе и самой абстрактной, и даже масдары, ср.: *бугГярли биъни илис сабаб ахIен* букв. «холодно бывание ему не является причиной». Сказанное становится понятным, если иметь в виду то общеизвестное положение, согласно которому первоначально позицию абсолютивного субъекта занимали в основном одушевленные существительные. Аналогичным образом расширены семантические группы слов, выступающих и в роли абсолютивного объекта, ибо, как полагаем, изначально в роли такового выступали в основном неодушевленные существительные. Так или иначе, первоначальная семантическая зависимость слов, выступавших преимущественно в роли субъекта или объекта, с развитием языка постепенно снимается, и на первый план выдвигается принцип синтаксического функционирования слов. Дальнейшая эволюция сделала возможным появление в роли субъекта и объекта фактически любого современного даргинского слова.

Усиление субъектных и объектных функций абсолютива, на наш взгляд, выразилось и в том, что бывшие случаи нечеткого выражения субъектных или объектных функций все более изживаются. Речь идет о субъектах или объектах при как бы самопроизвольно происходящих действиях. В таких случаях исторические имена субъектов и объектов слились со сказуемым, в результате чего абсолютивно-субъектные предложения превратились как бы в безличные (ср.: *шала дикиб* букв. «свет настал» → *шаладикиб* «рассвело»; *бархIи ахъиб* букв. «день прошел» → *бархIиахъиб* «повечерело»; *хIери баиб* «полдень настал» → *хIерибаиб* букв. «ополднело»), а абсолютивно-объектные — в безобъектные эргативные конструкции (ср.: *нуни ахI барра* букв. «я терпение сделал» → *нуни ахIбарра* «я вытерпел» и т. п.). Возможно, данное обстоятельство в определенной степени объяснимо и развитием даргинского словообразования, где велика роль беспризнаковой формы имен при словосложении. Здесь налицо и усиление значения сказуемого в предложении, которое поглощает зачастую слабо выраженные члены предложения. В некоторых подобных случаях исторические объекты настолько десемантизированы, что ныне в языке они отдаленно даже не употребляются, ср.: *нуни гъандуцира* «я вытерпел», *нуни гъайбарра* «я пошел» (исторические объекты *гъан* и *гъай* самостоятельно уже не употребляются).

С развитием поэтического стиля стала разнообразнее и функция обращения, выражаемая формой абсолютива. В позиции обращения стали выступать и названия неживых предметов (ср.: *цлуэри, духа дилара салам* «ветерок, передай и мой привет»). Под влиянием русского языка развивается также новый тип приложения, выраженного абсолютивом (ср.: *ну, Исаев Иса, акГубсира...* «я, Исаев Иса, родился...»).

Некоторые исторические изменения произошли и в формальной стороне абсолютива, хотя в подавляющем большинстве случаев общедаргинская беспризнаковая форма абсолютива за весь исторический период не изменилась. Имевшие место изменения характеризуются либо выпадением конечного звука, либо наращением гласного (ср.: **хъубзар* → *хъубзара* «землепашец», **унцу* → *унц* «бык» и т. д.), которые способствовали снятию былого тождества формы абсолютива с основой косвенных падежей (ср.: литер. абс. *хъубзара* «землепашец» и ген. *хъубзар-ла*, кайт. абс. *уц* «бык» и ген. *уцу-ла* и т. д.). В ряде случаев в результате лексикализации некоторые иные формы имен превратились в формы абсолютива (такие, например, как словоформы старого латива, ср.: *лни* «зима» и «зимой» при архаичной форме *л* «зима», *гЛибшн* «осень» и «осенью» при *ивгън* «осенью» и *ивгъ* «осень» в хуршинском говоре и т. д.). В роли абсолютива ныне выступают и все топонимические названия, восходящие к форме старого латива (ср.: *Ахъуша аркъула* «еду в Акуша» и *Ахъуша халабаили саби* «Акуша выросло» и т. д.). Оказались формами абсолютива также некоторые бывшие атрибутивные формы (ср.: *хЛябал* «три» при ген. *хЛяб-ла* «троих» и куб. *гЛяб* «три»). Кроме того, в формах мн. числа возник дополнительный признак абсолютива -и, ср. абс.: *уриш* «мальчики» и эрг. *уришани*, ген. *уришала* и т. д.

Былая устойчивость формы абсолютива имен с исходом на -л, -н, -р в словоформах косвенных падежей со временем в ряде диалектов и литературном языке становится уязвимой, ср.: литер. абс. *къял* «корова», *дарман* «лекарство», *къар* «трава» и эрг. *къял, дармай, къалли*. Старое состояние сохраняется в архаичных диалектах, ср.: цуд. *къялли, дарманни, кварли*.

В свете сказанного напрашивается вывод о том, что исторический абсолютив даргинского языка в своем развитии постепенно специализировался на передаче субъектных и объектных отношений и все больше освобождался от передачи иных отношений, широко представленных в его прошлом. Следовательно, даргинский абсолютив стал падежом субъекта и объекта, напоминающий собой именительно-винительный, характеризующий ряд номинативных языков.

Довольно специфична история и эргатива. Анализ диалектных данных показывает, что хотя в общедаргинском состоянии эргатив уже и существовал, он еще не был строго парадигматизированной единицей: им не оформлялись личные местоимения и существительные, управляемые глаголами чувственного восприятия. Семантика общедаргинского эргатива складывалась из двух основных значений: субъектного и инструментального, которые, как полагаем, первоначально не отличались таким разнообразием и богатством частных проявлений, какими они отличаются в современном литературном языке. При этом оба значения были представлены настолько широко, что эргатив в одинаковой степени можно было называть падежом как субъекта, так и объекта. Форма общедаргинского эргатива характеризовалась двумя реконструируемыми показателями **-ди* (-ни) и **-ли*, дистрибуция употребления которых была, вероятно, обусловлена семантически.

Историческое развитие семантики общедаргинского эргатива, как это будет показано ниже, характеризуется прежде всего дальнейшим обогащением обоих исходных значений, в результате чего в языке намечаются тенденции к усилению субъектного и ослаблению инструментального значений.

Это выразилось, во-первых, в том, что эргатив стал более разнообразным по своему внутреннему содержанию. В языке появился например, эргативный субъект, представляющий собой лицо или предмет, допускающий, чтобы другое лицо или предмет совершили действие (*илини маза ар-дякьяхъун* «он допустил, чтобы овцы ушли») или чтобы совершилось самопроизвольное действие (*нуни учлули шаладикахъира* «я читая допустил, чтобы рассвет наступил»). Возникает и такой субъект, когда непосредственным исполнителем действия, выраженного каузативной формой глагола, оказывается имя в эргативе, ср.: цуд. *тухтурли рурсили дару берч-чахъиб* букв. «врач девочкой лекарство выпить заставил».

Во-вторых, значительно расширились семантические группы слов, выступающих в форме субъектного эргатива. Если первоначально, как полагают, в последней форме функционировали в основном одушевленные существительные, то в дальнейшем в языке в его форме стали выступать субстантивы практически любой семантики, а также прилагательные, числительные, масдары, причастия и т. д. В современном даргинском языке фактически любое слово может иметь эргатив субъекта (ср.: *хлела хлелабас-ли ну тамашавирула* «твое не знаю меня удивляет» или *итала ай-ли нуша уржлаира* «его ой! нас напугал»). Отмеченное свидетельствует об устранении былой семантической ограниченности функционирования субъектного эргатива и о его превращении во всеохватывающее грамматическое явление.

В-третьих, эргативом стали оформляться субъекты, выраженные личными местоимениями при переходных глаголах. Такие местоимения в общедаргинском состоянии стояли в абсолютиве или в каком-нибудь местном падеже. Примечательно, что архаичное состояние, как отмечалось выше, сохраняется в некоторых диалектах, составляющих зону консервации [14, с. 140].

В-четвертых, расширился круг семантических групп глаголов, управляющих субъектным эргативом. Как выясняется, например, изначально эргативом не управляли глаголы чувственного восприятия, которые ныне в литературном языке уже управляют этим падежом. Архаичное состояние оформления субъекта при глаголах чувственного восприятия не эргативом, а другим падежом до сих пор удерживается в консервативных диалектах, ср.: литер. *нуни* (эрг.) *бецI чебаира* и цуд. *дам* (дат.) *бецI чибажибда*, мег. *дизе* (инлат.) *бецI губра* «я видел волка»; литер. *нуни* (эрг.) *урчи чебаэ виубра* и мег. *дизела* (абл.) *урчи звес бигъубра* «я смог увидеть лошадь». Естественно думать, что возникновение управления эргативом со стороны глаголов чувственного восприятия связано с развитием категории переходности—непереходности, которое в литературном языке зашло дальше по сравнению с архаичными диалектами.

И, наконец, об укреплении позиций эргативного субъекта говорит и тот факт, что субъект устойчиво оформляется в эргативе, даже в таких предложениях, где исторический объект элиминирован, ср.: *нуни яхIбарра* «я вытерпел» («я терпение + сделал»), *гъанна дудешли гIяхIил чебиули сай* «сейчас отец хорошо видит» («сейчас отец [?] хорошо видит»), *нуни ира* «я сказал» («я [что-то] сказал»).

История другого исходного значения эргатива — инструментального —

характеризуется тем, что до определенного момента оно также обогащалось различными частными проявлениями, после чего наметилась тенденция к его ослаблению.

Динамика инструментального эргатива первоначально сводилась к тому, что в его роли стали выступать слова различной семантики. Если, например, как установлено, в инструментальной функции сначала выступали названия только конкретных неодушевленных предметов, то с последующим развитием языка эта функция стала выполняться самыми различными словами, в результате чего инструментальное значение эргатива значительно обогатилось частными проявлениями.

Однако же с определенного исторического времени в языке наметилась тенденция к ослаблению этого значения. В пользу сказанного говорит целый ряд фактов.

Во-первых, для передачи инструментального значения в литературном языке и в ряде диалектов оформился специальный падеж (инструменталис), который пока еще функционирует параллельно с эргативом, ср.: *хИуни вявли* (эрг.) *селра сахГерхид* и *хИуни вявличибли* (инстр.) *селра сахГерхид* «ты криком ничего не добьешься». Инструменталис возник здесь совсем недавно, на что уже указывалось в специальной литературе [10, с. 511; 19]. Показательно, что наряду с инструменталисом на *-чибли*, оформляющим преимущественно названия неодушевленных предметов, в языке развивается и фактив на *-ли* [2, с. 103—106], оформляющий в основном названия одушевленных предметов и выражающий значение русского творительного в случаях *ит учительницали* (факт). *рузули сари* «она работает учительницей», ср.: *учительницани* (эрг.) *ученик вагьур* «учительница узнала ученика».

Во-вторых, засвидетельствованы факты факультативной передачи инструментальной семантики не эргативным, а другими падежами, ср.: литер. *нуни дисли* (эрг.) *кьацI балъунра* и *нуни бисличил* (ком.) *кьацI балъунра* «я ножом хлеб порезал»; литер. *куцли* (эрг.) *жагаси* букв. «телосложением красивый» и *куцлизив* (эсс.) *жагаси* «красивый в телосложении», *куцлизивад* (абл.) *жагаси* букв. «из телосложения красивый», т. е. «красивый по телосложению»; кад. *нуни тГерхьали* (эрг.) *хвалике бягьира* и *нуни тГерхаличу* (лат.) *хвалике бягьира* букв. «я на собаку палкой ударил». А передача значения инструмента в приведенных случаях не эргативом, а другими падежами, бесспорно, является вторичной, поскольку сами эти падежи, заменяющие эргатив, оформились в языке позднее эргатива и уже на базе последнего.

В-третьих, об ослаблении инструментального значения эргатива говорят известные факты слияния его исторической формы со сказуемым. Речь идет о тех случаях, когда значение отдельно взятого эргатива ныне уже не поддается какой-либо семантической характеристике, ср.: *вацIа хIали бягьиб* букв. «лес| листвою ударился», т. е. «зазеленел», *хИу кьунба угьурри* букв. «ты ложью (мн. ч.) говоришь», т. е. «обманываешь» и т. д. В подобных предложениях наличие эргатива возможно мотивировать лишь диахронически. Как показывает история этих построений, в них эргатив исторически выполнял инструментальную функцию, которая к настоящему времени существенно затемнена. Ныне подобные словосочетания, как правило, воспринимаются как самостоятельные сложные глаголы, выступающие в роли сказуемого.

В-четвертых, об ослаблении инструментального значения эргатива говорят также засвидетельствованные факты превращения определенной группы частных инструментальных значений, которые воспринимались

ранее как средство действия, в различные обстоятельственные значения, ср.: *иш хІянчи ца бази бирис* букв. «эту работу одним месяцем сделаю» (т. е. «за один месяц»), *хІела гІяхІдешли наб дабри дикиб* букв. «твоей добротой мне обувь досталась» (т. е. «по твоей доброте»), *устали хІева някълі бирбуб* букв. «мастерица (швея) платье руками сшила», т. е. «не на швейной машине», и т. д.

Наконец, необходимо остановиться на истории и другого несубъектного значения эргатива — на его прямообъектной функции, отмечающейся во всех современных диалектах и поэтому, возможно, наблюдавшейся и в общедаргинском состоянии. Речь идет об эргативе в конструкциях типа *ну къацІли* (эрг.) *укулра* «я ем хлеб» (букв. «я хлебом ем»), которые стали в даргинovedении предметом не только пристального внимания, но и продолжительной дискуссии [5, с. 112—132; 20]. Здесь важно решение вопроса, в каких хронологических отношениях находится данная конструкция с параллельно функционирующей синонимичной ей конструкцией типа *нуни къацІ букулра* «я ем хлеб», с прямым объектом в абсолютиве и субъектом — в эргативе. Есть основания полагать, что конструкция с прямообъектным эргативом отражает относительно древнее состояние даргинского языка, когда прямой объект (скорее, праобраз нынешнего прямого объекта) выражался и эргативом. Об этом свидетельствует ряд фактов. Во-первых, форма глагола, управляющего прямообъектным эргативом, древнее формы глагола, управляющего прямообъектным абсолютивом, ибо производность последней от первой очевидна, ср.: *букес* «есть» и *беркес* (← *бе* + *рукес*) «поесть». Во-вторых, подобный эргатив отмечается при глаголах, образующих немногочисленную группу со значением рода занятий. При этом вместе с последними прямой объект зачастую составляет синтаксическое единое целое, т. е. является единым членом, а именно, сказуемым, ср.: *ит къацІли укули сай* «он есть» (букв. «он хлебом ест»). Во всех таких словосочетаниях эргатив уже содержательно (как прямой объект) не выделяется, он имеет абстрагировавшееся значение необходимого информативного восполнения. Относительно данного явления даргинского языка И. И. Мещанинов пишет: «Выступающий в предложении объект может не выделяться, оставаясь примыкаемым к сказуемому и не передавая ему объектных отношений» [21]. Видимо, рассмотренный случай, действительно являясь реликтовым явлением даргинского языка, отражает то состояние, когда в языке не были четко отделены прямой и косвенный объекты [22], и «глагол выражал не столько действие, переходное или непереходное, сколько состояние, в котором находился данный предмет, безразлично, субъект или объект с точки зрения позднейшего восприятия» [23].

В этом плане показательно то, что все авторы (Л. И. Жирков, С. Л. Быховская, С. Н. Абдуллаев, З. Г. Абдуллаев), рассматривавшие данный вопрос, подчеркивают, что в подобных конструкциях глагол выражает «как бы состояние, а не действие» (в этих случаях сказуемое почти всегда передается глаголом несовершенного вида). Таким образом, все сказанное позволяет предположить, что даргинский глагол некогда выражал, действительно, не транзитивное и интранзитивное действия, а такое действие, которое, с одной стороны, мыслилось как совершаемое кем-то, а с другой — как состояние, в котором находится предмет. Отражение этого явления, видимо, наблюдается в таких примерах даргинского языка, как: *нуни къар удулра* «я кошу траву» и *ну къарли удулра* «я занят кошением травы» (букв. «я травой кошу»). Разумеется, в подобных ситуациях размежевать субъект и предмет состояния довольно труд-

но. В таких случаях первым шагом к отделению субъекта от объекта, вероятно, является маркировка этих величин словопорядком. Субъект во всех случаях занимает начало предложения, а объект — его середину, следует за субъектом, ср.: *нуни* (эрг. суб.) *кьар* (абс. объект) *удула* «я кошу траву» и *ну* (абс. суб.) *кьарли* (эрг. объект) *удула* «я травой кошу». Следовательно, первоначально и абсолютив и эргатив выражали как субъект, так и объект отнюдь не на их современной функциональной основе.

Это реликтовое состояние с развитием категории переходности — непереходности стало затухать. Процесс начался с замещения прямообъектного эргатива либо абсолютивом (там, где это позволяла семантика глагола, ср.: *ну кьарли удула* букв. «я травой кошу» — *нуни кьар удула* «я кошу траву»), либо паритивным генитивом (ср.: *ну кьацли ужура* «я хлебом поел» → *нуни кьацли беркунра* «я хлеба поел») или с его опущения (ср.: *ну кьацли ужура* «я хлебом ем» → *ну ужура* «я ем»).

Показательны данные родственных языков, где прямообъектный эргатив не сохранился. В подобных случаях, засвидетельствованных, например, в аварском языке, при передаче глаголом состояния (рода занятий) в отличие от даргинского языка объект опускается, ср.: авар. *дос бецулеб буго ххер* «он косит сено» при *дов вецарилев вуго* «он косит» и дарг. *илини мура удули сай* «он косит сено» при *ил мурали удули сай* букв. «он сеном косит» и *ит удули сай* «он косит». Отсюда вытекает вывод о том, что даргинский язык в процессе предполагаемого перехода от этапа деления глаголов на глаголы действия и глаголы состояния к ступени деления глаголов на переходные и непереходные отражает как бы промежуточное положение. В даргинском пока не все глаголы лексически стабилизированы как переходные или непереходные. Определенная их часть все еще остается лабильной. Это в основном такие глаголы, которые выражают действие, способное произойти и самопроизвольно, а также глаголы, допускающие семантику рода занятий. Поэтому представляется некорректным усматривать залоговый характер словоформ таких глаголов, употребляемых в значении переходного и непереходного глагола (ср.: *гажин шинни бирцур* «кувшин наполнится водой» и *итини гажин шинни бирцур* «он кувшин водой наполнит» при *ит шинни гажинта вирцур* «он будет заниматься наполнением кувшинов водой»).

Итак, эргатив первоначально был формой такого падежа, за которой была закреплена широкая гамма значений, субъектных, объектных и определительно-обстоятельственных. Далее в функциональном развитии эргатива наметилась тенденция к закреплению за ним только субъектных значений. Ныне обстоятельственные и объектные значения сохранились в нем лишь остаточно, будучи факультативно или облигаторно переданными формам других падежей или послеложных построений.

Наметилась тенденция к снятию былой семантической обусловленности употребления окончаний *-ни* и *-ли* и к унификации формы эргатива. Такая унификация уже завершилась в ряде диалектов (кайтагском, муиринском и губденском). Унификация в последнем выразилась в генерализации окончания одушевленных существительных *-ни*, а в первых — в генерализации окончания неодушевленных существительных *-ли*.

В части диалектов (урахинском, кубачинском) начало процесса унификации ознаменовалось появлением контаминированных показателей типа *-ли + ин* (урах.) и *-ли + ди + л* (куб.), в которых, как видно, на показатель неодушевленных наложился показатель одушевленных. Что, естественно, вызвано индуцирующей ролью класса одушевленных. Заме-

тим, что подобная контаминация отмечается в истории и других морфологических категорий даргинского языка [24].

В процессе исторического развития исходные показатели эргатива подверглись различным фонетическим изменениям, в результате чего возникло большое количество алломорф, общее число которых в современных даргинских диалектах доходит до сорока.

На основе анализа многочисленных фактов диалектного материала напрашивается вывод о том, что современная форма эргатива в своем источке — это реинтерпретированная форма старого латива, который, очевидно, восходит к общекосвенному падежу языка-основы. Допустимость такой интерпретации подробно аргументирована нами в [25, с. 20—22].

Говоря о степени дифференциации субъекта и объекта даргинским языком на современном этапе, нужно отметить следующее. В современном даргинском языке дифференциация субъекта и объекта при помощи падежей полностью еще не достигнута. Обе величины выражаются при помощи как абсолютива, так и эргатива, правда, лишь с той разницей, что субъект преимущественно выражается эргативом и абсолютивом, а объект абсолютивом. Случаи выражения прямого объекта эргативом минимальны и носят реликтовый характер. Полная же дифференциация субъекта и объекта достигается в даргинском языке лишь на синтаксическом уровне — словопорядком. Субъект, будь он эргативным или абсолютивным, всегда располагается в начале предложения, ср.: *нуни* (эрг.) *газета бучИулра* «я читаю газету» и *ну* (абс.) *газетали учИулра* букв. «я газетой читаю» («я занят чтением газеты»). Объект же, будь он также в абсолютиве или эргативе, всегда следует за субъектом, ср.: *нуни газета* (абс.) *бучИулра* «я читаю газету» и *ну газетали* (эрг.) *учИулра* «я занят чтением газеты» (букв. «я газетой читаю»). Последнее предложение на русский язык можно перевести и как «я читаю газету».

Использование словопорядка как средства, маркирующего субъект и объект, разумеется, обусловлено недостатком четкого морфологического способа, дифференцирующего обе величины. Это могло особенно касаться того периода, когда в языке субъект и объект выражались формами эргатива и абсолютива синкретически.

Говоря о происхождении исходных показателей даргинского эргатива *-ди(-ни)* и *-ли*, необходимо отметить, что они, как это подтверждает наш материал, являются унаследованными от языка-основы, где они, возможно, были показателями общекосвенного падежа [26] и в этимологическом плане могли восходить к классным показателям [25, с. 14—19].

Если рассмотренные падежные единицы являются в даргинском вполне сформировавшимися позиционными падежами, то в этом плане генитив можно назвать позиционным лишь частично. Показательны его происхождение и тенденции дальнейшего развития.

Сравнительно-исторический анализ диалектного материала показывает, что генитив (точнее его современная форма), по-видимому, существовал в общедаргинском состоянии, имея довольно единообразную семантику передачи в основном атрибутивных отношений. Если это так, то восстанавливаемая для общедаргинского состояния форма на *-ла* была в основном атрибутивной формой.

Современная форма даргинского генитива, выражая главным образом атрибутивные отношения, в основном сохраняет свое старое содержание. Вместе с тем нынешний генитив со временем стал характеризоваться рядом четко намечившихся тенденций — ослаблением некоторых своих атрибутивных значений и появлением ряда иных, неатрибутивных.

Ослабление атрибутивных значений прежде всего выразилось в замене атрибутивного генитива развивающимися формами относительных и притяжательных прилагательных. Так, например, понятие «кумыкский язык» в современном даргинском языке можно передать как генитивной синтагмой (*къумукъла мез* букв. «кумыков язык»), так и адъективной (*къумукълан мез* «кумыкский язык»). Аналогичные примеры в современном языке довольно многочисленны (ср.: *гилмула хIянчи* букв. «науки работа» и *гилмуласи хIянчи* «научная работа», *хIурматла адам* букв. «уважения человек» и *хIурматчевси адам* «уважаемый человек» и т. д.). Эти примеры, безусловно, подчеркивают начало процесса формирования относительных и притяжательных прилагательных, синонимичных притяжательной и относительной функциям генитива. Следует, однако, отметить, что процесс этот еще далек от завершения. Как отмечал еще С. Н. Абдуллаев, имея в виду последний пример, «...недавняя, еще не укоренившаяся в языке, практика прибавления *-си* пока не успела повлиять на такие имена и превратить их в прилагательные» [4, с. 133].

Кроме того, в ряде случаев форма генитива, выражающая различные относительные значения, стала факультативно заменяемой другими падежами, ср.: *узила* (ген.) *хабар* букв. «брата весть», т. е. «весть о брате», и *узичила* (тем.) *хабар* «весть о брате»; *душма* (ген.) *инсап агара* букв. «врага совесть нет», т. е. «у врага совести нет», и *душмайзир* (эсс.) *инсап агара* букв. «в враге (т. е. «у врага») совести нет»; *нушала* (ген.) *ча* букв. «паш один», т. е. «из нас», и *нушазивад* (абл.) *ча* букв. «из нас один»; *нерхла* (ген.) *банка* букв. «масла бавка», т. е. «банка с маслом», и *нерхличилси* (ком.) *банка*, т. е. «та, банка, которая с маслом». Надо отметить, что приведенные негенитивные синтагмы являются вторичными, и об их вторичности говорит то, что падежи, заменяющие в них генитив, как известно, возникли в языке значительно позднее последнего. Сфера употребления генитива в притяжательной и относительной функциях сузилась и за счет опущения или слияния определяемого компонента бывшей атрибутивной синтагмы со сказуемым, ср.: *нуни занкъла* (ген.) *аргъира* букв. «я звонка услышал» (← *нуни занкъла тIама аргъира* «я звонка голос услышал»); *хIаа гIердарра* букв. «я собаки (ген.) подражание + сделал» (← *хIаа гIер + дарра* букв. «собаки подражание сделал»). Опущение или слияние определяемого слова в подобных случаях, разумеется, стало возможным в силу его подразумеваемости, вызванной долгим употреблением в определенном окружении.

И, наконец, о сужении сферы функционирования именной атрибутивной формы на *-ла* говорит также факт, что такие формы ряда субстантивов, обозначающих отрезки времени и отдельные отвлеченные понятия, со временем в языке лексикализовались, став функционально равными прилагательным, ср.: *савлила аргъ* букв. «утра погода», т. е. «утренняя погода», *хабарла адам* букв. «вести человек», т. е. «известный человек», и т. д. Форму генитива в подобных словосочетаниях в настоящее время нельзя квалифицировать как падежную, ибо она отвечает не на падежный вопрос *села? «чего?»*, а на вопрос прилагательного *сегъуна? «какой?»*.

Таким образом, ряд функций именной атрибутивной формы постепенно стал передаваться прилагательными, а иногда и новообразованными падежами, что, разумеется, не могло не сказаться на качественном преобразовании этой формы.

Параллельно с ослаблением определительной функции общедаргинской атрибутивной формы имен в языке наметилась тенденция к усилению или приобретению этой формой иных, неопределительных функций.

Прежде всего это выразилось в переосмыслении отдельных атрибутивных отношений в субъектные и объектные. Так, в предложении *иллели нешла иличи зымидухъун* «тогда на него мать разозлилась» форма генитива *нешла* «матери», в настоящее время воспринимающаяся как субъект действия, в своем истоке выполняла определительные функции, ср.: букв. «тогда мамина желчь на него нашла» (= «мама разозлилась»). Подобное переосмысление отмечается и в предложениях типа *унрала урчи теб* «сосед имеет лошадь» (← букв. «соседа/соседова лошадь имеется»).

В результате упрощения исторической атрибутивной синтагмы за счет опущения определяемого компонента, выражающего предмет количественного измерения, у атрибутивного генитива развивается объектное значение, ср.: *нуни къацгала беркунра* «я хлеба поел» (← «я хлеба определенное количество поел»), *шинна бержира* «воды выпил» (← «я воды определенное количество выпил»), *уцц вецгала килола цгерхъбиуб* букв. «бык десяти килограммов поправился» («бык десяти килограммов количество поправился»), т. е. «на десять килограммов».

Несколько затемнено происхождение значения инструментального дополнения у генитива в предложениях типа *глиниз шинна бегъуб* букв. «родник воды высох», *ну гхулбала сукъуриубра* букв. «я глаз ослеп», т. е. «я ослеп» и т. д. Вполне вероятно, что и в этих предложениях скрыто какое-то древнее атрибутивное значение генитива.

Как вытекает из вышесказанного, современные неатрибутивные значения генитива и его кажущийся приглагольный характер являются результатом преобразования былых атрибутивных синтагм.

Несколько обособленно в этом плане выглядит значение примасдарного генитива, изредка употребляемого в современном даргинском языке. Речь идет о случаях типа *хгерагу ца, ши дурхгяла висниличчи!* «посмотри-ка, как плачет этот мальчик!» (букв. «посмотри-ка на плаканье этого мальчика»), *хгевала брицци, гъари!* «как платье постирали, ужас!» (букв. «платье стираю, ужас!») и т. д. Как видно из приведенных примеров, имена в форме генитива имеют значение либо субъекта, либо объекта. В ряде случаев подобное функционирование генитива оказалось недавним результатом влияния русского языка и развития различных стилей языка. Необходимо, однако, подчеркнуть, что подобное управление масдара генитивом является пока факультативным, ибо оно легко заменяется эргативным или абсолютным. Следовательно, генитивное управление масдара в современном даргинском языке — явление новое, не ставшее еще нормой и тем более отсутствовавшее в общедаргинском состоянии (к тому времени и сам масдар едва ли мог сложиться).

В связи со сказанным необходимо обратить внимание еще на одно обстоятельство, определяющее сущность даргинского генитива. Речь идет, о том, что субъектные и объектные функции генитива, по авторитетному мнению [27, с. 175—203; 28, с. 156—164], являются основными критериями для постулирования генитива в качестве позиционного падежа. В этом плане современный даргинский генитив характеризуется как падеж, выполняющий в основном определительные функции. Другие же его функции, в том числе функции субъекта и объекта, минимальны. Поэтому, если за основу определения статуса генитива как позиционного падежа принять названный выше критерий, то и современный даргинский генитив выглядит как еще не вполне сложившаяся категория.

В рассматриваемом аспекте довольно интересна и история примененного употребления генитива даргинского языка. Если, например, по свидетельству Е. Куриловича и Э. Бенвениста, примененное употребление генитива

в индоевропейских языках — результат дальнейшего развития субъектного и объектного употребления генитива [27, с. 195—196; 28, с. 163—164], то общий ход эволюции даргинского генитива не позволяет аналогичным образом квалифицировать широко представленное приименное употребление даргинского генитива. В даргинском языке оно является еще прямым продолжением основного исходного значения именной атрибутивной формы — значения определения. Следовательно, казалось бы, совершенно идентичные на первый взгляд функции генитивов русского и даргинского языков в случаях дарг. *дурхIяла жуз* «мальчика книга» и русск. *книга мальчика* неодинаковы в плане их исторического развития. В русском языке эта функция имеет истоки: *мальчик играет* → *игра мальчика* → *смех мальчика* → *сон мальчика* → *нрав мальчика* → *книга мальчика*, а в даргинском: *биштIаси жуз* «маленькая книга» → *дурхIяла жуз* «мальчикова/мальчика книга». В таких обстоятельствах форму генитива даргинского языка *дурхIяла* с позицией русского языка следовало бы понимать как «мальчикова» (книга) или как что-то синкретическое между «мальчикова» (книга) и (книга) «мальчика», которую под влиянием русской грамматики мы привыкли воспринимать прежде всего как «мальчика» (род. п.), хотя исторически ее прежде всего надо было понимать как «мальчикова». В русском языке категория притяжательности и категория принадлежности в плане выражения разделились, а в даргинском — этого еще не произошло. Поэтому в последнем они выражаются одной формой. Этим объясняется совпадение передачи в даргинском языке значений русских относительных прилагательных и генитива (ср.: *мургыла тIулека* «золотое кольцо» и *мургыла багъа* «цена золота»).

Следовательно, форму на *-ла*, трактуемую в даргинском языке как форму генитива, более адекватно толковать как синкретическую, совмещающую функции прилагательного и отчасти генитива.

О том, что эта форма еще не стала настоящей падежной, подобно, скажем, форме эргатива, говорит целый ряд ее специфических особенностей: а) показатель *-ла* широко употребляется также как словообразовательный суффикс (*даг-ла* «вчерашний» — при *даг* «вчера»), б) данная форма изменяется по всем падежам и в отличие от форм других косвенных падежей во всех случаях образуется от прямой основы (= формы абсолютива), а не от эргатива, что сближает ее со словообразовательной моделью современных прилагательных (ср.: *цIакъ-си* «сильный» и *цIакъ-ла* «силы» и т. д.).

Таким образом, современная именная форма на *-ла* даргинского языка в своем исходе функционально была атрибутивной формой. Таковой она в основном остается и сейчас. Вместе с тем наметились и тенденции, сближающие ее с формой падежа, а именно генитива. Она постепенно теряет отдельные атрибутивные значения, приобретая различные неатрибутивные. Последние довольно своеобразны и в большинстве случаев не совсем тождественны субъектным или объектным. Кроме того, эта форма в плане выражения в большинстве случаев уже отличается от прилагательных, ср.: *цIакъла* «силы» и *цIакъси* «сильный». Материальное совпадение сохраняется у нее лишь с относительными прилагательными (ср.: *мургыла* «золотой» и «золота»).

Целый ряд изменений произошел и в плане выражения. Первоначальный показатель в результате комбинаторных и исторических фонетических изменений с учетом диалектных вариантов преобразовался в пятнадцать алломорф. В этимологическом аспекте форма на *-ла* восходит к одной из форм архаичного латива, выражавших пространственные отношения.

Механизм превращения формы старого латива на *-ла* в форму генитива подробно описан нами в [25, с. 23—24].

Несколько специфична история грамматических падежей второго хронологического уровня (датива, комитатива, инструменталиса и фактива), которую предполагается рассмотреть в другой статье.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Абдуллаев З. Г.* Проблемы эргативности даргинского языка. М., 1986. С. 134.
2. *Мусаев М.-С. М.* Критерии разграничения падежных словоформ и смежных структур даргинского языка // Вопросы русского и дагестанского языкознания. Махачкала, 1981.
3. *Быховская С. Л.* Имена существительные в даргинском литературном языке // Язык и мышление. Т. 10. М.—Л., 1940.
4. *Абдуллаев С. Н.* Грамматика даргинского языка (Фонетика и морфология). Махачкала, 1954.
5. *Абдуллаев З. Г.* Категория падежа в даргинском языке. Махачкала, 1961.
6. *Voيدا К.* Beiträge zur kaukasischen und sibirischen Sprachwissenschaft. Leipzig, 1937. S. 13—22.
7. *Гаприндашвили Ш. Г.* К генезису формантов дательного падежа в даргинском языке // ИКЯ. 1948. Т. II.
8. *Абдуллаев З. Г.* К генезису формантов датива в даргинском языке // ВЯ. 1982. № 1.
9. *Услар П. К.* Этнография Кавказа. Языкознание. V. Хюркилинский язык. Тифлис, 1892. С. 15—38.
10. *Гаприндашвили Ш. Г.* Система склонения имен существительных в диалектах даргинского языка // ИКЯ. 1956. Т. VIII.
11. *Гаприндашвили Ш. Г.* Образование и функции основных падежей в диалектах даргинского языка // Тр. Сталинирского гос. пед. ин-та. 1956. III.
12. *Гаприндашвили Ш. Г.* Образование и функции направительных и местных падежей в диалектах даргинского языка // Тр. Сталинирского гос. пед. ин-та. 1957. IV.
13. *Абакарова Ф. О.* Именное склонение в уркарэхском диалекте даргинского языка: Автореф. дис.... канд. филол. наук. М., 1956.
14. *Магометов А. А.* Кубачинский язык. Тбилиси, 1963.
15. *Гасанова С. М.* Очерки даргинской диалектологии. Махачкала, 1971. С. 167—174, 196—199, 270—273, 297—298, 310—315.
16. *Гасанова С. М.* Особенности падежной системы чирагского диалекта даргинского языка // Именное склонение в дагестанских языках. Махачкала, 1979.
17. *Магометов А. А.* Мегебский диалект даргинского языка. Тбилиси, 1982.
18. *Гигинейшвили Б. К.* Падежная система общедаргинского языка в свете общей теории эргативности // ВЯ. 1976. № 1. С. 39.
19. *Бокарев Е. А.* Цезские (дидойские) языки Дагестана. М., 1959. С. 273.
20. *Сулейманов Б. С.* О главных членах предложения в даргинском языке // Сб. научных сообщений. Махачкала, 1964. С. 40—43.
21. *Мещанинов И. И.* Номинативное и эргативное предложение. М., 1984. С. 187.
22. *Климов Г. А.* Типологии падежных систем // ИАН СЛЯ. 1981. Т. 40. № 2. С. 133.
23. *Бокарев А. А.* Синтаксис аварского языка. М.—Л., 1949. С. 50.
24. *Мусаев М.-С. М.* Именное словоизменение даргинского языка. Махачкала, 1980. С. 94—101.
25. *Мусаев М.-С. М.* Падежный состав даргинского языка. Махачкала, 1984.
26. *Назаров В. П.* Разыскания в области исторической морфологии восточнокавказских языков. Махачкала, 1974. С. 18—20.
27. *Курлович Е.* Очерки по лингвистике. М., 1962.
28. *Бенвенист Э.* Общая лингвистика. М., 1974.

КОТОВ А. М.

**СТИЛИСТИЧЕСКИЙ СТАТУС ВЭНЬЯНИЗМОВ В СОВРЕМЕННОМ
КИТАЙСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ**

В новейший период истории в странах Востока наблюдается активный процесс функционального и внутривидового развития языков [1]. Одной из составных частей этого процесса, как отмечают исследователи, является «движение за ликвидацию разрыва между литературными (по преимуществу книжными) и народно-разговорными языками» [1, с. 8]. Устранение этого разрыва — процесс длительный и не являющийся механической заменой одного языка другим. В ходе параллельного функционирования и сближения они оказывают влияние друг на друга в структурном и функционально-стилистическом планах. При этом «выбор этих подсистем или их элементов несет социальные и стилистические функции и определяется правилами их использования, которые составляют часть правил социального поведения члена данного общества» [1, с. 14].

К числу таких литературных языков, далеко отошедших от разговорных, относится старый литературный язык Китая вэньянь, продолжающий и в настоящее время оказывать влияние на современный китайский литературный язык. В данной статье будет рассмотрена стилистическая роль элементов вэньяня (вэньянизмов) в современном китайском литературном языке, их функция в формировании последнего.

Современное состояние функционально-стилистической дифференциации китайского языка во многом определяется взаимодействием (как в диахронии, так и в синхронии) двух литературных языков — вэньяня и байхуа. Первый, базировавшийся при своем создании на северных древнекитайских диалектах, претерпевая известные изменения, просуществовал вплоть до начала нашего века в качестве письменно-литературного языка Китая, обслуживавшего науку, делопроизводство, политику, школу, художественную литературу во многих ее жанрах. Вэньянь был оторван от живого разговорного языка, называемого байхуа, и не отражал изменений, происшедших в последнем за несколько веков. Однако уже в середине века появляется повествовательная литература на байхуа, и он начинает постепенно отвоевывать позиции у вэньяня. В результате демократизации общественной жизни в Китае в начале нашего века, выхода на политическую арену широких народных масс, литературно-языковой практики писателей-реалистов, прогрессивных общественных деятелей и публицистов байхуа утвердился в настоящее время во всех сферах общения, вытеснив из них вэньянь как с и с т е м у структурных и стилистических норм. При этом, однако, вэньянь обогатил современный литературный язык рядом явлений, приобретенных в последнем, как правило, определенную стилистическую окраску. Как бы нетерпимо ни относились к вэньяню некоторые литераторы, без его языкового богатства оказалось невозможным обойтись (достаточно хотя бы сравнить общие теоретические установки Лу Синя и фактически используемый в его произведениях язык),

и в конечном счете дело свелось к сохранению определенного количества наиболее нужных, точных, экспрессивных слов, устойчивых выражений и синтаксических построений вэньяня.

Картина взаимодействия вэньяня и байхуа, показанная выше в диахроническом плане, оказывается не такой простой при рассмотрении ее в синхронном состоянии. Процесс литературно-языковой ассимиляции многих явлений вэньяня еще не закончился, более того, можно сплошь и рядом столкнуться с проявлением казалося бы «реанимации» вэньяня и, как следствие этого, нечетким противопоставлением вэньяня и байхуа в некоторых речевых стилях. При этом бывает неясна стилистическая роль вэньянизмов, осознавать которую требуется при художественном анализе и переводе. Как представляется, объективная сложность взаимоотношений этих двух языковых пластов и субъективные трудности, связанные с пониманием этих взаимоотношений, объясняются комплексом причин, важнейшими из которых являются активный характер процессов, происходящих в настоящее время в сфере литературного языка, типологические особенности китайского языка (в частности, размытость границ между морфемой и словом), особенности письменной формы речи вообще и связанные с иероглифическим письмом в частности. Именно в свете названных факторов и будет рассмотрена стилистическая дифференциация явлений, относимых к вэньянизмам, и определяемые ею условия и закономерности их функционирования.

Наблюдения показывают, что единицы современного языка, называемые в лингвистических работах элементами вэньяня, или вэньянизмами, неоднородны в плане их отношения к современной литературной норме и распадаются на ряд групп. К первой группе относятся заимствования из вэньяня как литературного языка, т. е. явления, оказавшиеся по той или иной причине жизнеспособными и достойными сохранения в современном литературном языке. Они вошли в плоть и кровь последнего, и чтобы отличить многие из них от новоструктурных образований, требуются известные разыскания. Критерий односложности — двусложности, с которым в известной мере связывается отличие вэньяня от байхуа, здесь применить невозможно, поскольку вэньянь в ходе своего развития насыщался двусложными словами и в этом смысле в определенной степени «плавно» перешел в современный литературный язык. Таковы, например, слова *даньчэнь* «день рождения», *цзуньсюнь* «руководствоваться», *чжуй* «соблезновать», *даньфань* «образец, пример», *минци* «запечатлеть в сердце», *шиши* «скончаться», *чжаочжу* «ясный», *дяоянь* «почтить память умершего» [2]. Обычно такие слова обладают «высокой», торжественной окраской. Они могут быть употреблены и в разговорной речи, если того потребует ситуация общения. К таким же полноправным единицам современного литературного языка можно отнести устойчивые словосочетания-фразеологизмы с архаическими по происхождению компонентами. Обычно под фразеологизмами китайцы понимают главным образом так называемые *чэньюй*, т. е. устойчивые фразеологические словосочетания (чаще четырехсловные), построенные по нормам древнекитайского языка, семантически монолитные с обобщенно-переносным значением, носящие экспрессивный характер и функционально являющиеся одним членом предложения [3]. Однако фразеологических сочетаний с архаическими компонентами намного больше, чем это обычно принято думать. Это весьма обширная группа, куда входят речения паремического характера, крылатые слова, литературные клише, трафареты, литературные цитаты (так называемы *дяньгу*). Благодаря традиционно поощряемому и практикуемому подра

жанию «лучшим» образцам литературы и цитированию их в литературном языке бытует очень много «готовых» выражений, которые, не говоря уж о чэньюях, фиксируются в специальных словарях. Обычно значение таких устойчивых сочетаний, так же как и названных выше слов, ощущается рядовыми носителями языка (неспециалистами) глобально, не покомпонентно¹, поэтому архаический характер их компонентов не выступает явно. К явлениям, подобным перечисленным выше, можно отнести и выражение некоторых синтаксических отношений с помощью пришедших из вэньяня служебных слов и образуемых ими рамочных конструкций: *со, и, эр, вэй... со, вэй... эр* и т. п.

Значительная часть рассмотренных языковых средств имеет книжную окраску, однако будучи неотъемлемой частью соответствующих уровней подсистем языка, входя в системные отношения с другими элементами последних, они вовлекаются в процессы развития этих подсистем, в том числе и в процессы перераспределения стилистической «нагрузки». Например, вэньянизм *ци ю ци ли* «какое безрассудство!», имевший книжную окраску, в силу частого употребления и проникновения в разговорную речь утратил ее, стал общеупотребительным, в качестве же книжного синонима используется выражение *нин ю ши ли ху* [5, с. 490]. Потеря книжности произошла и у выражения *цзун эр янь чжи* «одним словом, в общем». Например, герой рассказа Чжан Тяньи «Двадцать один», речь которого далека от литературной, употребляет его вместе с грубо-вульгарным восклицанием междометного характера *тама*; здесь же употреблен жаргонизм *дайхуа* «быть раненным», что тоже свидетельствует о стилистически сниженном характере речи: *Бу чжидао, цзыци чжэнь ибянь е бу мин. Цзун тама эр янь чжи, во шэмма дифан дайхуала* «Не знаю, просто сам ничего не понимаю. Куда же, черт возьми, меня зацепило?». Не раз отмечалось проникновение в разговорную речь (т. е. снижение уровня книжности) синтаксических рамочных конструкций со служебными словами вэньяня.

Итак, рассмотренные единицы можно отнести к вэньянизмам, лишь имея в виду их происхождение, а не восприятие их в рамках современной литературной нормы. В самом деле, носитель языка, не знакомый с вэньянем, в том или ином объеме, в зависимости от культурного уровня, их понимает и употребляет в соответствии с их стилистическим значением. Недаром в словарях они подаются без стилистических помет, указывающих на их архаический характер.

Ко второй группе средств, являющихся объектом нашего рассмотрения, относятся единицы, встречающиеся в письменном употреблении, но не вошедшие по тем ли иным причинам в литературный язык. Следует отметить, что поскольку процесс сложения литературного языка активно продолжается, граница литературной лексики, так сказать, со стороны вэньяня продолжает оставаться открытой: в литературе встречаются вэньяневские слова, которые еще не вошли (а может быть, и вообще не войдут и будут отвергнуты) в соответствующие синонимические ряды литературного языка, рассматриваемые как системы, т. е. не противопоставились остальным членам этих рядов ни семантически, ни стилистически. Они обычно непонятны на слух, и употребление их не сообщает речи какой-либо окраски, а свидетельствует либо о низкой речевой культуре (в смысле знания современной литературной нормы и ее тенденции),

¹ О различном восприятии внутренней формы китайского слова грамотными и неграмотными см. [4].

либо о стремлении «блеснуть» начитанностью в классической литературе, и если генетические вэньянизмы первой из названных групп не сопровождаются в словарях никакими пометами, а их «возвышенный» характер отражается в толковании, то данные слова приводятся с пометой *шу*, которая объясняется как «слова вэньяня, встречающиеся в письменном виде», например: *бяньчуй* «окраина», *цзанпи* «давать оценку», *нецзун* «преследовать», *цзиньне* «нанести визит», *сицзин* «тропа», *паньцуй* «извилистый» [6]. Подобные единицы мы и называем вэньянизмами. Употребление их обычно подвергается критике, но граница между ними и словами современного литературного языка не является непреодолимой: все зависит от языковой практики литераторов, и бывает так, что слово, ранее осуждаемое как «засоряющее» язык, в силу каких-либо его свойств входит впоследствии в лексическую систему литературного языка. Например, Цао Бохань в 1954 г. писал о слове *хоси* «получить известие, стало известно» как принадлежащем письменной речи, непонятном на слух [7], однако в «Словаре современного китайского языка» [6] оно дается без помету *шу*. Это же относится к словам *шэнь* «очень, весьма», *жуцы* «так, такой», *эрчи* «просто, только и всего», *чжаоси* «изо дня в день, постоянно», *посо* «кружиться, качаться», *чоучан* «грусть», *сяцы* «недостаток, изъян», *синцзин* «преступные деяния», приводимым в одной лингвистической статье, опубликованной в 1956 г. [8].

Вэньянизмы имеются и среди словосочетаний. Как было сказано выше, фразеологизмы с архаическими компонентами мы не относим к вэньянизмам, поскольку фразеологизм — это единица, имеющая или приобретающая стилистическое значение целиком, а не покомпонентно. Однако в литературном языке много не только собственно фразеологических сочетаний, но и просто устойчивых лексических сочетаний, привычных оборотов речи, пришедших из вэньяня, например: *бу кэ хоу фэй* «нельзя особенно упрекать», *у гуань цзинь яо* «несущественно», *ци эр янь чжи* «в крайнем случае», *цзю мин чжи энь* «спасительное милосердие», *тин шэнь эр чу* «встать грудью». По моделям таких оборотов пишущими могут создаваться окказиональные речения с элементами вэньяня. В подобных случаях бывает трудно решить вопрос о степени устойчивости, а следовательно, и о правомерности рассмотрения таких речений в качестве единиц современного литературного языка, обладающих в нем определенной стилистической окраской. Трудность заключается в том, что эта языковая область как раз и является одной из «критических точек» формирования литературного языка, именно здесь «мастера обрабатывают язык», здесь отсеиваются вэньянизмы, которым так и суждено ими остаться, от тех, что становятся единицами литературного языка и, следовательно, могут быть употреблены в любом типе речи, а не только в письменной². Сближение письменного языка с устным, о котором так много говорят в Китае, это и есть процесс, в результате которого вэньянизмы ассимилируются литературным языком. Сближение происходит с двух сторон: устно-разговорная речь, осваивая вэньянизмы, «олитературируется», приближается к письменно-книжной. Тем не менее полного совпадения этих двух типов употребления языка, по-видимому, никогда не произойдет. В стремлении к краткости, афористичности формы «художники слова» всегда будут обращаться к иероглифическому языку, «предлагая» тем самым литератур-

² Ср. сходное замечание Чжао Юаньжэня: «...если литературное выражение встречается часто в речи и если при этом ни говорящий, ни слушающий не чувствуют, так сказать, курсива или кавычек, то оно должно быть признано частью языка» [5, с. 489].

ному языку выбрать из их творчества и закрепить какие-либо единицы. В этом постоянном процессе — один из важных источников развития китайского языка.

Наконец, имеется еще одна группа относящихся к вэньянизмам явлений, существование которых обусловлено особенностями иероглифической письменной речи и размытостью границ между морфемой и словом в китайском языке. Сущностным свойством письменной речи является предназначенность для зрительного восприятия со всеми вытекающими отсюда последствиями: возможностью неоднократно обращаться к письменному тексту для его осмысления и способностью письменной речи отрываться от устной. Этот отрыв достигает различной степени в зависимости от типа письменности. Буквенное письмо в принципе (отвлекаясь от элементов консерватизма в орфографиях некоторых языков) однозначно передает план выражения единиц языка на уровне фонем, иероглифическое же письмо фиксирует слова или морфемы, т. е. единицы содержательные, что при универсальной тенденции письменной речи к экономии и всякого рода сокращениям создает широкие возможности для ее обособления, превращения как бы в самостоятельный графический язык. В данном случае речь идет не об аббревиатурах и сложносокращенных словах как способах сокращения сложных номинативных единиц, а об особом явлении письменной компрессии текста, предпринимаемой в целях экономии усилий, времени, предметов и орудий письма. Примером подобной компрессии могут служить объявления в газетах, тексты толкований в энциклопедических словарях, индивидуальные черновики, конспекты, записи. Компрессия текста проявляется в графическом сокращении слов или замене их условными знаками. В языках с алфавитной письменностью сокращение слов осуществляется побуквенно и имеет пределом возможность понимания значения слова и его синтаксических связей, если, конечно, конкретное сокращение не принадлежит к общепринятым, например, *и др.*, *и т. п.*, *и проч.*, *см.*, *указ. соч.* Пишущий на китайском же языке в целях компрессии текста может либо прибегнуть к усечению двухморфемного слова, записывающегося двумя иероглифами, до одной морфемы, которая в этом случае в соответствии с типологическими особенностями китайского языка приобретает качество слова и совпадает с единицей вэньяня, либо воспользоваться одноморфемным словом вэньяня, передающим то понятие, которое в современном языке выражается инокоренным двухморфемным словом, т. е., например, либо сократить *дида* «прибывать» до *ди*, либо употребить *хуа* вм. *чжунго* «Китай» или *цзи* вм. *цзюши* «именно, то есть». При этом пишущий обычно не преследует какой-либо стилистической цели, что отмечается во многих лингвистических работах. Так, Чжэн Чжидун считает, что употребление служебных слов вэньяня в газетах это в большинстве случаев дань литературной традиции «или стремление сэкономить пару иероглифов в заголовке» [9]. Янь Сю, критикуя утверждение Б. Карлгрена и А. Масперо об односложном характере китайского слова, указывает, что причина этого заблуждения в переносе особенностей письменной речи на весь язык. В подтверждение своей мысли он приводит слова Лу Синя: «Я полагаю, что китайская устная и письменная речь никогда не были одинаковыми, и главная причина этого состоит в том, что иероглифы трудно писать и приходится поэтому некоторые из них выбрасывать» [10].

Вэньянизмы, появление которых в тексте есть результат подобного «телеграфного» употребления языка и которые поэтому существуют лишь в письменном виде, назовем скриптами. Они не обладают стилистиче-

ской окраской и употребление их не связано с «повышением» стиля. Приведем ряд примеров высказываний с ними:

1) *Чжэ тьянь шан'гу чуфан ли юйбэйла сань чжо цзюси. Тан'гу ли ань и чжо* <...>, *ю шанфан (цзи и гу лаотайе ды французань) ли и чжо* <...> *лин и чжо цзюси бай цзай шуфан ли* «В этот день с утра было наготовлено угощения на три стола. Один стол был накрыт в гостиной <...>, другой — в правой комнате наверху (то есть в комнате покойного дедушки) <...>, третий стол с угощениями был поставлен в кабинете».

2) *Юй цзоу* «Собирается уйти» (ремарка в пьесе).

3) *Чжоу цзунли ди Гэбэньхагэнь* «Премьер Чжоу прибыл в Копенгаген».

4) *Цы цзюй кэ бу юн иньхао, юн иньхао е чжи нэн юн юй цзао ман чэнь* *сань цзы* «В этом предложении кавычки ставить не обязательно. Если же ставить, то заключая в них иероглифы „цао ман чэнь“».

5) *Моу хутун ды и чжу да шу ся, шуе ган чу я. Цин Хайянь ли...* «Переулок. Большое дерево, на котором только что распустились листья. Пин Хайянь стоит ...» (ремарка в пьесе).

Здесь в первом примере употреблены вэньязмы *цзи* «именно, то есть», *и* «уже», *гу* «умереть»; во втором — *юй* «хотеть, намереваться»; в третьем — *ди* «прибывать»; в четвертом — *цы* «этот», *цзюй* «фраза, предложение», *кэ* «можно»; в пятом — *ли* «стоять».

Следует отметить, что несмотря на письменный характер бытования скриптизмов, некоторые из них могут при частом употреблении, например, средствами массовой коммуникации войти в общий язык, и тогда это будут уже не скриптизмы. Однако о наличии стилистической окраски можно говорить лишь в том случае, когда единица стала элементом звучащего языка, когда она может появиться (и не без стилистического задания, рассчитанного на определенный коммуникативный эффект) не только в письменной речи. В самом деле, можно ли говорить о наличии стилистического значения у отдельно взятого скриптизма, если он, хотя и является синонимом по отношению к ряду слов, находится вне системы стилистических противопоставлений? Скриптизмы лишь сигнализируют о книжно-письменном характере текста, не обладая сами при этом соответствующей стилистической окраской. Это интуитивно чувствуют и переводчики, которые не передают автоматически скриптизмы на русском языке книжными словами, а переводят их в соответствии с общим стилистическим «тоном» текста.

Возникает вопрос, а можно ли говорить о наличии единой литературной нормы, если пишущие по своему произволу употребляют те единицы звучащей речи, то их компрессированные варианты. Представляется, что можно, поскольку, во-первых, скриптизмы в китайских текстах встречаются не так уж часто, а во-вторых, в их функционировании прослеживается не произвол, а некоторая закономерность, заключающаяся в их приуроченности к текстам определенного типа. Поясним данную мысль.

Как известно, языковое общение может преследовать цель либо объективного, бесстрастного доведения какой-либо информации, либо сообщения фактов, пропущенных через призму авторского отношения к ним. Первый тип изложения (рациональный, или интеллектуальный) ориентирован по преимуществу на содержание, форма здесь играет второстепенную роль; при втором (экспрессивном) активно используются содержательные возможности формы для воздействия на читателя. Тексты первого типа предназначаются для прочтения, второго — для чтения как «постоянного общения между читателем и произведением в познавательных и эстетических целях» [11, с. 31].

Наблюдения показывают, что скриптизмы тяготеют к текстам первого типа, которыми могут быть некоторые жанры официально-деловой и научной речи, информационные сообщения в газетах, заголовки, технические инструкции, наставления, словарные дефиниции и т. п. Крайним проявлением содержательной направленности сообщения и, следовательно, максимального использования скриптизмов являются тексты телеграмм, и в этом случае уже не приходится говорить ни о литературе, ни о литературном языке ³.

Названные выше полярные характеристики текстов являются абстракциями, выделенными, так сказать, в чистом виде. Реальных текстов, которым была бы присуща исключительно одна рациональность или экспрессивность, очень мало. Обычно в текстах эти характеристики перемежаются в соответствии с движением структурно-композиционных элементов, например, страстная публицистическая статья с «рациональным» заголовком, сноска или абзац пояснительного характера в художественно-литературном произведении, подпись под рисунком в корпусе произведения, математическое рассуждение среди текста критико-полемиического характера. Перемежение рассматриваемых характеристик может наблюдаться даже в пределах абзацев, например, «рациональное» вводное предложение в «экспрессивном» абзаце. Таким образом, в текстах «для чтения» содержатся композиционные элементы и словесные ряды ⁴ «для прочтения». Именно этим фактором и определяется частота употребления скриптизмов и их распределение внутри текстов.

Показанная выше картина функционирования скриптизмов отражает объективную (описательную) норму. Что касается мнения лингвистов и литераторов о них, т. е. субъективной (предписательной) нормы, то почти единодушно признается, что их надо изгонять, а письменная речь должна максимально приблизиться к устной. Трудно сказать, в какой степени осуществима эта установка в условиях иероглифической письменности, поскольку между последней и существованием скриптизмов имеется несомненная связь, что признается и китайскими учеными. В частности, Ван Ли полагает, что лишь «с введением новой письменности (имеется в виду буквенное письмо.— К. А.) вэньяневский „осадок“ будет смыт, люди не смогут больше, как это делал Лу Синь, „творить“ слова из вэньяневских иероглифических слов, не смогут употреблять многие мертвые, получившие в современном языке замену, иероглифы вэньяня» [13]. Опыт свидетельствует, что когда в КНДР изъяли из употребления иероглифы, пришлось отказаться от многих иероглифических (так называемых ханмунных) слов, которые были понятны лишь в иероглифическом написании. Для подобных слов в КНДР были специально подобраны исконно корейские эквиваленты, а на Юге Кореи, где сохранилась иероглифическая письменность, продолжают бытовать лексические единицы иероглифического происхождения [14].

³ М. В. Софронов пишет, что «в разговорном стиле и литературно-художественной речи элементы вэньяня неощутимы», и видит в этом «отражение былого противопоставления высокого стиля на вэньяне низкому стилю на разговорном языке» [12]. В свете изложенного представляется, что причина этого заключается еще и в том, что художественная литература — это и есть тексты, предназначенные для чтения. К тому же элементы вэньяня первых двух рассмотренных групп в ней вполне ощутимы.

⁴ Понятие словесного ряда введено В. В. Виноградовым и развито А. И. Горшковым. «Словесные ряды, движение, чередование и развертывание которых образует композиционную структуру текста, ... это не только собственно словарные, лексические ряды, но и ряды всех других языковых единиц и единств, которые могут вестись в слова или составиться из слов» [11, с. 17].

В настоящее время, по всей видимости, пафос борьбы с вэньянизмами обращен главным образом против употребления скриптизмов, выходящего за рамки показанной объективной нормы, против формалистических вывертов, неоправданного подражательства старинной манере письма⁵. Не случайно, что в основном полем борьбы против вэньянизмов являются художественная литература и публицистика, т. е. тексты «для чтения».

Еще одним нарушением рассматриваемой нормы, с которым ведется борьба, является употребление скриптизмов в устной речи. В принципе они по самой своей сути «противопоказаны» ей, однако в языковой коммуникации письменная и устная формы не разгорожены непреодолимой стеной, при этом социальный престиж первой оказывается выше, и в тех случаях, когда требуется показать «грамотность» (оставляя в стороне другие побудительные мотивы), человек, не чувствующий стилистической нормы, может прибегать к скриптизмам. Например, Цао Бохань в указанной работе пишет, что интеллигенты в разговоре часто употребляют непонятные на слух слова, при этом речь идет вовсе не о словах терминологического характера или с каким-то специфическим значением. Данное явление, естественно, считается нарушением нормы, и в художественной литературе оно используется в качестве характерологического средства. Однако, как отмечалось выше, при определенных условиях вэньянизм может стать единицей звучащего языка, приобретая при этом стилистическую окраску. Поэтому определить литературно-языковой статус конкретной единицы на синхронном срезе бывает затруднительно.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Исаев М. И., Никольский Л. Б.* Общие тенденции и факторы развития языков в странах зарубежного Востока // Развитие языков в странах зарубежного Востока (Послевоенный период). М., 1983.
2. Сяньдай ханьюй. Шанхай, 1981. 282 е.
3. *Баранова З. И.* Чэньюй как разряд фразеологизмов китайского языка: Автореф. дис... канд. филол. наук. М., 1969. С. 9.
4. *Пэн Чунань.* Даньиньцзекэй ды шичжи // Сяньдай ханьюй цанькао цзыляо. Шан цэ. Шанхай, 1982. 167—180 е.
5. *Yuen Ren Chao.* A grammar of spoken Chinese. Berkeley and Los Angeles, 1968.
6. Сяньдай ханьюй цыдянь. Байцзин, 1979.
7. *Цао Бохань.* Юйвэнь вэньти пинлуньцаи. Шанхай, 1954. 121 е.
8. *Чжан Шилу.* Сяньдай юй ли ды гуйюцы // Сяньдай ханьюй цанькао цзыляо. Чжун цэ. Шанхай, 1982. 350 е.
9. *Чжэн Чжидун.* Сяньвэнь юйянь бисюй цзэцзинь миньчжун // Сяньдай ханьюй цанькао цзыляо. Шан цэ. Шанхай, 1982. 141 е.
10. *Янь Сю.* Пипань Гао Бэньхань хэ Ма Бодэ ды ханьюй юйфа гуаньдянь // Сяньдай ханьюй цанькао цзыляо. Шан цэ. Шанхай, 1982. 183 е.
11. *Горшков А. И.* Теория и история русского литературного языка. М., 1984.
12. *Софронов М. В.* Книга по стилистике китайского языка // Проблемы Дальнего Востока. 1981. № 2. С. 179.
13. *Ван Ли.* Лунь ханьцзу бяочжуньюй // Сяньдай ханьюй цанькао цзыляо. Шан цэ. Шанхай, 1982. 39 е.
14. *Скорбатько И. Д.* Языковые различия в КНДР и в Южной Корее / Развитие языков в странах зарубежного Востока (Послевоенный период). М., 1983. С. 141.

⁵ К подобным случаям следует отнести и любопытное явление, которое можно назвать стилистической индукцией: когда в тексте приводится цитата на вэньяне, ее ближайший контекст обычно бывает насыщен скриптизмами.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

ДЭЖЕ Л.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГРАММАТИКА И ШКОЛА А. А. ХОЛОДОВИЧА

Направление, разрабатываемое школой А. А. Холодовича, — это одна из разновидностей общей типологии, отличающаяся от типологии, направленной на изучение типов. Настоящая статья не ставит целью дать общую оценку лингвистической деятельности выдающегося советского лингвиста А. А. Холодовича и его последователей¹. Она посвящена только рассмотрению новых типологических концепций, которые связаны с его школой. После краткой характеристики истории общей, или универсальной, грамматики и других источников теории Холодовича в статье рассматриваются теоретические концепции А. А. Холодовича, а также развитие его идей в деятельности его последователей. Статья завершается анализом места универсальной грамматики в современной типологии.

1. В развитии общей грамматики можно выделить два направления: одно восходит к всеобщей и рациональной грамматике Пор-Рояля и разрабатывается во французском общем языкознании XIX в., а другое берет свое начало от трактата В. Гумбольдта о двойственном числе (1827) и находит своих последователей в немецкой лингвистике XIX в. Фактически обе линии четко не обособляются, а в ранней деятельности Л. Ельмслева они даже сливаются. Анализируя истоки идей де Соссюра, А. А. Холодович, однако, подчеркивает именно французскую традицию общей грамматики. Ему было ближе как раз то направление, которое характерно для французского языкознания. Особенно ярко оно представлено трудами Бреалья, который в отличие от многих своих современников сумел должным образом оценить большое значение философской грамматики. Он писал: «Такое разыскание не может не быть плодотворным, и всякое расхождение между грамматикой философской и грамматикой экспериментальной должно повести к рождению новых идей о природе языка и о развитии человеческого мышления» [1, с. 663]. Вместе с тем на взгляды А. А. Холодовича в определенной мере оказали влияние идеи де Соссюра. Это явствует из его характеристики деятельности швейцарского лингвиста, который давал высокую оценку роли общей грамматики в языкознании. Однако истоки взглядов А. А. Холодовича можно найти прежде всего в русской и советской общей лингвистике, в особенности в работах Л. В. Щербы. Большое влияние на концепцию Холодовича, безусловно, оказал и Ф. Ф. Фортунатов: речь идет в первую очередь о систематичности и строгости анализа [2, с. 153—181]. Но в центре интересов Холодовича был синтаксис, а в своих исследованиях он руководствовался принципом «от смысла к форме», в силу чего влияние Фортунатова было опосредованным. Вместе с тем Холодович очень высоко ценил

¹ Группа типологических исследований Ленинградского отделения Института языкознания АН СССР была создана в 1961 г. по инициативе и под руководством А. А. Холодовича.

творчество Фортунатова, в частности, считал, что исследование синтагмы и ее отношения к предложению было проведено Фортунатовым одновременно с Рисом [3 с. 294—295].

В чем же заключалось влияние Л. В. Щербы, который, как известно, мало занимался вопросами синтаксиса? Прежде всего следует отметить, что Щерба ясно видел значение общей грамматики. Как отмечает В. В. Виноградов, «сравнительно-исторической грамматике старого типа Щерба... противопоставляет типологическое исследование языковых структур. Он выдвигает как одну из центральных задач общего языкознания сравнительное изучение структуры или строя различных языков» [4, с. 160]. Разработка активной и пассивной грамматики дала возможность поставить вопрос о построении «идеологической грамматики». Кроме того, Щербу занимало изучение порядка слов, функций фразового ударения и фразовой интонации в пассивном синтаксисе. Перечисляя задачи активного синтаксиса, он отметил ряд тем, изучение которых и сегодня весьма актуально: выражение предикативности, логического суждения, предикативного качественного определения предмета, количества вещества [4, с. 173—175].

Для А. А. Холодовича основные положения Щербы имели решающее значение, но ему предстояло разработать методику грамматического анализа, одинаково применимую к изучению и конкретных языков, и универсальной грамматики, особенно синтаксиса. Лишь после этого можно было предложить определенную программу исследований по универсальной грамматике, которая была бы органически связана с проблематикой грамматической теории. Вопросам методики посвящена статья Холодовича [5]. В итоге анализа разных подходов автор пришел к выводу, что принципы методики, предложенные Л. В. Щербой, могут быть положены в основу теории второстепенных членов предложения, хотя они и не изложены систематически. Следует отметить, что в концепции А. А. Холодовича эти принципы являются отправным пунктом синтаксического анализа. Центральный вопрос — выявление синтаксических отношений по содержанию, по смыслу: «...необходимо, ...чтобы выделенные по смыслу типовые отношения находили опору в форме, если они хотят быть действительно синтаксическими типовыми отношениями» [3, с. 224]. Опору в форме, как указывал Щерба, можно найти в словесном окружении. «В качестве других средств опознания отношения, выявления нового синтаксического значения он (Щерба.— *Д. Л.*) указывает на принципы корреляции с другими конструкциями. Нередко сходные внешние явления на деле принадлежат к двум разным типам отношений только потому, что одно явление коррелирует с какой-то иной конструкцией, а другое — нет... В качестве формального признака он выделяет и порядок следования элементов, например, невозможность перестановки и т. д.» [3, с. 225]. Взгляды Л. В. Щербы в значительной мере способствовали разработке современной методики выделения и опознания частных реляционных понятий; это в большой мере удалось сделать А. А. Холодовичу, теорию которого, однако, нельзя считать только развитием идей Щербы. Во многом он был самостоятелен, и лишь в книге Л. Теньера «Элементы структурного синтаксиса», вышедшей в 1959 г. [6], он мог найти мысли, которые отчасти были сходны с его собственными. Методика американской дескриптивной лингвистики была ему чужда, поскольку исходила из совершенно иных теоретических позиций.

Теория А. А. Холодовича сформировалась уже к концу 50-годов, и хотя целостного изложения она не получила, о ней можно судить по мно-

жеству работ. Мы не будем придерживаться хронологического порядка публикаций, а постараемся наметить основные контуры его концепции. В предисловии к собранию работ А. А. Холодовича, характеризуя своего учителя, В. С. Храковский писал: «В своем подходе к языку А. А. Холодович был прежде всего типологом. Он полагал, что все конкретные языки решают одни и те же смысловые задачи, хотя для решения одной и той же задачи в различных языках, да и в одном и том же языке могут использоваться разные способы и средства. Выделить исходные универсальные смысловые задания и установить набор формальных средств, применяемых для их решения,— вот та цель, к осуществлению которой, по мысли Холодовича, должна стремиться лингвистическая типология. Этой цели было подчинено все его творчество» [3, с. 6]. Последователи А. А. Холодовича разрабатывали проблемы каузации, диатезы (пассива, рефлексива и реципрока), результатива и предикатного актанта. К сожалению, теория порядка слов А. А. Холодовича, которая стала особенно актуальной в наши дни, не была детально разработана.

2.1. Исключительное значение для А. А. Холодовича имел анализ по принципу «от смысла к форме». В своих работах он постоянно учитывал его. Мы напомним в связи с этим четкие и вместе с тем простые формулировки, которые были выдвинуты Холодовичем в связи с проблемой диатезы и залога. Переход от семантики к синтаксису предполагает учет двух «областей». «Область отправления — это обозначение специальным семантическим языком участников ситуации, выраженной... глаголом. Участники ситуации — это, например, субъект, объект, инструмент, исходная точка, адресат и т. д.» [3, с. 279]. «Область отправления» описывается в универсальных семантических терминах, а «область прибытия» — в универсальных синтаксических терминах членов предложения: «Область прибытия — это обозначение специальным синтаксическим языком участников языковой структуры, т. е. членов предложения: подлежащего, прямого дополнения, косвенного дополнения и т. п.» [3, с. 279]. Соответствие между двумя «областями» образует диатезу: «Диатеза — это схема соответствия между единицами синтаксического уровня и единицами семантического уровня» [3, с. 284].

Понятие диатезы в течение ряда лет было в центре внимания школы Холодовича, ей было посвящено несколько публикаций. Частным случаем диатезы является залог: «...з а л о г ... обозначение или указание в глаголе соответствия элементов синтаксического уровня элементам семантического уровня» [3, с. 286]. В том случае, если можно определить конечное число единиц области отправления и области прибытия, можно, и даже необходимо, пользоваться исчислением, которое учитывает все логические возможности соответствия. Однако ни один язык не реализует всех заложенных в нем семантических возможностей, и языки отличаются друг от друга набором схем соответствия, или диатез. Идея использования исчисления в лингвистике возникла еще в XVII в., затем ее применяли А. Шлейхер [7] и Л. Ельмслев ([8], ср. [9]).

Проблема залога является одним из центральных вопросов синтаксической типологии и связана с рядом других ее понятий: каузативом, результативом, перфектом, конструкцией предложения и системой падежей и др., но, как правильно отметил А. А. Холодович, «...может быть, проблемой номер один... является проблема выбора залога при порождении текста» [3, с. 291]. Данный круг вопросов является ключевым для пре-

подавания любого иностранного языка, обладающего пассивом, в том числе и русского: «Мы учим иностранца, как образовать тот или иной залог, но как и когда и в каком контексте его употребить или наложить запрет на его употребление, мы иностранцев не учим» [3, с. 292]. Часть проблем, отмеченных автором, вошла в программу исследований школы Холодовича (каузатив, результатив), а ряд вопросов (в частности, связь пассива с контекстом) еще ждет своих исследователей.

2.2. Анализ теоретической концепции А. А. Холодовича позволил выделить основные проблемы, стоявшие в центре его внимания и развитые впоследствии его учениками. Следует, однако, более детально остановиться на синтаксическом компоненте, который был в центре внимания ученого в 50-е годы и служил основой для решения первой «смысловой задачи» — каузации.

Вопросы синтаксиса рассматриваются Холодовичем в цикле статей, из которых наиболее значительной для позднейших типологических исследований следует считать [10], где дается конкретная методика анализа и намечены задачи исследовательской программы. В соответствии с синтаксической концепцией А. А. Холодовича центральное место в предложении занимает глагол. Он является ядром, оптимальное окружение которого составляют актанты, выражающие валентность глагола, а выделение валентностных подклассов глагола осуществляется с помощью ряда операций. Вначале выделяются конфигурации с финитным глаголом, затем определяются оптимальные окружения, которые классифицируются по количеству «мест» (*Светает; Он спит; Она разбила стакан* и т. д.). В дальнейшем окружения оказываются однородными или неоднородными по классам слов (*Малыш читает азбуку; Он собирается спать*), причем члены переменного окружения могут принадлежать к разным уровням (*Он знает меня; Он знает, что я писатель*), т. е. быть словом или предложением. Затем определяются подклассы слов окружения, например, лиц и не-лиц в валентности глагола *дарить: Я подарил ему книгу*. Последняя операция — это «испытание на референта»: *Мы избрали его председателем*, где три члена, но два референта. Такой метод ныне получил широкое распространение и уже давно вошел в практику синтаксического исследования. Но в конце 50-х годов он явился значительным вкладом в методику синтаксического анализа. Метод оказался весьма существенным для типологического исследования разноструктурных языков, которое было бы едва ли возможно без единой методики. Представленный выше ход операций составляет лишь основной раздел общей грамматики: «Есть еще две операции, которые, собственно говоря, принадлежат уже иному разделу общей грамматики — учению о конфигурациях и их соотношении. Мы имеем в виду испытание на обращение и преобразование. В языке помимо основных, исходных конфигураций существуют конфигурации о б р а щ е н н ы е (например: *Письмо мною прочитано* по отношению к *Я прочитал письмо*) и конфигурации п р е о б р а з о в а н н ы е (например: *об его отъезде* в предложении *Я вспоминаю об его отъезде* по отношению к *Он уезжал*)» [3, с. 242]. В циклах исследований школы Холодовича эти две операции стали определяющими при описании диатез и предикатных актантов, которые составляют два важных раздела общей, или универсальной, грамматики и вместе с тем типологии вообще.

В современной универсальной грамматике более или менее переплетаются универсальный и собственно типологический компоненты. А. А. Холодович различал их довольно четко. Упомянутые выше операции относятся к универсальному компоненту, связанному с грамматичес-

кой теорией. На них основывается типологический компонент, который учитывает разнообразие формальных средств конкретных языков. Оба компонента, однако, тесно взаимосвязаны и в данном случае: «...число необходимых операций и их последовательность в немалой степени зависят от характера того или иного языка, в первую очередь от формального потенциала слова в данном языке. Для языка, в котором формальный потенциал слова достаточно велик, очевидно, можно ограничиться некоторым минимумом операций, чтобы в общем безошибочно выделить подклассы и их значения. Все же... с увеличением числа операций увеличивается и надежность выделения подклассов» [3, с. 243]. В определении подклассов слов учитывались «свойства высказывания как объекта», т. е. связи слов без отражения в них семантического плана: «Но слова можно объединять в группы, рассматривая язык не как объект, а как отображение другого объекта (чаще всего действительности). В этом случае выделяются группы отношения (транзитивная группа, факитивная группа и т. п.). Разумеется, что в плане речи они реализуются самым различным способом» [3, с. 254].

2.3. Работа [11] была опубликована А. А. Холодовичем в 1966 г. Она тесно связана с циклом его работ, вышедших в 1959—1961 гг. (в ней учитывается и известная статья Дж. Гринберга о некоторых универсалиях грамматики, и в частности о порядке значимых элементов). Статья А. А. Холодовича ставит целью создание общей теории порядка слов: «Такая общая теория...должна решать по крайней мере две задачи: во-первых, она должна определять общий вид правил порядка слов в предложении, во-вторых, она должна, опираясь на некоторые признаки, или, как теперь принято говорить, параметры, перечислить все логические возможности, существующие в этой области языка, иными словами, дать типологию порядка слов» [3, с. 255]. Следуя традиционной лингвистике и пользуясь терминологией грамматики зависимостей, автор определяет две типологии порядка слов: «правило хозяина» и «правило слуги». «„Правило хозяина“ определяет положение такого элемента *a* относительно такого элемента *b*, которые связаны друг с другом структурно отношением непосредственной зависимости; например: *пью пиво, тяжело дышу, густой туман...* традиционная грамматика интуитивно всегда отмечает положение слуги относительно хозяина, а не наоборот: определение предшествует определяемому, ...дополнение предшествует дополняемому» [3, с. 256—257]. В истории изучения типологии порядка слов (в частности, в универсалиях Дж. Гринберга) основное внимание обращалось именно на этот цикл правил в расположении именных членов предложения (особенно подлежащего и дополнения) относительно глагольного сказуемого. В исследованиях, развивавших типологию порядка слов Дж. Гринберга, «правило хозяина» заняло центральное место: основные типы OV и VO представляют собой два множества правил расположения всех значимых элементов. «Правило хозяина» дополняется «правилом слуги». Последнее «определяет положение такого элемента *b* относительно такого элемента *c*, которые связаны друг с другом не отношением непосредственной зависимости, а отношением зависимости от третьего элемента *a*. Например, в сочетании *возвратил соседу долг* члены биннома *соседу долг* связаны отношением зависимости от слова *возвратил*» [3, с. 257]. Они гораздо сложнее, т. к. один «хозяин» может иметь значительное количество «слуг», причем самых разнообразных по форме и значению. «Правила хозяина», по мнению А. А. Холодовича, предшествуют «правилам

слуги». Об этом свидетельствует, на наш взгляд, и история изучения порядка слов, в которой все еще детально не разработаны «правила слуги».

Рассматривая порядок слов, А. А. Холодович последовательно различает абстрактные возможности расположения биномов: «хозяин — слуга» или «слуга — слуга» и правила порядка слов, которые могут существовать в различных языках. В отношении «хозяин — слуга» абстрактно следует различать свободный и фиксированный порядок. При свободном порядке слов «слуга» занимает оба положения относительно «хозяина» (например, венг. *ebédet főz* «обед готовит», *főz ebédet* «готовит обед»), при фиксированном единственное положение (венг. *jó fiú* «хороший мальчик»). В конкретных языках, в том числе и в венгерском, наблюдается и «переменный» порядок, допускающий и свободное, и фиксированное расположение «слуги». В «правилах слуги» может иметь место «лабильный» порядок (если один «слуга» может занимать относительно другого «слуги» оба положения; ср.: *Сегодня мне не работается и Мне сегодня не работается*, т. е. косвенное дополнение и обстоятельство могут взаимно меняться местами), но может быть и фиксированный порядок. Лабильный и фиксированный порядок слов в «правилах слуги» могут совмещаться друг с другом в одном и том же языке.

При изучении порядка слов в конкретных языках особая роль принадлежит исчислению. А. А. Холодович рассматривает лишь возможности в языках с фиксированным порядком слов при наличии двух «хозяев», каждый из которых имеет по два «слуги». В результате получается шесть логически возможных типов расположения «слуг» относительно «хозяев», что и представляет собой исходную базу описания порядка слов. При этом учитывается только синтаксическая структура, правила которой нуждаются в дополнении закономерностями семантического компонента: «...и при отображении семантической структуры на линейную действуюю правила двоякого рода: правила предиката и правила аргумента. Правила предиката определяют положение аргументов относительно предиката, а правила аргумента — положение одного аргумента относительно другого» [3, с. 266]. В примерах: (а) *помню чудное мгновение*, (б) *мгновение чудное помню* в варианте (а) «слуга мгновение» стоит справа от «хозяина» *помню*, а «слуга чудное» слева от «хозяина» *мгновение*, а в варианте (б) — наоборот. В семантическом плане предикат *помню* имеет аргумент *мгновение*, предикат *чудное* аргумент *мгновение*. Расположение аргументов относительно предикатов одинаково: предикаты (*помню* и *чудное*) стоят в (а) слева, а в (б) справа относительно аргумента (*мгновение*), т. е. наблюдается простая симметричность. Мы можем полностью согласиться с выводом А. А. Холодовича: «Рассматривая вопросы порядка слов, мы обычно говорим на языке синтаксиса. В действительности следует говорить как на языке синтаксиса, так и на языке семантики одновременно» [3, с. 268]. Выше были представлены лишь проблемы «базисной типологии порядка слов», которой далеко не исчерпывается типологическая проблематика, как это было отмечено А. А. Холодовичем. Специфическая сложность порядка слов состоит в переходе «с многомерного „языка“ синтаксической и семантической структуры к одномерному „языку“ линейной структуры» [3, с. 268].

В работе А. А. Холодовича о типологии порядка слов представлены некоторые существенные черты теоретической базы изучения словоупорядка в рамках универсальной грамматики, причем возможные типы только отмечены. В результате читатель получает хорошее представление о том, как выглядит универсальная грамматика без типологического ком-

понента. По сравнению с универсалиями Дж. Гринберга теория А. А. Холодовича очень абстрактна и, на первый взгляд, ничего не обещает для типолога. Она и не находила отклика среди типологов, в то время как универсалии Дж. Гринберга, основанные частично на конкретных исследованиях и создании комплексной типологии (в работах В. Лемана и других). В наши дни, однако, такая типология натолкнулась на ряд серьезных трудностей: в свете новых результатов типологического изучения строя предложения ставятся под сомнение основные термины и понятия. Кроме того, обнаружались новые типы языков. Это не означает ошибочности эмпирических результатов данного направления, но позволяет считать, что указанная концепция не может претендовать на роль «всеохватывающей» типологии и является лишь частью более общей типологии, которую следует строить на фоне универсальной грамматики. Это соответствует и естественному развитию науки. Разработке такой более общей типологии способствует теория А. А. Холодовича и, может быть, именно она будет служить ее основой или отправной точкой.

В качестве иллюстрации для сопоставления двух подходов кратко представим типологию порядка первого и второго аргумента семантического предиката по «правилам хозяина» у А. А. Холодовича (I, II, III) и порядок расположения аргументов по «правилам слуги» (1, 2). Для простоты первый аргумент обозначается как S (субъект), а второй как O (объект): I. (1) SOV, (2) OSV; II. (1) VSO, (2) VOS; III. (1) SVO, (2) OVS. В результате в I, II, III (1) по «правилам слуги» получаются более обычные основные порядки — SOV, VSO, SVO, а в I, II, III (2) их вторичные варианты — OSV, VOS, OVS. В типологии Дж. Гринберга конфигурации (1) отмечены как первичные, а конфигурации (2) как вторичные варианты, что по данным многих языков не является универсалией: для более полной типологии следует учитывать все возможности взаимодействия правил «хозяина» и «слуги». Рекомендация А. А. Холодовича («следует говорить как на языке синтаксиса, так и на языке семантики одновременно» [3, с. 268]) обращает внимание на необходимость изучения семантически идентичных, но формально-синтаксически неодинаковых структур в различных языках. При сопоставлении русских пассивных конструкций с венгерскими мы обнаружили, что расположение семантических единиц до известной меры одинаково в обоих языках, хотя венгерский не знает пассива, а пользуется разными структурами там, где в русском употребляется пассив.

3. Проект универсальной грамматики был реализован в результате коллективных усилий сотрудников ленинградской типологической группы. К сожалению, мы не имеем возможности остановиться на всех решенных задачах исследовательской программы: для этого мы должны были бы ознакомить читателей с 15 книгами и с десятками статей многих авторов. Поэтому мы ограничимся лишь рассмотрением некоторых идей, которые считаем существенными для развития типологии, высказывая по ходу изложения наши критические замечания.

3.1. Осуществление исследовательской программы началось с изучения каузативных конструкций вообще и морфологического каузатива в особенности. Книга [12] была опубликована в 1969 г.² На материале 15 языков в ней дается детальное описание морфологических каузативных,

² Книга В. П. Неядлкова [13] была первой монографией об аналитических каузативных конструкциях с немецким глаголом *lassen*.

фактивных и антикаузативных конструкций. В этой небольшой книге содержится предельно сжатая информация, для оптимального изложения которой потребовался бы значительно больший объем. От этого особенно пострадал общий теоретический раздел, в котором мы находим типологически весьма существенные обобщения (ср.: «Можно констатировать большую продуктивность каузативных аффиксов в сочетании с V^{in} , чем в сочетании с V^{tr} . Существуют языки, в которых каузативные аффиксы присоединяются... только к V^{in} ... По-видимому, нет языков, в которых каузативные аффиксы присоединялись бы только к V^{tr} » [12, с. 25—26]). У читателя возникает впечатление, что в книге не хватает заключения, обобщающего результаты анализа конкретных языков; ведь не будет же читатель-лингвист сам читать все статьи и делать обобщающие выводы вместо авторов. Это, кстати, относится и к другим книгам по универсальной грамматике. В большинстве случаев из-за разноречивых теоретических установок, из-за отсутствия единства в описании конкретных языков определенные обобщения едва ли возможны. Однако там, где имеется единый подход, как в данном случае, они необходимы.

3.2. Одной из центральных «смысловых задач» школы Холодовича было исследование диатезы и залога. Ей было посвящено несколько конференций в Советском Союзе и за рубежом; был опубликован ряд книг, из которых самые интересные [14, 15]. Выше (2.1) мы привели определения диатезы и залога, данные А. А. Холодовичем в 1970 г. В 1972 г. на конференции в Берлине М. М. Гухман подвергла критике его определение: «Положительным аспектом этой концепции является общий характер определения. Неясным, однако, остается, какое содержание придается понятию „ситуация“ и что именно означает в этом контексте термин „субъект“. Далее неясно, категориями какой глубины оперирует данное определение, тем более, что употребляемый без всяких уточнений термин „субъект“ может обозначать а) единицу коммуникативного членения предложения, б) носителя любого признака и в) субъект действия (агенса) в собственном смысле этого слова» [16, с. 27]. Мы согласны с замечанием М. М. Гухман относительно необходимости уточнения определения, что и было сделано в дальнейшем В. С. Храковским, который предложил «называть диатезой соответствие единиц трех уровней: 1) уровня референтов, единицы которого обозначаются как А, Б, В, . . . ; 2) уровня обобщенных семантических ролей референтов, единицы которого обозначаются как S_b , Ob_1 , Ob_2 , Ob_3 , . . . ; 3) уровня участников языковой структуры (= имен референтов), т. е. актанта, единицы которого обозначаются как Π , $D_{пр}$, D_k , $D_{ар}$ » [17, с. 10—11]. В этом определении учитываются три уровня и их соотношения и вместе с тем уточняются семантический уровень и его единицы: «Думается, что было бы неправомерно уровень обобщенных семантических ролей — субъекта и объектов — характеризовать как семантико-синтаксический... Процедура замены конкретных семантических ролей ролями субъектов и объектов, т. е. операция обобщения, осуществляется в семантической сфере, а не в синтаксической. Другое дело, что обобщенные семантические единицы удобнее сопоставлять с обобщенными синтаксическими единицами» [17, с. 13]. Содержание книг о диатезах и залогах настолько богато, что охарактеризовать его в одной статье просто невозможно. Отметим только, что описаны пассивные, рефлексивные и реципрокные конструкции десятков языков. В публикациях материалов международных конференций по этому кругу вопросов раскрывается широкий диапазон взглядов ученых разных стран и направлений.

3.3. В книге [18] рассматривается сложная проблематика, которая связана с пассивом, но пересекается также с вопросами аспектуальности, перфекта и с рядом других. Теоретическим проблемам посвящена четверть книги, а остальная часть — описанию выражения результата в конкретных языках и его связи с другими явлениями. Редактор книги В. П. Недялков, следуя А. А. Холодовичу, дает широкое определение результата и статива: «Результативом именуется форма, обозначающая состояние предмета, которое предполагает предшествующее действие. Различие между стативом и результативом состоит в том, что статив сообщает только о состоянии предмета, результатив же — одновременно о состоянии и о предшествующем ему действии, результатом которого явилось это состояние» [19, с. 7]. Можно вполне согласиться с выводом автора: «На практике отличить статив от результатива... бывает нелегко. Поэтому... этим термином обозначаются и результаты в узком смысле и стативы» [19, с. 8]. Вводный раздел характеризуется такой же четкостью и сжатостью, как и в других книгах, но у читателя возникает впечатление, что изучение этой комплексной проблемы нуждается в продолжении, а то, что уже сделано, представляет собой лишь первый этап исследования (особенно интересной является глава, написанная Ю. С. Масловым, «Результатив, перфект и глагольный вид», в которой прослеживается развитие индоевропейского перфекта).

3.4. Конструкции с предикативными актантами — тема, завершенная совсем недавно. Первый том исследований [20] вышел в 1981 г., а второй [21] — в 1985 г. Вначале перечислим предложения, которые иллюстрируют объект исследования: *Я умею плавать; Журналист помедлил с вопросом; Проверка началась*. В этих и аналогичных предложениях минимум один синтаксический актанта глагола имеет предикатное значение и выражается инфинитивом, инфинитивной конструкцией, отглагольным существительным или придаточным предложением. В качестве главного слова может выступать не только глагол, но и другая часть речи, а для выражения актанта в разных языках имеется широкий диапазон конструкций. Из описания разных языков хорошо известны разряды глаголов, выступающих в функции главного слова. Они рассмотрены в теоретическом разделе, написанном В. Б. Касевичем и В. С. Храковским. Семантический анализ таких глаголов привел авторов к выводу, что они отличаются непредикатным характером, многие из них не имеют форм императива, пассива и обладают неполной парадигмой. Для того чтобы понять их роль, следует уточнить отношение разных уровней в переходе от смысла к предложению, пересмотреть понятие ситуации и ввести компонент коммуникативной рамки [20, с. 25].

Глаголы, выступающие в качестве главного глагола, названные функциями, можно объединить в два разряда: 1) грамматические (каузативные, модальные, фазовые, аспектуальные, темпоральные, обстоятельственные, таксисные), 2) модусные (речи, мысли, памяти, знания; эмоций; ощущения, представления, восприятия, оценочные). «Классификационная сема грамматических глаголов в принципе может выражаться стандартными грамматическими средствами: аффиксами, служебными словами и др., они не обозначают ситуаций. Модусные глаголы обозначают ситуации, отражающие вербальную и психическую деятельность человека. Вводя пропозицию, любой из этих глаголов делает ее предметом речи, ибо отражает определенное конкретное отношение к этой пропозиции» [20, с. 6]. Актантам модусных глаголов можно приписать и семантические роли, что невозможно для актантов грамматических глаголов.

Обобщение большого эмпирического материала свидетельствует о том, что «оформление предикатного актанта зависит как от морфологического типа языка, так и от семантики» [20, с. 7]. Средства выражения расположены в пространстве между двумя полюсами: на одном полюсе изолирующие языки, не имеющие особых форм для предикатных актантов, а на другом — синтетические языки (типа эскимосского), в которых предикатный актант получает специфическое оформление. Между ними находим большое многообразие средств агглютинативных и флективных языков. Конструкции с предикатными актантами являются разновидностью более широкого класса конструкций, куда входят и конструкции с предикатным сирконстантом и с предикатным определением ([20, с. 7—8], ср. [21, с. 102—118]).

В ходе анализа предикатных актантов последователям А. А. Холодовича удалось глубже и точнее сформулировать постулаты подхода, который дает возможность проследить путь порождения предложения от действительности через семантику к синтаксису. Нам кажется, что своей недавней публикацией [22] сторонники концепции Холодовича, наметив новую программу исследования, сделали большой шаг вперед в этой области. Семантические операции, однако, очерчены лишь «в первом приближении», и детально их можно будет оценить только после выполнения программы.

4. С точки зрения общей типологии концепция А. А. Холодовича и его последователей характеризуется следующими чертами: постулируется универсальная грамматика, ориентированная на функцию, изучаемую через форму; в центре такой грамматики стоит предложение, причем ее особенностью является использование понятия исчисления. Рассмотрим вкратце каждую характерную черту, учитывая и другие подходы к общей типологии.

Еще В. Гумбольдт отметил три направления исследований по общей типологии: изучение типов, общую, или универсальную, грамматику и типологическую характеристику. Главным направлением стало изучение типов, которое часто и отождествляется с типологией. В. Гумбольдт ясно видел, что типы не могут охватить огромного многообразия структуры человеческого языка. Это и естественно. Несмотря на развитие учения о типах, оно может обобщить только часть наших знаний о структуре языка. Такое положение едва ли изменится, потому что развивается не только изучение типов, но накапливаются и обобщаются данные о структуре человеческого языка вообще. Универсальная (или, как раньше она называлась, — общая) грамматика прошла в XIX в. значительный путь, и в наши дни бурный рост общей типологии не может обойтись без учета исследований по универсальной грамматике. Огромной заслугой А. А. Холодовича и его школы является именно то, что они впервые разработали современный подход к общей типологии. Разумеется, универсальная грамматика не снимает необходимости изучения типов. Их соотношение не выяснено, что объясняется в основном тем, что конкретные области их применения различны, в связи с чем их нельзя сравнивать чисто эмпирически. Различны и пути исследования: еще со времен В. Гумбольдта универсальная грамматика рассматривала подсистемы и лишь потом их объединяла. Такой же «тематический подход» наблюдается также в ряде исследований по универсальной грамматике, в которых изучаются понятия субъекта, объекта, транзитивности, эргативности и др., хотя это делается изолированно.

Современное изучение типов является уже комплексным, охватывающим существенные черты нескольких подсистем языка. Ясно, однако, что

универсальная грамматика и изучение типов в конечном счете дополняют друг друга, являясь двумя компонентами общей типологии; противопоставлять их друг другу не имеет смысла. Оба вида исследования имеют «выход» к типологической характеристике отдельных языков, которая не исчерпывается простой иллюстрацией наличия определенных типов в данном языке, а заключается в определении его специфики.

Хотя изучение типов и универсальная грамматика возникли приблизительно одновременно, изучение типов следует считать «старшим братом», его использовали для характеристики многих языков, в исторической грамматике, оно все больше входит в методологию синхронного и диахронического исследования. Универсальная грамматика еще далека от этого. В синхронии ее применяют к описанию отдельных языков, но в диахроническом аспекте сделано мало, здесь следует решить ряд теоретических вопросов, опираясь на анализ истории конкретных языков.

Если пользоваться известными терминами Р. Якобсона «комбинация» и «селекция», то концепция Холодовича и его последователей ориентирована на комбинацию. Смысловые задачи оформляются по линии комбинации: каузация (с учетом каузативных конструкций), диатеза (и пассивные конструкции), результативность (и соответствующие конструкции). Разумеется, современное понимание комбинации уже значительно отличается от того, которое имел в виду Р. Якобсон. Преимущество такого подхода к типологии заключается в том, что открывается непосредственный выход к коммуникации через предложение. Смысловые задачи, однако, можно оформить и с опорой на селекцию, как это делается в кельнском проекте Х. Зайлера, который ориентирован на познавательную функцию и на когнитивную психологию [23]. Как в языковой деятельности, так и в типологии комбинации и селекции коммуникативная и познавательная функции обуславливают друг друга и переплетаются. В ходе осуществления своей программы кельнский проект приближается к комбинации, а вместе с тем и к коммуникации. В концепции Холодовича, как было показано выше, все большее место занимает познавательный аспект.

Для общего языкознания второй половины XX в. характерна ориентация на предложение, что отразилось и в типологии в отличие от прежней типологии, в которой господствовала морфология, а к синтаксису подходили также со стороны морфологии. Есть типологи, которые считают, что возможности морфологической типологии вообще исчерпаны, что явно ошибочно: ведь типологией обобщена лишь незначительная часть морфологической информации, которая служит надежной основой для дальнейшего исследования, как это показывают материалы [24]. Необходимо, однако, заново рассмотреть соотношение синтаксиса и морфологии в теории грамматики и особенно в типологии. Результаты исследований сторонников концепции Холодовича и других типологических направлений с ориентацией на синтаксис следует сопоставить с достижениями традиционной типологии, ориентированной на морфологию, на изучение ресурсов селекции. При этом нельзя забывать о том, что средства селекции не просто служат для комбинации, но имеют свои собственные закономерности.

Методологический прием исчисления в форме принципа или конкретного метода был свойствен общей и универсальной грамматике в ходе всего ее исторического развития. Как отмечено выше, исчисление имеет свои преимущества не только в принципе, но и на практике. Его применение зависит от объекта и степени его изученности, оно предполагает объект, который уже хорошо изучен и его компоненты надежно опреде-

лены. Если этого нет, то можно использовать его лишь в качестве принципа, требующего учета всех факторов и их сочетаний с точки зрения семантики и грамматики.

В наши дни бурное развитие типологии вызывает необходимость создания книг, излагающих достижения типологии в форме, доступной для лингвистов-нетипологов. Такие книги публикуются и пользуются большой популярностью. Разумеется, в каждой из них, несмотря на стремление к объективности, отражаются и особенности определенных теоретических направлений. Видимо, уже назрело время подытожить теорию, методику и результаты исследований Холодовича и его последователей с учетом современного состояния типологии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Холодович А. А. Фердинанд де Соссюр // Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М., 1977.
2. Фортунатов Ф. Ф. Избранные труды. Т. I. М., 1956.
3. Холодович А. А. Проблемы грамматической теории. Л., 1979.
4. Виноградов В. В. Общелингвистические и грамматические взгляды академика Л. В. Щербы // Виноградов В. В. История русских лингвистических учений. М., 1978.
5. Холодович А. А. О второстепенных членах предложения (из истории и теории вопроса) // ФН. 1959. № 4.
6. Tesnière L. *Éléments de syntaxe structurale*. P., 1959.
7. Schleicher A. *Zur Morphologie der Sprache* // Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences St. Petersbourg. Ser. VII. 1859. T. 1. № 7.
8. Hjelmslev L. *Principes de grammaire générale*. Copenhagen, 1928.
9. Whitfield F. J. Louis Hjelmslev's position in genetic and typological linguistics // *Travaux linguistiques de Copenhague*. 1980. 20.
10. Холодович А. А. Опыт теории подклассов слов // ВЯ. 1960. № 1.
11. Холодович А. А. К типологии порядка слов // ФН. 1966. № 3.
12. Типология каузативных конструкций. Морфологический каузатив. Л., 1969.
13. Неделков В. П. Каузативные конструкции в немецком языке. Л., 1971.
14. Типология пассивных конструкций. Диатезы и залогов. Л., 1974.
15. Залоговые конструкции в разноструктурных языках. Л., 1981.
16. Guchman M. M. *Die Ebenen der Satzanalyse und die Kategorie des Genus verbi* // Satzstruktur und Genus verbi. Berlin, 1976.
17. Храковский В. С. Диатезы и референтность (к вопросу о соотношении активных, пассивных, рефлексивных и реципрокных конструкций) // Залоговые конструкции в разноструктурных языках. Л., 1981.
18. Типология результативных конструкций (результатив, статив, пассив, перфект). Л., 1983.
19. Неделков В. П., Яхонтов С. Е. Типология результативных конструкций // Типология результативных конструкций (результатив, статив, пассив, перфект). Л., 1983.
20. Категория глагола и структура предложения. Конструкции с предикатными актантами. Л., 1981.
21. Дажё Л. Типологическая характеристика русской грамматики в сопоставлении с венгерской. Будапешт, 1984.
22. Типология конструкций с предикативными актантами. Л., 1985.
23. *Language invariants and mental operations*/Ed. by Seiler H., Brettschneider G. Tübingen, 1985.
24. Теоретические основы классификации языков мира. I—II. М., 1980—1982.

СЛЮСАРЕВА Н. А.

ОБ АНГЛИЙСКОМ ФУНКЦИОНАЛИЗМЕ М. А. К. ХЭЛЛИДЕЯ

Во многих работах последних лет неоднократно отмечалось, что функционализм как своеобразное направление языкознания второй половины XX в. привлекает к себе все большее и большее внимание. В его пределах сложились разные школы, как за рубежом (в Чехословакии, Франции, Англии, Нидерландах и других странах [1—3]), так и у нас (достаточно назвать труды Т. М. Николаевой, О. А. Лаптевой, Г. А. Золотовой, А. В. Бондарко, Д. Н. Шмелева, Е. А. Реферовской и многих других ученых). Невольно возникает вопрос, почему функционализм в лингвистике, зародившийся еще в 30-е годы, получил распространение примерно через полвека. Это можно объяснить, во-первых, тем, что совершился отход от широковещательных деклараций структурализма разных школ и в лингвистике наметилась тенденция к поиску новых путей развития (теории логической семантики, речевых актов и др.). Во-вторых, начала сказываться неудовлетворенность и другим крайним направлением — лингвистикой текста, возвращавшей, как поначалу казалось, языковедческие интересы в лоно филологии. Если ориентация на внутреннюю структуру языка обогатила языкознание многочисленными методами анализа, то многогранность текста создала опасность для размывания контуров лингвистики. В условиях соперничества этих направлений науки о языке рост влияния функциональной лингвистики вполне закономерен, поскольку она, занимаясь внутренними особенностями языка, в то же время признает и учитывает семиотический характер его социальной природы и его использование в целях общения. Функциональная лингвистика вбирает в себя все лучшее, что было накоплено как при исследованиях внутренней структуры языка, так и при изучении лингвистических особенностей текста.

Неудивительно, что в этих условиях наиболее плодотворной оказалась область функциональной грамматики, т. к. в ее категориях, элементах и отношениях наиболее зримо раскрывается язык в действии. Функционирование языка в речи, в реальных ситуациях общения непосредственно связано с человеческим фактором в языке, поскольку именно в общении, в речи индивид использует язык в соответствии со своим коммуникативным намерением. Функциональная грамматика занимается изучением формализованных особенностей использования языка, которые фигурируют в различных речевых произведениях — от реплик диалога до развернутого прозаического текста книги.

Эти черты функциональной грамматики достаточно явственно проступают в книге М. А. К. Хэллидея «Введение в функциональную грамматику» (1985), в которой автор как бы подводит итоги своих многолетних исследований в данной области и которую мы кладем в основу нашего обзора [4].

Эта книга состоит из двух частей: I «Простое предложение» (The clause)¹ и II «Выше, ниже и за пределами простого предложения», которым предпослано большое теоретическое Введение. Книга завершается тремя «Приложениями» с развернутым анализом некоторых типов текста.

Автор определяет функциональный подход как интерпретацию: (а) текста, (б) системы и (в) элементов языковой структуры, иными словами, того, как язык используется (развивается теория, представленная ранее в ряде известных работ М. Хэллидея) [5—8].

Исходя из того, что лексико-грамматическая система в целом является реализацией семантической системы (т. е. того, что говорящий может мыслить), а система мысли в свою очередь является реализацией того, что он может делать, Хэллидей выделяет в качестве функциональных основные компоненты значения. Ими являются прежде всего следующие метафункции: два компонента значения — понятийный, или отражательный (ideational, or reflective), и межличностный, или деятельностный (interpersonal, or active), третьим является текстовый компонент. Первые два лежат в основе всех использований языка и дают возможность «(1) понимать окружение и (2) воздействовать на других в этих условиях» (с. XIII), а третий обеспечивает значимость двух первых. Вся книга посвящена показу того, какими средствами располагает в английском языке каждый компонент.

Хэллидей называет свою теорию грамматики системной, т. к. язык является семиотической системой и основывается на сети взаимосвязанных возможностей, которыми располагает говорящий для выбора из состава единиц языка при выражении смысла в данной ситуации общения. Однако отметим, что использование термина «система» не совпадает с принятым в нашей научной традиции. Дело в том, что Хэллидей следует идеям своего учителя Дж. Р. Фёрса, считавшего, что языковой контекст дает возможность устанавливать в нем два типа отношений между единицами языка: горизонтальные — в структуре, т. е. в синтагматике, и вертикальные — в системе, т. е. в парадигматике [9]. Сам Хэллидей указывал и ранее, что кроме этих идей он разделяет многое, созданное Л. Ельмслевом, Пражской школой, С. Лэмом и К. Пайком. Система, таким образом, устанавливается в виде сетки формализованных в языке категорий, из числа которых говорящий выбирает, строя свои высказывания в соответствии со своим коммуникативным намерением, например, использует единственное или множественное число имени, настоящее или прошедшее время глагола и т. п. Термин «системная (systemic) грамматика» поясняется Хэллидеем как противопоставленный термину «систематическая (systematic)», поскольку система в грамматике выступает как набор возможностей выбора (a set of options). Грамматика любого языка может быть представлена в виде сетки систем, представляющей совокупность выбираемых единиц, которые находятся в отношениях одновременности и иерархии, причем эта сетка является в известной мере открытой системой [10].

Центральными единицами грамматики автор признает простое предложение (clause), либо самостоятельно используемое, либо как часть сложного предложения, и слово (word), а между ними помещаются группа (group) — именная, глагольная, наречная, предложная и др., и фраза (phrase), которые различаются тем, что группа рассматривается со стороны слова, а фраза — со стороны предложения. Эти

¹ Данный перевод английского слова (clause) подсказан самим автором, у которого мы читаем: «... simple sentences (that is, clauses, in our terms) were analysed...» (с. 159).

последние единицы в общем совпадают со словосочетанием в нашей научной традиции.

Эти основные идеи Хэллидей разрабатывает дальше, учитывая достижения лингвистики более позднего времени. Поскольку его теория с самого начала относилась к функционализму, в нее органически вплетаются и развиваются мысли Ч. Филлмора о глубинных падежах-функциях, а также некоторые проблемы, поставленные в философии языка и использованные при трактовке понятийного (отражательного) компонента. Подчеркнем особо, что обращение к тексту, т. е. включение текстовой функции в состав базовых, было предпринято автором задолго до оформления лингвистики текста в особую область языковедческих штудий. Поэтому в рассматриваемой книге Хэллидей осуществляет широкий выход в теорию текста и демонстрирует свои положения на большом количестве текстов (от диалога до развернутых повествований), показывая и отстаивая важность грамматики для анализа текста. Он подчеркивает, что функциональная грамматика является одновременно грамматикой текста и грамматикой системы.

При построении грамматики приоритет отдается устной речи, «которая требует более динамичной и менее конструктивной формы представления» (с. XXIII). Особо выделяется бессознательная природа спонтанной речи. Язык трактуется не как индивидуальное, а как социальное явление, обладающее своим семантическим кодом, представленным общей системой грамматики и лексики: «Не вызывает сомнений, — замечает Хэллидей, — что существует связь между кодом и культурой, породившей его, но она весьма сложна и абстрактна» (с. XXI).

Хотя обе части книги ставят на первое место с и н т а к с и с, Хэллидей особо оговаривает отказ пользоваться данным термином (который в философии языка противопоставляется семантике и прагматике), потому что, во-первых, ступенями кодового перехода от содержания к выражению являются семантика, грамматика и фонология, причем грамматика включает и синтаксис, и словарь и морфологию, стоящие на одном уровне в кодирующей системе языка. Во-вторых, термин «синтаксис» в европейской грамматике подразумевает анализ, направленный от формы слов к значениям, тогда как в функциональной грамматике «язык рассматривается как система значений, сопровождаемых формами, через которые могут реализовываться эти значения» (с. XIV)². Думается, однако, что сохранение традиционного термина «синтаксис» не должно вызывать возражений, т. к. современный синтаксис далеко ушел от модели прошлых веков и предстает в весьма разветвленных направлениях.

В качестве наиболее важных проблем грамматики автор называет: (1) проблему парадигм, (2) проблему категорий и их именования, (3) проблему примеров (отдельно поданных, текстовых, выдуманных), и (4) проблему описания языка средствами его самого без «переодевания» старых идей в новые термины. Основная ориентация описания идет, по словам автора, «от общего к частному» (с. XV). При этом указывается, что эта системная часть грамматики может быть введена в компьютер и с ее помощью могут решаться прикладные задачи: анализ ученических сочинений, ситуаций общения «ученик — учитель», «взрослый — взрослый», «взрослый — ребенок» и т. п., можно также сравнивать разные стили (регистры), анализировать усвоение материала учащимися и т. п.

² Автор замечает, что в его теории лучше говорить не о синтаксисе (*syntax*, букв. «соположение»), а о синезисе (*synesis*, букв. «существование»).

Автор начинает первую часть своей книги с описания структурных обоснований языковых высказываний. Показано, что язык включает множество иерархически организованных комплексов (*constituency*), сосуществующих в разных частях системы и используемых в различных сферах — от письма (предложение — слово — буква) до поэмы (строфы, строки, слог, ритм, метр). Анализ этих комплексов можно проводить по принципу грамматики непосредственно составляющих. Затем вводится понятие классов (Имя, Глагол, Прилагательное и т. п.) и функций (Субъект, Актор, Тема)³. Разграничению последних отводится особое место, поскольку, как поясняет автор, в традиционной европейской грамматике использовалось лишь первое понятие (Субъект), хотя выделение его не всегда представлялось ясным (как в примере: *This teapot my aunt was given by the duke*). Вследствие этого в свое время были введены понятия психологического (*this teapot*), грамматического (*my aunt*) и логического (*by the duke*) субъекта, которые в зависимости от роли, выполняемой в предложении, выступают соответственно в виде функций Темы, Субъекта (подлежащего), Актора (деятели). Каждая из этих функций соотносится с особым типом значения в предложении: «Тема является функцией в предложении как сообщением (*clause as message*). Сообщение связано с ней как исходным моментом того, о чем говорящий собирается сказать. Субъект является функцией в предложении как средством обмена информацией (*clause as exchange*). Это элемент, от которого зависит коммуникативный эффект предложения, это его особая речевая функция. Актор является функцией в предложении как представлении процесса (*clause as representation of a process*). Это активный участник процесса, тот, кто совершает действие» (с. 37). В книге детально описаны все возможности английской грамматики, способные реализовать данные функциональные понятия.

Исследование «Предложение как сообщение» начинается с объяснения понятий Темы и Ремы, трактуемых вслед за Пражской школой⁴. Показаны разные типы Темы: (а) простая, состоящая из одного составляющего, который может быть представлен именной или наречной группой, а также предложным сочетанием (*phrase*), (б) связанная с наклонением (повествовательным, вопросительным, повелительным), (в) выраженная союзными и модальными адъюнктами⁵, (г) сложная, состоящая из группы слов, (д) представленная простыми предложениями в составе сложного или конструкциями и т. п. Подчеркивается, что Тема как исходное в сообщении может содержать в себе компоненты всех трех метафункций — текстовой, межличностной и понятийной, но обязательным является понятийный элемент. В том случае, когда он определяет поведение Темы как подлежащего, дополнения или обстоятельного элемента, речь идет о Топиковой теме. Текстовый компонент определяет представление Темы такими единицами, как *да, нет, ну, теперь* и т. п., и структурными элементами (например, союзами и относительными словами *который, кто, где, кто-либо* и т. п.). Межличностный компонент вводит модальную Тему, типа *возможно, конечно*, обращение, личную форму глагола в вопросительных предложениях, требующих ответа *да* или *нет*. Показано также

³ Заглавными буквами в книге маркируются функциональные понятия.

⁴ Автор подчеркивает, что предпочитает эти термины, т. к. используемые некоторыми учеными термины «топик» и «комментарий» несут дополнительные значения данного и нового и представляют собой особый объект анализа.

⁵ В традициях английских грамматик термин «адъюнкт» обозначает разные конструкции, в том числе и обстоятельные, которые распространяют другие члены предложения.

поведение Темы в неполных, зависимых и эллиптических предложениях. Все типы Темы продемонстрированы на примере¹ повествовательного текста.

Не вызывает сомнения, что достаточно просто и удобно определение Темы как психологического подлежащего, как исходного пункта, поскольку в английском языке ее, согласно данной теории, всегда маркирует первая позиция. Однако заметим, что при этом утрачивается специфика Темы как предметного центра сообщения, как семантического стержня, цементирующего всю конструкцию. При предложенной автором трактовке темы как бы остается в стороне такое явление, как тематическая прогрессия, как иерархия Тем в пределах целого текста, абзаца, предложения. Более того, данная трактовка Темы не согласуется с замечаниями самого Хэллидея в том, что «организация текста в целом определяет выбор Темы в каждом предложении или во всяком случае общую модель (pattern) выборов Темы» (с. 98). Такая модель может строиться лишь на предметной основе, а не на основе психологического подлежащего, представленного любым разрядом слов. Не следует забывать и того, что Тема является категорией предложения, которая непосредственно связана с текстом, тогда как психологическое подлежащее принадлежит лишь отдельному предложению и выступает в виде исходного пункта сообщения, содержащегося только в нем. Психологическое подлежащее не всегда совпадает с Темой, для которой характерна предметность, аргументы в пользу чего нами неоднократно высказывались [11—13]. С предметностью Темы связаны ее способности к выражению идентификации и референции, возможности ранжирования тем [14—16] и выделение дополнительных функциональных понятий в сфере Темы, таких, как антема (предтема) гипертема и др. [14, 17, 18].

При оценке проблемы предложения как источника информации, выступающего в виде пропозиции (утверждения или вопроса) или просьбы, распоряжения и др., в синтаксических конструкциях выделяются два элемента. Первый, названный м о д у с н ы м (mood element), состоит из спрягаемой формы сказуемого, передающей значения глагольных времен и наклонений, и Субъекта (подлежащего), выраженного прежде всего именной группой, но также и причастным или инфинитивным оборотом. Во второй, названный О с т а т к о м (Residue), включены: Предикатор, т. е. неизменяемая часть глагольной аналитической формы, не передающая временных и модальных значений, Комплемент (Complement), т. е. своеобразный восполнитель, который представлен именной группой и мог бы быть Субъектом, но таковым не является, и Адьюнкт, т. е. адвербиальный распространитель, который представлен наречной группой или предложной фразой и не обладает свойствами потенциального субъекта, например: (Mood) *Sister Susie* (Subject) *is* (Finite) || (Residue) *sewing* (Predicator) *shirts* (Complement) *for soldiers* (Adjunct)⁶. На примерах диалогов разного типа показаны все возможности представления этих составных частей в рассматриваемых структурах, включая отсутствие разных элементов или их распространение.

Несмотря на оригинальность подхода и стремление показать функциональное несопадение составов предложения как сообщения и как источника информации все же вызывает законное недоумение разрыв

⁶ Следует заметить, что трактовка терминов «Предикатор», «Комплемент», «Адьюнкт», используемых достаточно широко, не совпадает в разных современных английских грамматиках.

единой, хотя и представленной аналитически, глагольной формы. Ведь семантика основного глагола, данного в Предикаторе, обуславливает возможности выражения временных и модальных значений. С нашей точки зрения, семантический комплекс глагола нецелесообразно распределять по разным функциям, хотя структурное расчленение и имеет место. Обоснование же Комплемента и Адьюнкта можно принять в данной системе грамматики. Большой диалогический текст завершает анализ реализации межличностной функции, поскольку обмен информацией осуществляется главным образом в этой форме общения.

Понятийная функция выявляется в предложении, которое представляет модели поведения и умственную картину действительности. В этом смысле оно функционирует как репрезентация процессов: действия, события, чувствования, существования, благодаря системе транзитивности, которая воплощает грамматическую функцию выражения отражательного (т. е. базирующегося на опыте аспекта значения). Далее рассматриваются возможности выражения трех компонентов процессов: его самого, его участников и сопутствующих обстоятельств. В материальных процессах выделены Актор, Процесс и Цель (Goal), к умственным процессам отнесены думание, восприятие и чувствование и выделены: Чувствователь (Senser), Аффект и Феномен, например: *I (Senser) don't like (Affect) it (Phenomenon)*. Показано, что в грамматике различие (1) материальных и (2) ментальных процессов отражается в использовании существительных (и местоимений), обозначающих предметы (для 1) и людей (для 2), в различении вещей (для 1) и фактов (для 2), в использовании глагольных форм настоящего времени — длительного (для 1) и простого (для 2) и др. При процессах существования выделяются разные составляющие, например: (а) Носитель (Carrier), Процесс, Атрибут: *Sarah (Carrier) is/seems (Process) wise (Attribute)*; *Peter (Carrier) has (Process) a piano (Attribute)*; (б) Идентифицируемое, Процесс, Идентифицирующее: *You are the frog; Tomorrow is the tenth*. К этому добавляются процессы поведения и говорения с соответствующими функциями, а также функции других участников событий — Бенефицианта, Ранга и др., и обстоятельственных элементов разного типа — Протяженности, Пространства, Способа действия, Причины, Роли и др.

Особо выделены транзитивность и залог, т. к. все рассмотренные выше процессы в более абстрактном смысле структурируются на основе одной переменной — источника процесса (внутреннего и внешнего), что не совпадает с различием переходности и непереходности, где переменной является направленность на объект или ее отсутствие. Согласно концепции Хэллидея, переменной является каузация, определяющая наличие эргативных и неэргативных конструкций, поскольку подавляющая масса английских глаголов, традиционно определяемых как транзитивно-интранзитивные, представляет, по мнению Хэллидея, конструкции эргативного типа. Ср.: *The tourist woke/the lion woke the tourist* (в обоих случаях турист прекратил спать: в традиционной модели турист трактуется как деятель в первом случае и как цель — во втором). В каждом процессе выделяется один участник как его ключевая фигура (Медиум), благодаря которому существует этот процесс (в приведенном примере — *the tourist*). Процесс и Медиум составляют ядро английского предложения (например, *woke + tourist*), которое является семантическим полем, реализуемым либо в виде нераспространенного предложения, либо в комбинации с другими участниками (Participants) или обстоятельственными элементами. Если процесс представлен как не самопроизвольный, то помимо Медиума в предложении наличествует Участник, функционирую-

ций как внешняя причина и именуемый Агентом (в нашем примере Агент — *the lion*). Если процесс протекает самопроизвольно, то в предложении Агента может и не быть, но Хэллидей особо подчеркивает специфику английского языка, разбирая предложения типа *the glass broke*: «В реальном мире может быть какая-либо внешняя причина (*agency*) того, что стекло разбилось, но в семантике английского языка это событие предстало как самопроизвольное» (с. 147), и добавляет, что в случае использования пассива *the glass got broken* у слушающего всегда возникает желание узнать — «кем?» и «каким образом?», т. е. ввести Агента. Далее в схожем плане анализируются все процессы и показывается эквивалентность эргативной функции Медиума прочим функциям. Указывается, что транзитивность допускает линейную интерпретацию, а эргативность — ядерную⁷.

Думается, что несмотря на кажущийся дискуссионный характер данных заключений, следует отметить нетривиальное решение на базе языкового материала, который не укладывается в прокрустово ложе традиционной грамматики. Известные слова Ж. Вандриеса о том, что французская грамматика была бы иной, если бы ее описывали не по латинскому образцу, могут быть в еще большей мере применимы к английскому языку, как к его синтаксису, так и к морфологии [19]. Сам Хэллидей, подчеркивая необходимость определять кодовые особенности каждого языка, осуждает проявившуюся за последние годы тенденцию накладывать специфику английского кода на другие языки: «Современная лингвистика удручающе этноцентрична, т. е. заставляет все другие языки выступать в виде несовершенных копий английского языка» (с. XXXI). Автор выступает против представления функциональной грамматики как универсальной теории.

Таким образом, в первой части книги показано, что простое предложение является сложным объектом, состоящим из различных структур, производных от трех функциональных компонентов — понятийного, межличностного и текстового. Им соответствуют транзитивные, модальные и темовые структуры, на которые опираются весьма независимые возможности семантического выбора из наличного в грамматике языка состава элементов.

Вторая часть книги Хэллидея начинается с исследования словосочетаний (групп и фраз), т. е. единиц, стоящих ниже простого предложения и отличающихся от него тем, что три функциональных компонента значения представлены не объединенными в полной структуре, а как частичные вкрапления одного из них. Вследствие этого анализ групп проводится в пределах одной операции, а не трех. Понятийный аспект опирается (а) на опыт и (б) на выражение логических отношений. Дано подробное описание групп (именных и глагольных) и проведен анализ опытных и логических структур. Адвербиальные, союзные и предложные группы (к последним отнесены конструкции типа англ. *right behind, immediately in front of*), а также предложные фразы, состоящие из предлога и именной группы (типа *across the lake; on the burning deck*)⁸, описываются в одном

⁷ Близкое к идеям М. Хэллидея мнение было высказано еще в 1961 г. В. Н. Ярцевой, которая пришла к выводу, что в предложениях типа *The book sells well* с инактивным субъектом и глаголом в форме «квазипассива» (по Дж. Керму) происходит переосмысление формы активного залога и возникает новая семантическая категория, т. е. «смысловое противопоставление (активного и пассивного субъекта) совершается в условиях одной залоговой формы — действительного залога глагола» [19, с. 63].

⁸ Предлог трактуется как малый Предикатор при межличностном измерении.

параграфе, за которым следует сводная таблица классов слов, функционирующих во всех группах и фразах.

Хэллидей особо подчеркивает важность анализа словосочетаний, т. к. «западная традиция не признавала его в качестве отдельной структурной единицы и вместо этого расчленила предложение сразу на слова» (с. 159). Уместно заметить, что в традициях нашей отечественной лингвистики словосочетание вошло полноправной единицей в синтаксический анализ наряду с предложением еще со времен Ф. Ф. Фортунатова.

Сложное предложение (sentence), т. е. паратакис и гипотакис, рассматривается как комплекс простых предложений. По мнению Хэллидея, отношения между входящими в комплекс предложениями являются функционально-семантическими и представляют логику естественного языка. Особое место уделено прямой и косвенной речи. Во всех структурах выделены две части: Глава и Модификатор (Head and Modifier). В виде дополнения к этому дано описание групповых и фразовых комплексов (пара- и гипотактических) и их распространений, а также пример анализа связного текста.

Раздел «Рядом с простым предложением (Beside the clause)» отведен интонации и ритму как находящимся вне линейной структуры предложения, но имеющим весомость в конструировании единиц информации, которые могут не совпадать с элементами предложения и даже охватывать разные предложения. Хэллидей пишет: «Единица информации представляет собой структуры из двух функций — Нового и Данного» (с. 275) и подчеркивает, что при этом Новое маркировано выделением, а Данное обычно ему предшествует. Указывается, что хотя Данное и Новое связаны соответственно с Темой и Ремой, тождества между ними нет, поскольку Тема и Рема ориентированы на говорящего, а Данное и Новое — на слушающего, несмотря на то, что последние две функции избираются также говорящим. Показаны разные способы выделения этих единиц (акцентное, тоновое и ритмическое)

Следует заметить, что несмотря на кажущуюся стройность композиции, в книге ощущается разрыв явлений, которые не могут трактоваться отдельно: Темы с Ремой (гл. 3) и Данного с Новым (гл. 8). Из-за этого разрыва возникают неизбежные повторения и отсылки и, нам это представляется главным, теряется специфика функционального подхода, т. е. анализ построения речевых произведений «от говорящего» в связи с реализацией его коммуникативного намерения. Кроме того, в книге остается неразъясненным место информации в теории Хэллидея, хотя он и пишет, что трактует ее не в математическом смысле, а как «процесс взаимодействия между тем, что уже известно и предсказуемо, и тем, что является новым и непредсказуемым» (с. 275). Однако вначале это понятие связывается с представлением предложения не как сообщения (гл. 3), а как пропозиции (гл. 4), потом же информация оказывается в центре главы, трактующей явления, находящиеся «рядом с простым предложением» (гл. 8). Анализ же текстового компонента (гл. 9) опять обращается к информационной (Данное и Новое) и тематической (Тема и Рема) структурам, и именно здесь затрагивается роль Темы в функциональной перспективе предложения. Отторгать Тему от информации так же невозможно, как и от представления Данного и Нового.

В разделе «Вокруг простого предложения» рассматриваются когезия и дискурс, которые используют текстовую референцию, эллипсис, соединительные элементы и средства лексики. Текстовый компонент характеризуется двумя группами черт: структурными (темовыми — Тема и Рема

и информационными — Данное и Новое) и когезивными, опирающимися на средства связности. Хэллидей обращает внимание на то, что «текст обладает структурой, но это — семантическая, а не грамматическая структура» (с. 318), т. е. текст состоит не из комплексов простых предложений, а из элементов, которые варьируются от стиля (регистра) к стилю — повествования, описания, разговора и т. п. Текст как продукт многомерного процесса речи (дискурса) воплощает не только полифоническую структуру грамматики, но и многие непоследовательности и даже противоречия, возникающие на высших уровнях функционирования семиотических систем, находящихся вне языка: «Благодаря этому потенциалу текст не является зеркальным отражением того, что находится вне его, он выступает как активный партнер в процессах формирования и изменения реальности», — заключает Хэллидей (с. 318). И нельзя не поддержать его в этом.

Автор отводит особое место так называемым метафорическим способам выражения. Они как бы накладываются на предложение извне. Причину того, что семантическая система языка изобилует метафорическими способами выражения, автор видит в природе *Модальности* (Modality), которая представляет собой область значений, лежащую между двумя полюсами: позитивного и негативного (*да и нет*). В модальность включены (1) *Модализация* (узуальное и вероятностное) — индикатив и (2) *Модуляция* (обязательное и желаемое) — императив. Хэллидей считает, что в философской семантике Модализация соответствует эпистемической, а Модуляция — деонтической модальностям. Подчеркивая важность модальных черт в грамматике межличностного обмена, автор указывает на явный парадокс, на котором зиждется вся система: «Как только мы говорим уверенно о чем-то, так сразу начинаем сомневаться в этом» (с. 340), поскольку все зависит от точки зрения говорящего. Вследствие этого в виде «скелета» сообщения выступает межличностная метафора, соотносимая с наклоением. С ней же связываются прочие лексико-грамматические, а также паралингвистические и поведенческие особенности, к которым добавляются черты, восходящие к контекстам ситуации и культуры. Метафоры последнего типа изучаются в теории речевых актов под именем перлокутивных актов, хотя, по мнению Хэллидея, с лингвистической точки зрения они представляют собой лишь особый случай общего явления метафоры. Все они выявляются при анализе текста, причем лингвистика текста не может быть отделена от грамматики, стоящей за ним. Как мы уже говорили выше, наблюдение за развитием научной мысли в течение последних лет заставляет поддержать это мнение.

Подводя итоги данного обзора, следует отметить, что задачи, которые ставил перед собой Хэллидей, успешно выполнены. В самом начале книги он писал, что лингвистический анализ текста (дискурса) нельзя проводить без опоры на грамматику и нельзя подменять попутным комментированием, и рекомендовал проводить его на двух уровнях. Первый (нижний) — уровень *понимания* текста, т. е. «показа того, как и почему текст значит то, что должен значить» (с. XV), второй (высший) — уровень *оценки* текста, т. е. определения «почему же текст является или не является эффективным для поставленных в нем целей» (с. XV). В центре любого текста, хотя он и является семантической единицей, стоит грамматика, поскольку все значения вербализованы, т. е. представлены в словах, а «без теории вербализации, т. е. грамматики, нельзя осуществить ясную интерпретацию значения какого-либо текста» (с. XVII). Именно

такую, на наш взгляд, весьма удачную теорию грамматики представил автор в этой книге.

Таким образом, «Введение в функциональную грамматику», хотя и именуется «Введением», безусловно интересно стремлением синтезировать основы теории М. А. К. Хэллидея, разрабатываемой в течение почти трех десятилетий, и наиболее ценные достижения зарубежного общего языкознания. При этом автор идет не от априорно намеченных схем, а от обширного материала современного английского языка в его живом использовании. Своей теоретической направленностью книга выделяется среди грамматик, вышедших в Англии за последние годы (Квёрка, Клоуза, Лича и Свартвика, Синклера и др.). Языковед-теоретик найдет в ней много материала для обдумывания проблем функциональной грамматики и ее категориального аппарата. Языковед-практик, преподаватель английского языка получит серьезное описание детально организованных и исследованных особенностей английского языка новейшего периода.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ведыкина Л. Г. Функциональное направление в современном зарубежном языкознании / ВЯ. 1978. № 6.
2. Ведыкина Л. Г. Истоки и принципы функциональной лингвистики // Функциональное направление в современном французском языкознании. Реферативный сборник ИНИОН АН СССР. М., 1980.
3. Слюсарева Н. А. Функциональная грамматика в Великобритании и Нидерландах // Современные зарубежные грамматические теории. Сборник научно-аналитических обзоров. М., 1985.
4. Halliday M. A. K. An Introduction to functional grammar. L., 1985.
5. Halliday M. A. K. Explorations in the functions of language. L., 1973.
6. Language as social semiotic. L., 1976.
7. System and function in language. Oxford, 1976.
8. Хэллидей М. А. К. Место «Функциональной перспективы предложения» (ФПП) в системе лингвистического описания // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 8. М., 1978.
9. Selected papers of J. R. Firth. 1952—1959 / Ed. by Palmer F. R. L., 1968.
10. Halliday M. A. K. System and function in language. Selected papers / Ed. by Kress G. R. L., 1976.
11. Слюсарева Н. А. Проблемы функционального синтаксиса современного английского языка. М., 1981.
12. Слюсарева Н. А. Морфология и синтаксис в свете функционального подхода // ФН. 1984. № 5.
13. Слюсарева Н. А. Категориальная основа тема-рематической организации предложения-высказывания // ВЯ. 1986. № 4.
14. Subject and topic / Ed. by Ch. Li. N. Y., 1976.
15. Lyons J. Semantics. V. 2. Cambridge, 1978.
16. Степанов Ю. С. Иерархия имен и ранги субъектов // ИАН СЛН. 1979. № 4.
17. Svoboda J. Diatheme. Brno, 1981.
18. Lambrecht K. Topic, anti-topic and verb agreement in non-standart French. Amsterdam, 1981.
19. Ярцева В. Н. Исторический синтаксис английского языка. М., 1961.
20. Слюсарева Н. А. Проблемы функциональной морфологии современного английского языка. М., 1986.

РЕЦЕНЗИИ

Сулачев Н. Л. Лингвистические атласы. Аннотированный библиографический указатель. Л.: Издательский отдел Библиотеки АН СССР, 1984. 158 с.

В настоящее время издано около 300 лингвистических атласов, на базе которых создано большое количество монографий и статей, посвященных лингвогеографии. Опубликованные атласы, разумеется, являются трудами разных типов; они построены на различных общетеоретических концепциях и методах составления лингвистических карт, ставят перед собой неодинаковые задачи, имеют различный объем. В связи с этим давно назрела необходимость в каком-то хотя бы кратком сводном каталоге (справочнике или указателе), который давал бы общую информацию о каждом из атласов. Это способствовало бы лучшему ознакомлению широкой научной общественности с каждым атласом (ведь преобладающее большинство опубликованных атласов, в частности региональных, вышедших в одних странах, остается неизвестным или малоизвестным для специалистов других стран, особенно когда речь идет о языках разных генетических групп, разных континентов). Такой справочник способствовал бы обмену опытом, что имело бы большое значение для дальнейшего усовершенствования как практических (методика) аспектов, так и разработки ряда теоретических вопросов лингвогеографии.

В свете сказанного следует приветствовать публикацию рецензируемого библиографического указателя, который с соответствующими дополнениями подготовлен на основе ранее изданного этой же Библиотекой каталога лингвистических и этнографических атласов [1].

Структура указателя обычна для изданий такого типа: после краткого введения «От составителя» (с. 3—6) следуют аннотации, расположенные по семьям и группам языков (а в пределах группы по подгруппам и отдельным языкам в хронологическом порядке выхода атласов из печати): и.-е. языковая семья (славянская, балтийская, германская, кельтская, романская, иранская, индоарийская группы; греческий, баскский языки — с. 7—95), семито-хамитская семья

(с. 96—97), семья банту (с. 98—99), уральская семья (с. 100—102), алтайская семья (с. 103—104), японский язык (с. 105—107), китайско-тибетская семья (с. 108—111), тайская семья (с. 112) и австронезийская семья (с. 113). В отдельный подраздел выделены «Межязыковые регионы» (с. 114—119), где аннотируются атласы определенных регионов, на которых размещено несколько языков разных типов. После основной части идут вспомогательные подразделы указателя: «Список сокращений» атласов и периодических изданий (с. 121—128), «Указатель атласов» (с. 129—137), «Указатель языков и диалектов» (с. 138—140), «Указатель географических названий» (с. 141—148) и «Именной указатель» (с. 149—155).

Книга Н. Л. Сулачева, безусловно, очень нужный и полезный справочник. Она содержит 234 аннотации, в каждой из которых, кроме обыкновенных библиографических данных об атласе, отмечается и его принятое сокращение, даются сведения о его составителях (если они отсутствуют в описании атласов), об обследованной территории, сетке опорных пунктов, об объеме и общем составе анкеты, о способе собрания материалов и принципах записи диалектной речи, методике картографирования, составе карт, содержаниях комментариев. Аннотации завершают сведения о вопроснике (если он не включен в состав атласа) и иногда об исследованиях, созданных на материалах атласа.

Материалы для составления указателя автор в преобладающем большинстве случаев добывал путем непосредственного изучения описываемых атласов. Однако значительную часть необходимой информации пришлось собирать из разных библиографических справочников, статей и рецензий. Понятно, что данное обстоятельство не позволило сохранить единообразие аннотаций. Особенно это касается различия в приемах картографирования, в способе подачи диалектных данных, в методологических предпосылках, в со-

держании и в частных задачах атласов» (с. 5). В целом можно отметить, что большей обстоятельностью и полной отличаются аннотации на атласы романских языков. Здесь довольно последовательно, тщательно расписаны отдельные тома и выпуски многотомных изданий, в основном выдерживаются все пункты схемы аннотации, нет пропусков и пр. Чувствуется, что автор указателя — романист. Однако достаточно тщательно представлены и атласы других и.-е. языков, в частности, германских, славянских, балтийских. В случаях, когда оригинальные названия аннотируемых атласов передаются не на основе кириллического, латинского и греческого алфавитов, то они транскрибируются русской графикой, например, фонетический атлас говоров Японии «Онъин бумкудау» (Токио, 1905).

В целом мы вполне положительно оцениваем рецензируемый труд. Более того, учитывая трудность сбора информации обо всех имеющихся атласах языков мира, мы бы сказали, что Н. Л. Сухачев довольно смело решился на весьма сложное предприятие и свою непростую работу осуществил в общем успешно. Его указатель является ценным справочником не только для работников библиографических отделов библиотек, но и для всех лингвогеографов (и практиков, и теоретиков).

Однако вместе с тем мы считаем нужным указать на отдельные недостатки, упущения, недосмотры в рецензируемой книге и при случае высказать некоторые соображения и пожелания. Свои критические замечания мы будем давать, исходя преимущественно из материалов славянской диалектологии.

Как видно из рецензируемого труда, не совсем простым оказался вопрос о принципе отбора работ для включения в указатель. Составитель по этому поводу делает только следующее замечание: «В указателе отражены и некоторые издания, приближающиеся к типу диалектологических монографий. В этом случае принималась во внимание роль, которую сыграли соответствующие исследования в развитии лингвогеографических идей и методов» (с. 3). С этим в принципе можно согласиться только применительно к тем диалектологическим монографиям, которые в своем составе имеют и атласы. Поэтому считаем, что в указателе лингвистических атласов излишним было помещать аннотации на работы иного профиля, например, на [2]. Этот труд для своего времени являлся очень важным и ценным, однако это не атлас, он имеет только одну суммарную карту диалектного членения русского, белорусского и украинского языков; подобные

карты и труды К. П. Михальчука [3], Е. Ф. Карского [4] (карта после с. 198), К. Нича [5] и др. в указателе не аннотируются. Профилю рецензируемого указателя не соответствует и «Программа полесского этнолингвистического атласа», опубликованная в «Полесском этнолингвистическом сборнике» (М., 1983).

В библиографических указателях обыкновенно даются сведения об опубликованных трудах. Вероятно, этого разумного ограничения следовало бы придерживаться и в данном случае и не включать отдельные позиции аннотаций на рукописные и подготавливаемые к печати атласы. В противном случае составитель так или иначе ставит себя в не вполне удобное положение. Например, вряд ли можно объяснить, почему в рецензируемом указателе отсутствуют аннотации на рукописные национальные лингвистические атласы украинского (первый том вышел из печати в 1984 г., но еще в 60—70-х годах информация о нем содержалась в ряде статей), башкирского, киргизского, туркменского и ряда других языков народов СССР или на подготовленные рукописные украинские региональные атласы М. И. Сюсика, В. И. Лавера, И. В. Сабодоша, Я. Ю. Вакалюк и др., составленные под руководством автора этих строк. В литературе об этих работах также была информация, о некоторых довольно обстоятельная. Рукописный атлас украинских говоров Восточной Словакии В. П. Латы почему-то отдельно не аннотируется, а только между прочим упоминается в аннотации на «Лінгвістичний атлас українських говірів Східної Словаччини» З. Т. Ганудель (с. 15), хотя он обстоятельно описан в литературе ([6], ср. [7]).

В рецензируемом указателе довольно много пропусков, в частности славянских атласов. Досадно, что нет ссылок на атлас В. Ф. Чистякова, в первом выпуске которого на 60 таблицах представлены данные об украинских и русских говорах Кубани [8, 9]. К сожалению, пропущены и работы Ю. Тарнацкого «Studia porównawcze nad geografią wyrazów (Polesie—Mazowsze)» (Варшава, 1939), где приводятся 185 карт, и В. С. Ващенко 3 історії та географії діалектних слів. Матеріали до вивчення лексики говірів середньої та нижньої Наддніпрянщини» (Харьков, 1962), содержащие 99 карт. Следовало бы поместить и аннотацию на «Studia nad dialektologią ukraińską i polską» М. Караса (Краков, 1975), где на основании довоенных записей в каждом из 1035 параграфов фиксируется большее или меньшее количество преимущественно лексических противопоставлений на территории западных областей Украи-

ны (аналогичную работу Н. В. Никончука Н. Л. Сухачев аннотирует, см. № 18 на с. 16—17). Пропущены также труды «Der obersorbische Dialekt von Neustadt» З. Михалка (Баутцен, 1962) (106 карт); «Terminologia budownictwa wiejskiego w dialektach polskich» (I—II, Вроцлав, 1964—1965) Я. Басары (48 карт); «Słownictwo z zakresu uprawy roli w gwarach wschodniej Białostoczczyzny na tle wschodniosłowiańskim» (Вроцлав, 1968) Е. Смукловой (приложен атлас, состоящий из 55 карт, в том числе 4 синтетических); «Polskie słownictwo tkackie na tle słowiańskim» (I—II, Вроцлав, 1974—1977) Б. Фалинской (вторую часть второго тома составляет атлас из 86 аналитических карт); «Klasyfikacja greszowników odrzeczownikowych. Studium ze słownictwa i geografii lingwistycznej» (Вроцлав, 1963) В. Помяновской (17 карт); «Zróżnicowanie gwar południowosłowiańskich w świetle faktów słowotwórczych» (Вроцлав, 1970) В. Помяновской (73 карты), «Sarišké nářečie» (Sarišké múzeum, З, Košice, 1972) Ф. Буффы (50 карт). Почему-то не учтена целая серия «Słownictwo Warmii i Mazur» (Вроцлав, 1958—1980), к двенадцати томам которой в общей сложности приложена 291 карта. Следовало бы проаннотировать также монографию Р. Я. Удлера «Молдавские говоры Черновицкой области. Консонантизм» (Кишинев, 1964), к которой приложен атлас, состоящий из 144 карт, а также обобщающий труд «Dialektu polskie» (Вроцлав, 1973) К. Дейны, содержащий 50 карт, и пр.

В аннотации на «Атлас венгерского языка» (позиция 205) отмечается, что в ходе его подготовки «был опубликован ряд региональных атласов венгерского языка, отражающих состояние отдельных говоров» (с. 102). Однако автор почему-то этих атласов не упоминает в своем указателе, хотя среди них имеются и довольно солидные работы. Например, «Ország és Hetési nyelvatlasz» («Лингвистический атлас Ершега и Гетеша») Й. Вейга (Будапешт, 1959), состоящий из 219 карт, в том числе двух вспомогательных. Сетку его составляют 47 населенных пунктов; атлас сопровождается обстоятельной вступительной теоретической частью, характеристикой обследованных сел, комментариями, индексами, списком литературы и пр. (189 с.); «A jugoszláviai Muravidék magyar tájnyelvi atlasz» («Венгерский диалектный атлас югославского Помурья») О. Панавин (Будапешт, 1962), где в текстовой части кратко излагаются вступительные замечания, характеризуются фонетические и морфологические особенности языка словенских венгров, а в атласе (сеть 20 населенных пунктов) помещено 140 карт (первая

вспомогательная); «A Szerémségi magyar szigetek nyelve» («Венгерские языковые острова в Серейштейге») также О. Панавин (Будапешт, 1972), где во введении дается характеристика этнических, социально-экономических и языковых особенностей каждого из 12 населенных пунктов, входящих в сетку атласа, состоящего из 113 карт, и пр.

На «Атлас гвар бойкowskich» собственно аннотации составитель почему-то не дал. Он ограничился лишь замечанием «...AGB подготовлен С. Грабцем, В. Лукасик-Шуловской и Е. Вольнич-Павловской под руководством Я. Ригера. Отражен материал полевого анкетирования» (с. 15). Информация эта не совсем верная. С. Грабец (1912—1972) в подготовке этого атласа участия не принимал. AGB составлен на разных материалах: использованы еще предвоенные (начиная с июля 1937 г.) записи С. Грабца в 70 селах, данные из трудов, отмеченных в указателе в позициях 9—11, иные источники, специальные для AGB записи. Сетка AGB имеет 185 пунктов.

Слишком лаконичны и бедны аннотации на немецкие атласы, приводимые под номерами 47—49, 53, 66, 68, и атласы других германских языков — позиции 82, 83, 85, 86, 93 и др. В аннотации № 37 на «Sorbischer Sprachatlas» следовало бы упомянуть серию выпусков текстов: Н. Fasske, Н. Jentsch, S. Michalk. Sorbische Dialekttexte. I—X (Bautzen, 1963—1972).

В аннотации № 55 на «Deutscher Wortatlas» [Bd. 1—22. Hrsg. von W. Mitzka, L. E. Schmidt (Schmitt). Giessen, 1951—1980] необходимо было указать на много томное издание «Deutsche Wortforschung in europäischen Bezügen. Untersuchungen zum Deutschen Wortatlas» (Т. I. Giessen, 1958 и сл.), а в аннотации № 46 на «Deutscher Sprachatlas» — монографию «Handbuch zum Deutschen Sprachatlas» (автор — В. Митцка).

Встречаются разные фактические неточности и недосмотры. Например, характеризуя «Atlas jezykowy dawnej Łemkowszczyzny», Н. Л. Сухачев пишет, что он «составлен по материалам, собранным в 1934—1935 гг. в Краковском и Жешувском воеводствах Польши (в настоящее время территория Львовской обл. УССР) — 72 пункта, а также в Чехословакии — 7 пунктов» (с. 12). Указанная территория теперь принадлежит ПНР, в пределах Чехословакии обследовано и включено в сетку не 7, а 8 населенных пунктов. В аннотации на «Atlas gwar mazowieckich» отмечается, что все пять его томов подготовили Г. Городиская-Гадковская и А. Стжижевская-Заремба, а между тем авторами второго — четвертого томов являются А. Ковальская и А. Стжижев-

ская-Заремба; «Atlas gwar wschodnio-słowiańskich Białostoczczyzny» почему-то причислен к белорусским, хотя почти половина пунктов сетки является украинской. Кроме того, его сетку составляют 111 сел, а не 114, как указывается в аннотации (с. 19). К. Нич редактировал не все тринадцать томов «Малого атласа польских говоров», а только два первые. Руководил подготовкой и осуществлял редактирование всех остальных томов М. Карась. Не отмечено, что «Beiträge zum sorbischen (wendischen) Sprachatlas» П. Вирта в 1975 г. был переиздан в Баутцене фотомеханическим способом; переиздание других атласов (в частности, романских языков) последовательно отмечается (см. аннотации №№ 130, 141—143 и др.). Вопросник, по которому собирались материалы для словацкого атласа, датируется не 1946, как в указателе (с. 25), а 1947 г.

Во вступительных замечаниях составителя рецензируемого указателя отмечается, что «аннотацию завершают сведения о вопроснике, если он не включен в состав издания» (с. 4). Тем не менее это последовательно не выдерживается. В аннотации, например, на «Дыялекталагічны атлас беларускай мовы» (Минск, 1963) не упомянута «Праграма па вывучэнню беларускіх гаворак і збіранню звестак для складання дыялекталагічнага атласа беларускай мовы» (Минск, 1950).

Нет также последовательности, когда в аннотациях на многотомные издания указатель в одних случаях фиксирует библиографические сведения о каждом томе (см. №№ 28, 35—37, 39, 59, 118, 119, 227 и др.), а в других такие данные почему-то отсутствуют (см. №№ 27, 30—32 и др., это же касается и таких важных трудов, как польский, немецкий, французский, японский национальные атласы).

После перепечатки текст указателя следовало бы более внимательно вычитать, ибо, к сожалению, допущено немало корректурских недосмотров, в частности в некоторых славянских и других написаниях.

Наши замечания в основном сводятся к подпите охвата опубликованных лингвистических атласов и обстоятельств аннотаций на них. Безусловно, что одному человеку, да еще за сравнительно короткое время, подготовить сводный обстоятельный указатель таких трудов, как лингвистические атласы, довольно сложно. Тем не менее попытка Н. Л. Сухачева в общем оказалась удачной.

Весьма желательно, чтобы этот указатель в ближайшее время был переиздан, причем значительно большим тиражом. В этом случае в новом переработанном и дополненном издании аннотированного указателя лингвистических атласов, как

представляется, следовало бы привести сведения о рецензиях, опубликованных на атласы, что существенно обогатило бы общую информацию о каждом аннотированном труде. Желательны были бы для иллюстрации и образцы карт (или их фрагментов), пусть не из всех атласов, а только из наиболее важных (например, национальных), различающихся по технике исполнения, лингвогеографическим школам, направлениям, типам атласов и пр. Это в значительной мере расширило бы и конкретизировало общее представление о том или другом атласе, эффективно способствовало бы обмену опытом и т. д.

Пользуясь случаем, хотелось бы указать на большую необходимость подготовки (серии) специальных указателей карт лингвистических атласов отдельных языковых семей, например, славянской, романской, германской и пр., или только отдельных языков, особенно располагающих сравнительно значительным их количеством, в частности польского, французского, румынского, немецкого. Думается, что в этом случае, кроме собственно атласов, следовало бы учесть и те написанные в лингвогеографическом аспекте труды (монографии, статьи), в которых изложение материала сопровождается атомарными или синтетическими лингвистическими картами.

Привлекательной является и идея указателя явлений, представленных на лингвистических картах отдельных языков, семей языков.

Дзядзькалевский И. А.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мельникова Т. Н., Сухачев Н. Л. Лингвистические и этнографические атласы и карты: Аннотированный каталог / Под ред. Бородиной М. А. Л., 1971.
2. Дурново Н., Соколов Н., Ушаков Д. Диалектологическая карта русского языка в Европе с приложением очерка русской диалектологии. М., 1915.
3. Михальчук К. П. Наречия, поднаречия и говоры Южной России в связи с наречиями Галичины // Тр. этнографическо-статистической экспедиции в западнорусский край. Т. 7. СПб., 1877.
4. Карский Е. Ф. Белорусы. Т. I. Варшава, 1903.
5. Nitsch K. Dialekty języka polskiego / Encyklopedia polska. Т. III. Kraków, 1915.
6. Наукові записки (Культурного союзу українських трудящих у ЧССР). Т. 8—9. Пряшів, 1979—1981. С. 13—14, 156—163.

7. Štolc J. Atlas ukrajinských nářečí na východnom Slovensku // Slavica Slovaca. 1978. Ročn. 13.
8. Чистяков В. Ф. К лингвистическому атласу Кубанского округа // Тр. Кубанского педагогического ин-та. Т. I (IV). Краснодар, 1930.

9. Дзєндзєлєський Й. О. Одна несправедливо забута сторінка історії української та російської лінгвістичної географії // Матеріали ХХІ Наукової конференції Ужгородського державного університету. Сер. філол. Київ, 1967.

Сарджвеладзе З. А. Введение в историю грузинского литературного языка. Тбилиси: Ганатлеба, 1984. 656 с. (на груз. яз.).

Выход в свет каждой новой работы по истории грузинского литературного языка, располагающего полуторатысячелетней письменной фиксацией, всегда вызывает большой интерес. Последний тем более велик благодаря появлению фундаментальных трудов, суммирующих достижения грузиноведения в области, где наличие серьезной исследовательской традиции и, в частности, важных публикаций Н. Я. Марра, А. Г. Шанидзе и ряда других известных картвелистов, неизмеримо повышает ответственность автора и значение каждого нового слова в изучении проблематики. Тем не менее можно с уверенностью сказать, что рецензируемая книга З. А. Сарджвеладзе вместе с предшествовавшими ей другими его работами аналогичного плана (сошлемся здесь прежде всего на [1]) вносит существенный вклад в решение целой совокупности изловых проблем истории грузинского литературного языка. В монографии при строгом соблюдении хронологической перспективы детально прослеживаются свершившиеся в нем, начиная с V в. н. э., преобразования, которые в конечном счете и обусловили его современный облик. Выводы автора неизменно предваряются скрупулезным обсуждением соображений, высказывавшихся ранее в специальной литературе. В итоге создано крупное исследование, отражающее современный уровень развития картвелистики в целом.

Труд состоит из четырнадцати глав, охватывающих очень широкий круг вопросов. Две начальных его главы характеризуют предмет исследования, истоки грузинского литературного языка (а также затрагивают сложную проблему возникновения грузинской письменности), в III главе обсуждается его диалектная база, в IV — соотношение его норм с узусом живой речи, в V — значение его памятников для построения исторической диалектологии грузинского языка, в VI — специфика языка исторических документов XI—XV вв., VII и VIII главы, в которых раскрывается роль древнегрузинских памятников в деле изучения истории других картвельских языков и соотношение структурных характеристик их языка с конститутивными признаками других литературных языков эпохи,

сыгравших известную роль в становлении его норм, примыкают к двум последующим, посвященным истории изучения грузинского литературного языка и разработке его периодизации. Наконец, XI—XIV главы содержат соответственно весьма детальное рассмотрение вопросов исторической фонетики, именной и глагольной морфологии, а также синтаксиса грузинского литературного языка.

На наш взгляд, необходимо отметить два основных достоинства рецензируемой книги. С одной стороны, это то обстоятельство, что, опираясь на богатейший фактический материал как опубликованных, так и неопубликованных письменных памятников языка, автор вводит в обиход науки множество новых наблюдений (в чем проявляются известные черты филологической школы А. Г. Шанидзе). С другой стороны, это, конечно, то, что методической основой его исследования послужили современные концепции теории литературного языка.

В рассмотрении эволюции разноразнообразных структурных характеристик языка автор неизменно следует хронологическому принципу. При этом одним из его важных нововведений оказывается внимание к генезису соответствующих явлений в живой речи, различные ступени которого так или иначе находят свое отражение и в литературных памятниках, вопреки их достаточно жесткой норме. На фоне не всегда выдержанной в работах ряда авторов системности в подходе к аналогичному материалу книга З. А. Сарджвеладзе отличается последовательным сопоставлением разновременных срезов в истории языка, вследствие чего обычно намечается единая линия диахронического развития явлений. Среди важнейших положений автора необходимо отметить его вывод о недостаточности существующих в науке критериев периодизации истории грузинского литературного языка, а также предложенный им опыт разграничения двух последовательных фаз в рамках древнегрузинской эпохи (V—VIII вв., с одной стороны, и IX—XI вв., с другой). В плане определения диалектной базы древнегрузинского литературного языка существенным новшеством является его те-

зис, согласно которому таковой послужила некоторая наддиалектная норма речи древней столицы Грузии Мцхеты, а в дальнейшем — речи Тбилиси (с. 83—87), чем, в частности, и объясняются отклонения литературной нормы от особенностей картлийского диалекта.

В числе принципиальных проблем, которые невозможно оставить без внимания в настоящей рецензии, отметим проблему выбора критериев периодизации истории языка, а также тесно связанные с ней вопросы хронологии структурных преобразований. Исследование З. А. Сарджвеладзе свидетельствует о том, что поиск эффективных критериев периодизации, не получившей до последнего времени своей однозначной трактовки, остается программой на будущее. Автор с основанием отмечает, что предложенный А. Г. Шанидзе критерий преобразования способа выражения глагольной категории аспекта, действительно, составляет один из важнейших признаков трансформации древнегрузинской языковой структуры в некоторое качественно новое состояние. Вместе с тем нетрудно предвидеть и дальнейшие трудности, встающие на пути исследования. Так, представляется естественным, что даже самая адекватная периодизация истории языка, учитывающая целую совокупность конкретных признаков, никогда не будет свободной от большей или меньшей схематичности, органически присущей любой рубрикации исторически развивающегося явления. В частности, с обогачением наших знаний все более очевидной становится определенная растяжимость хронологических граней между последовательными этапами истории языка, обусловленная неравномерностью его эволюции (ср. в последней связи подчеркиваемую на с. 268—274 книги различную «языковую» ориентацию литературных жанров, продолжавшуюся вплоть до XVIII столетия, когда, например, нормы древнегрузинского еще достаточно отчетливым образом выдерживались в памятниках церковной литературы).

В работе документально продемонстрированы процессы утраты нисходящих дифтонгов (с. 276—291), диахроническое взаимоотношение графем для *w* и *u*, с одной стороны (с. 291—294), и фонем *x* — *q*, с другой (с. 294—301). В сфере именной морфологии заслуживают упоминания функционально обоснованное вслед за Г. Фогтом признание формы так называемого неопределенного падежа не самостоятельной единицей древнегрузинской падежной парадигмы, а свободным вариантом номинатива (с. 357—360), а также принятие адекватной квалификации современного состава и форм локативных падежей (с. 372—373). В области

исторической морфологии глагола тщательностью своей разработки отличаются вопросы абсолютной датировки изменений, происходивших с течением времени в способах передачи 2-го лица субъекта, настоящего «обычности», категории залога и аспекта. В плане синтаксиса наиболее интересными представляются разделы, посвященные истории словопорядка в предложении, в которых показана его зависимость от структуры последнего, а также от жанровой принадлежности памятника.

Естественно, что в обширном и многоплановом труде автора рецензенты усматривают ряд дискуссионных положений и неточностей в квалификации фактов, а также отдельные вопросы, требующие дальнейшего исследования.

Так, в плане известной в картвелистике дискуссии об историческом соотношении ханметности и хаеметности в глагольных формах субъекта 2-го лица и объекта 3-го лица в рукописях (альтернатива сдвига $*x > h$ или $*h > x$) автор повторяет ранее высказанное им допущение о возможности существования в древнегрузинскую эпоху двух соответствующих «диалектов» (с. 383—393), уклоняясь от решения вопроса об их хронологической приуроченности. Между тем при наличии в сванском языке только *x*, а в занском ареале лишь \emptyset его разгадку приходится искать именно в грузинском (думается, что уже известная в настоящее время совокупность данных, на которых здесь нет возможности остановиться, довольно определенно свидетельствует в пользу исходности $*x$). Неточна усвоенная автором из предшествующей традиции трактовка личных префиксов *m-* и *gu-* древнегрузинского глагола как алломорф 1-го объектного лица мн. числа (с. 408 и далее). Это должно быть видно из таких глагольных словоформ, как *car-m-iquan-n-a* // *car-gu-iquan-n-a* «(он) повел (нас)», где семантика плюралиса закреплена за суффиксом *-n*. На наш взгляд, в книге недостает хотя бы краткого раздела, посвященного эволюции словарного состава грузинского литературного языка, в определенной степени подготовленного целой серией уже опубликованных в Грузии словарей-симфоний языковых памятников (ср. [2, 3]). В предлагаемом переиздании книги будет необходимо устранить вкравшиеся в нее погрешности (в частности, в подаче библиографии на иностранных языках).

В заключение остается еще раз подчеркнуть, что З. А. Сарджвеладзе удалось создать ценный и нужный труд, синтезирующий достижения предшественников, по-новому освещающий широким комплекс проблем, традиционно стоявших перед историками грузинского язы-

ка, а также намечающий перспективы дальнейшего изучения предмета. Не приходится сомневаться в том, что это быстро разошедшееся издание станет необходимым отправным пунктом для всех последующих работ в этой области. Ценно, наконец, что книга совмещает в себе жанр исследования и учебного пособия.

Ониани А. Л., Климов Г. А.

Viel M. La notion de «marque» chez Troubetzky et Jakobson. Un episode de l'histoire de la pensée structurale. P.: Didier édition, 1984. 783 p.

Рецензируемая книга — детальное исследование по истории лингвистики XX в. Здесь тщательно прослеживается становление понятийного аппарата классической фонологии и его роль в формировании системно-функционального подхода ко всем явлениям языка. Автор пытается установить точную дату появления того или иного фонологического термина, выяснить, кто именно, когда и в какой связи обнаружил тот или иной фонологический феномен и «изобрел» понятие признака и оппозиции, архифонемы и нейтрализации, корреляции и дизъюнкции, как уточняется содержание в процессе превращения отдельных понятий в целостный понятийный аппарат фонологии; когда было осознано их общелингвистическое значение и кто перенес эти понятия в морфологию, лексику и синтаксис. Исследуя процесс становления общелингвистического характера понятий, зародившихся в фонологии, сам М. Вьель пытается «навести мосты» (*jeter des ponts*) между фонологией, с одной стороны, и морфологией, лексикой и синтаксисом — с другой.

Книга состоит из Введения (с. 9—26), пяти глав, Заключения (с. 703—712) и научного аппарата, включающего в себя Цитацию (с. 711—745), Библиографию (ок. 225 названий) и разного рода индексы (имена, языки, термины).

В первой главе — «Общая фонологическая модель» (с. 27—152) — описываются первые шаги фонологии, первые фонологические понятия, подробно разбирается личный вклад Н. С. Трубецкого и Р. О. Якобсона, роль Н. Н. Дурново (с. 127—131), А. Мартине, Б. Трюки, С. Карцевского и др. в создании первой «общей модели» фонологии. Констатируется, что термин «фонема» впервые встречается в работе Якобсона 1923 г. Здесь, по мнению М. Вьеля, заложен базис теории фонем и ее вариантов. Термин «фонологическая система» впервые появляется в январе 1927 г. (Пражская конференция), хотя фонема остается

ЛИТЕРАТУРА

1. *Сарджвеладзе З. А.* Вопросы истории грузинского литературного языка. Тбилиси, 1975 (на груз. яз.).
2. *Имнайшвили И. В.* Симфония-словарь к грузинскому Четвероголаву. Тбилиси, 1948—1949 (на груз. яз.).
3. *Симфония к поэме Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре»* / Сост. под рук. Шанидзе А. Г. Тбилиси, 1956 (на груз. яз.).

еще «акустико-моторным впечатлением» (с. 36—37). Датой рождения фонологии автор считает 1928 г. (I Международный конгресс лингвистов), а «Proposition» Н. С. Трубецкого, Р. О. Якобсона и С. Карцевского к этому конгрессу — первым фонологическим манифестом. Здесь подчеркивается, что русские слависты — инициаторы фонологии — не были учениками И. А. Бодуэна де Куртена и Л. В. Щербы (с. 38). Это верно. Более того, Трубецкой считал их лишь «наиболее яркими предшественниками фонологии на поприще славистики» [1].

Исследуя отношение основоположников фонологии к школе де Соссюра (с. 51—65), автор отмечает отрицательную реакцию Трубецкого на «невежественные» попытки связать фонологическую концепцию с идеями Соссюра, квалифицируя такого рода попытки как «совершенно возмутительные». По подсчетам Вьеля, в «Основах фонологии» Трубецкого «еще более дюжины» ссылок на Соссюра, «в большинстве своем негативных».

Противопоставление двух типов оппозиций, основанное на различении понятий корреляции и дизъюнкции («Бинном Якобсона»), было выдвинуто Якобсоном в 1928 г. Вместо более равных терминов («акустико-моторное представление», «различие» и др.) к 1930 г. стали использоваться только «фонема» и «вариант фонемы», «архифонема», «опозиция», «коррелятивная пара» и др. В 1931 г. выходит в свет «Проект международной фонологической терминологии» как пробный свод фонологических понятий.

Сосредоточив внимание на проблеме генезиса понятийного аппарата фонологии, М. Вьель оставил в тени титаническую научно-организационную деятельность создателей фонологии в международном масштабе. Новая научная теория могла остаться «частным» делом небольшой группы энтузиастов, если бы они не приложили максимум сил и энергии для пропаганды своей теории. Были

разработаны не только проект международной фонологической терминологии, но и международная программа для сбора сведений об устройстве фонологических систем самых различных языков мира. На почти ежегодных международных съездах (1928, 1929, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1938 г.) лингвистов, филологов, психологов и специализированных съездах фонетистов и фонологов Трубецкой и Якобсон непременно выступали с докладами, организовывали фонологическую секцию, заседание «рабочей группы». Они создали первое международное сообщество фонологов с национальными филиалами во многих странах мира, провели Первую международную конференцию фонологов (декабрь 1930 г.).

М. Вьель, пожалуй, прав, выделяя в качестве важнейшего события в истории нашей науки дату 31 июня 1930 г., когда Трубецкой дал объяснение механизма фонологических корреляций, коррелятивных пар как противопоставление признакового беспризнаковому, на основе наличия/отсутствия соответствующего признака. «Открытие признака» (*découverte de la marque*), по мнению Вьеля, — величайшее достижение фонологии и лингвистики вообще (с. 89), сравнимое с открытиями Архимеда и Ньютона. В роли яблока («*la pomme tombée*») здесь выступал ерь («твердый знак»), опускаемый в конце слова по новой русской орфографии: (пыль ~ пыль) → (пыл ~ пыль). Признаком корреляции по мягкости стал мягкий знак, противопоставленный «графическому нулю» как «пулевая флексия» в форме именительного падежа.

Термины «признак», «беспризнаковый», «беспризнаковость» и т. п. при содействии К. Бюлера были переведены на немецкий (*Merkmale, merkmallos...*), калькированы во французском (*marque*) и английском (*mark, unmarked*). В современной русской лингвистической литературе эти термины функционируют как заимствование (с. 95) из английского («маркированный», «немаркированный», «маркированный» и т. п.).

С введенным понятием признака стали осознаться задачи дальнейшего вскрытия «законов системообразования» (с. 74), понятия корреляции и нейтрализации получили прочный фундамент (с. 91), уточнились понятия оппозиции, фонологического родства, а понятие дизъюнкции стало отходить на задний план. Выяснилось, что при отсутствии коррелятивных оппозиций, если все оппозиции дизъюнктивные, (т. е. каждая фонема связывается со всеми другими фонемами сразу), нет и фонологической системы (с. 82). Р. О. Якобсон сразу же осознал общелингвистическое и общенаучное значение открытия Трубецкого (с. 196).

В рецензируемой книге положительно оценивается вклад Н. Дурново (идея «связанности» цепных корреляций и др.), А. Мартине (интегративная функция корреляций), Б. Трвки («закон минимального контраста») в разработку понятийного аппарата «общей фонологической модели».

«Фонологическая модель Трубецкого» анализируется во второй главе (с. 153—312). Здесь прослеживается разработка Трубецким идеи системы, системного устройства, «взаимосвязи элементов системы», «фонологической связанности». По мнению Вьеля, тезис Н. Дурново о «фонологической связанности» послужил непосредственным поводом (с. 231) *inspirée* для доклада Н. С. Трубецкого на I Международном конгрессе фонетических наук (Амстердам, 1932). Здесь впервые осознана роль нейтрализации как важнейшего системообразующего фактора. С этого момента инициатива создания фонологии полностью переходит к Трубецкому. Идея системности потребовала пересмотра как определения оппозиций, так и оснований их классификации. В связи с этим пришлось опустить «бином Якобсона» (противопоставление корреляции и дизъюнкции). Более существенным оказалось противопоставление нейтрализуемых и постоянных оппозиций. За первым определением понятия нейтрализации (Амстердам, 1932) последовали тщательная разработка теории нейтрализации (1935 г.), уточнения понятия архифонемы, позиции максимальной дифференциации, признака (с. 188) и др. Явления синтагматической ассимиляции и диссимляции, комбинаторики фонем и т. п. были подведены под парадигматическое явление нейтрализации (с. 251). Кардинальный пересмотр фонологических понятий, их увязка друг с другом на почве все большей «фонологизации» их содержания привели к последовательному освобождению от фициализма и психологизма. Вслед за Мартине и Якобсоном М. Вьель считает этот процесс прогрессивным, констатируя, что за последние пять лет жизни Трубецкой преодолел все черты психологизма, встречавшиеся в его ранних трудах и трудах его учеников (с. 165). В конце главы рассматриваются общие проблемы характера учения Трубецкого об оппозициях.

Третья глава (с. 313—438) посвящена фонологической модели Якобсона, его теории дифференциальных признаков и общих фонетических законов, разработанных им уже после смерти Трубецкого. Здесь ставится вопрос о реакции Якобсона на модификацию Трубецким общей фонологической модели. Вьель отмечает, что каждый новый свой шаг,

каждую новую публикацию Трубецкой предварительно обсуждал с Якобсоном и мечтал написать в соавторстве с ним фонологию современного русского языка (с. 318). Однако в то время Якобсон был занят разработкой проблем морфологии. Его возвращение к проблемам фонологии шло через теоретическое осмысление явлений детской речи и афазии, а также типологии фонологических систем на базе опыта применения теории признака в морфологии и семантике. В новой фонологической модели Якобсона на первое место выдвигаются дифференциальный признак, проблемы типологии и классификации дифференциальных признаков. Переосмысляются фундаментальные понятия фонологии. На месте оппозиции как противопоставления фонем в определенных позициях теперь выступает оппозиция признаков (*l'opposition nasal/oral, grave/aigu, voyelle/consonne*) уже безотносительно к позициям. Далее описывается развитие теории дифференциальных признаков Якобсона в работах его последователей и критиков (с. 369—438).

Четвертая глава (с. 439—580) носит название «Якобсон и исторический структурализм в морфологии». Отмечается, что Р. Якобсон, рано осознав общелингвистический характер открытия Трубецкого, сразу же попытался применить его в лексике и морфологии. Он описал систему русского глагола в терминах «морфологических корреляций» (1932). Вскоре аналогичный подход был применен им к анализу надежной системы русского языка (1935—1937, 1958). По словам Вьеля (с. 451, 466), Якобсон сделал для грамматики то же самое, что Трубецкий для фонологии, заложив основы лингвистического анализа с помощью корреляции и принципа признаковости (с. 584).

В пятой главе (с. 581—702) прослеживается совершенствование метода коррелятивного анализа в морфологии (работы де Гроота, Курдюковича и Якобсона).

В Заключении (с. 703—712) М. Вьель, подводя итог, констатирует, что Трубецкой «открыл» понятие признака, разработал теорию нейтрализации, идею системы в фонологии. Якобсон уточнил понятие фонемы, «изобрел» термины «корреляция» и «архифонема», использовал концепцию признака в морфологии и обобщил понятие бинарных признаков.

В свою очередь, «перебрасывая мост» между фонологией, с одной стороны, и морфологией, синтаксисом и лексикой, с другой, М. Вьель на основании анализа эволюции идей и понятий устанавливает три [закономерности общелингвистического характера: 1) признаковая (маркированная) форма более частотна по сравнению с беспризнаковой; 2) в позиции нейтрализации немаркированные формы

предпочтительнее маркированных; 3) непарные формы чаще всего беспризнаковые. Морфологический или семантический нуль стремится найти выражение в нуле фонологическом. Маркированная форма, как правило, «одевается» материалью. Эти положения не вызывают возражения и могут быть приняты для дальнейшей проверки и конкретизации.

Весьма странным в работе Вьеля кажется факт отсутствия раздела о зарождении исторической фонологии. А между тем ее создание и «преодоление антиномии Соссюра» — одна из трех (наряду с освобождением от психологизма и разработкой принципа системности) теоретических задач, стоявших перед основоположниками фонологии [2]. Появление первых историко-фонологических работ Якобсона (1929—1931) было воспринято современниками как подлинная революция в историческом языковедении [3].

Читая книгу М. Вьеля, можно подумывать, что крупнейшие научные открытия происходят случайно, как-то сами по себе. Из своего «прекрасного далёка» М. Вьель не разглядел того бесспорного факта, что корни выдающихся открытий Якобсона и Трубецкого уходят вглубь научно-этической и научно-практической жизни России первой трети XX в. В книге ничего не сказано об «*alma mater*» основоположников фонологии, Московском университете, и учителях, формировавших их научно-этическое мировоззрение, о роли так называемой «формальной» лингвистической школы! Ф. Ф. Фортунатова [4], о Московской диалектологической комиссии, где они делали свои первые шаги в науку, о Московском лингвистическом кружке (1915—1920), прообразе Пражского, и т. д.

Мощнейшим стимулом зарождения фонологии была многолетняя дискуссия по проблемам орфографии русского языка, развивавшего интуитивно-фонологический принцип правописания со времени Кирилла и Мефодия. Эта дискуссия сконцентрировалась под руководством Фортунатова огромный «мозговой трест» отечественных и зарубежных лингвистов, обсуждавших отношения не только между звуком и буквой, но и между звуком и фонемой, между буквой и графемой, между графемой и фонемой. Все это позволило тем, кто задумался о статусе фонемы, выйти за пределы акустико-физиологических данных [5, 4].

Другим стимулятором фонологии было «языковое строительство» в СССР. Грандиозные задачи создания письменности для одних народов или ее совершенствования для других и вызвали к жизни теорию построения алфавита Н. Ф. Яковлева, в основе которой лежала его «фо-

немология», (1923). Жизнь заставила искать определение фонемы как единицы, требующей графического отображения, не где-то на стороне, а в системе данного языка на данном этапе его развития. Яковлеву удалось впервые дать собственно лингвистическое определение фонемы, освободив тем самым ее от психологизма [6].

Теперь, при учете материалов, собранных М. Вьелем, картина зарождения фонологии значительно уточняется. Яковлевская модификация «теории фонем» Бодуэна — Щербы вдохновила Яковсона на разработку теории фонологии. До 1931—1932 гг. в деле создания общей и исторической фонологии он играл ведущую роль. Бесспорно, что фонологические интересы Трубецкого развились под влиянием Яковсона. С момента открытия понятия «признака», а в еще большей мере и «нейтрализации» инициатива полностью переходит к Трубецкому, Яковсон же оставляет занятия фонологией и возвращается к ним лишь после смерти Трубецкого. За последние годы своей жизни Трубецкой создал классическую фонологию, получившую характер «универсального и последовательного учения о системе оппозиций и их нейтрализации, чего не было ни в трудах предшественников Трубецкого, ни у его последователей и продолжателей» [7].

Теперь проясняется судьба экстраполяции фонологических идей в диахронию и морфологию. Между исторической фонологией Яковсона и классической фонологией пражской школы легко обнаруживается несоответствие... Краеугольным камнем последней является понятие нейтрализации, оставшееся в тени у Яковсона. То же самое наблюдается и в его работах по морфологии. Дело в том, что Яковсон стал переносить фонологические понятия и идеи в историю и морфологию (1929—1932) прежде, чем была достроена парадигма фонологии (1935—1938). А это, между прочим, означает, что достроить парадигму диахронической фонологии и диахронической морфологии — это прежде всего привести их в соответствие с классической фонологией, поставив во главу угла явление нейтрализации [8].

Несколько странным может показаться вывод М. Вьеля, что «Основы фонологии» Трубецкого имеют меньшее значение, чем его ранние работы 1935—1936 гг. (с. 175). Но такой вывод окажется естественным, если задаться целью проследить прежде всего зарождение массачусетской фонологической концепции Яковсона (1952—1956), основой которой стало понятие дифференциального признака. Так и поступил автор рецензируемой книги, вынося в ее заглавие понятие «признак», а не «нейтрализация». Этим же объясняется и отсутствие в рецензируемой книге специального раздела, посвященного исторической фонологии. Завершая рецензию, хотелось бы поблагодарить ее автора за интересный и кропотливый труд и выразить сожаление, что такого рода исследование не было проделано в нашей стране — родине фонологии.

Журавлев В. К.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Jakobson R. N. S. Trubetzkoy's letters and notes. The Hague—Paris, 1975. P. 229.*
2. *Jakobson R. Selected writings. I. Phonological studies. The Hague, 1962. P. 233.*
3. *Поливанов Е. Д.* Статьи по общему языкознанию. М., 1968. С. 135.
4. *Журавлев В. К.* Фортунатов и фонология // Сравнительно-исторические и сопоставительно-типологические исследования. М., 1983.
5. *Журавлев В. К.* Quo vadis? Камо грядеши? К истории фонологии // Фонология. Фонетика. Интонология: Материалы к IX Международному конгрессу фонетических наук. М., 1979.
6. *Яковлев Н. Ф.* Принципы фонемологии // ВЯ. 1983. № 6.
7. *Реформатский А. А. Н. С. Трубецкой и его «Основы фонологии» // Трубецкой Н. С. Основы фонологии. М., 1960. С. 360.*
8. *Журавлев В. К.* Диахроническая фонология. Состояние и перспективы // ВЯ. 1984. № 5. С. 46—47.

Маковский М. М. Английская этимология. М.: Высшая школа, 1986. 152 с.

Рецензируемая монография М. М. Маковского — третья книга автора, изданная в серии «Библиотека филолога». Ранее появились «Английская диалектология» и «Английские социальные диалекты» [1, 2]. Уже простой перечень заголовков этих книг свидетельствует о ши-

роком круге интересов М. М. Маковского: более двух десятков лет автор на большом фактическом материале кропотливо исследует весь комплекс проблем, относящихся к происхождению и семантическому своеобразию не только современной английской, но и древнеанглийской

лексики. Это в свою очередь потребовало глубокого изучения как территориальной, так и социальной стратиграфии словарного состава английского языка. Таким образом, все три книги М. М. Маковского тесно связаны между собой и образуют как бы единую «трилогию».

Рецензируемая монография состоит из двух неодинаковых по объему частей. Первая часть (с. 6—26), которой предшествует краткое Предисловие (с. 3) и список Условных сокращений названий языков и диалектов (в общей сложности в работе используются примеры из 130 языков и диалектов), посвящена общей характеристике этимологии как лингвистической дисциплины. Основную часть монографии занимает Краткий этимологический словарь современного английского языка (с. 27—148). В первой части книги подробно излагается эволюция этимологической науки от античности до наших дней, а также становление методики этимологического исследования. Подробно рассматривается понятие звукового закона, строение индоевропейского корня, а также такие языковые явления, как переразложение, опрощение, народная этимология и др. По определению автора, «этимология — это раздел языкознания, в рамках которого на основании сравнительно-исторического метода восстанавливаются (реконструируются) наиболее древняя словообразовательная структура слова и элементы его значения („внутренняя форма слова“), которые в результате действия различных внутриязыковых, культурно-социальных, межъязыковых и территориально-временных процессов оказались нарушенными, смещенными, утраченными или коптамированными. Реконструируется также характер мотивированности значения слова, возможное пересечение или контаминация нескольких корней или семантических последовательностей, ареал распространения слова (возможные смены ареала), а также факторы, оказывающие влияние на структуру и значение слова (адстратные, субстратные и суперстратные явления, соотношение значения слова и его изчленений фактами истории, материальной культуры, этнографии, религии и мифологии того или иного народа)» (с. 6).

Автор солидаризируется с В. Н. Топоровым и другими ведущими этимологами современности в том, что «в процессе истории слово может иметь не одну, а несколько разнородных связей с ней, одно и то же слово может восходить к двум и более различным прототипам...» (с. 10). Автор также разделяет мнение В. Н. Топорова, в соответствии с которым «многозначная» этимология или «полиэтимологичность» слов является

следствием некоторых принципиальных и неотъемлемых характеристик самого слова» (с. 10). Именно на принципах «множественности этимологий» автор строит свой Этимологический словарь. Далее М. М. Маковский указывает на огромную важность для этимологии выяснения филологической достоверности таких слов, как *legomena* и других спорных слов, встречающихся в письменных памятниках языка, поскольку этимологизировать так называемые «ghost-words» («слова-призраки»), т. е. лексемные или семантические образования, возникшие в результате ошибки или контаминации в процессе переписки текста, не имеет никакого смысла. Исследование «ghost-words» — сложный и трудоемкий процесс, требующий хорошего владения методами филологического анализа, палеографии и эмэндации текста. Анализ целого корпуса спорных древнеанглийских слов М. М. Маковский провел в [3], где также исследуется филологическая достоверность ряда слов современных германских языков, а в его книге [2] проверке на филологическую достоверность подвергаются многие слова современного английского сленга.

Свое отношение к «звуковым законам» автор выразил словами известного советского этимолога В. И. Абаева: «Нужно быть слепым, чтобы не видеть тех громадных результатов, которые достигнуты в языковедении на основе исследования и учета фонетических закономерностей. Но нужно быть если не слепым, то очень близоруким, чтобы не заметить тех поправок, которые жизнь на каждом шагу вносит в звуковые „законы“. Я сказал бы так: исследование, основанное на рабской вере в непогрешимость звуковых законов, обесценивается наполювину; исследование, вовсе игнорирующее эти законы, не имеет вообще никакой цены» (с. 22). Автор отмечает, что при рабском следовании фонетическим законам «...слова, имеющие в своем составе фонетический элемент, „предусмотренный“ звуковым законом, сближаются между собой, хотя этот фонетический элемент в действительности может оказаться лишь вариантом фонетического элемента, который данной закономерностью не „предусмотрен“; с другой стороны, слова с фонетическими элементами, не „предусмотренными“ соответственно, не сближаются между собой, хотя представленный в этих словах фонетический элемент как бы „затушевывает“ истинную близость соответствующих слов, „привычный“ фонетический элемент которых может оказаться не представленным. Этимологизирование только на основе фонетических „законов“ неизменно суживает, схематизирует, упрощает (или, наоборот, усложняет) рамки исследования (в ряде случаев эти-

молгия слова становится вообще невозможной из-за отсутствия „подходящих“ звуковых сопоставлений), не позволяет рассматривать язык во всей его сложности, во всех аспектах и ракурсах» (с. 20—21). В связи с изложенным встает вопрос об отношении между графическим и звуковым (фонетическим) рядом в древних письменных памятниках языка. Неполное и непоследовательное соответствие орфографии и фонетики неоднократно подчеркивалось в специальных работах.

М. М. Маковский отмечает большую важность для этимологии метода экстраполяции, о котором в свое время писал Э. А. Макаев: на основе одних фонетических или семасиологических связей синхронии или диахронии делаются выводы об обязательном наличии других связей, непосредственно не засвидетельствованных, или о невозможности существования определенных форм, связей, процессов [4]. Интересной и в то же время эффективной процедурой является решение «задач на омонимы»; это нередко позволяет доказать, что корни, считавшиеся омонимичными, на самом деле таковыми не являются и исторически могут интерпретироваться как единый корень. Подобная процедура, предложенная О. Н. Трубачевым [5], неоднократно используется М. М. Маковским в его словаре. Отметим также, что в первой (теоретической) части рецензируемой книги приведена обширная литература по этимологии (вплоть до 1985 г.).

Предлагаемый «Краткий этимологический словарь современного английского языка» является первым опытом публикации подобного рода в советской лексикографии. Выбор лексем в этом словаре весьма оригинален: в него включены по преимуществу те английские лексемы, которые в специальных лексикографических пособиях либо не получили никакого историко-семасиологического объяснения (пометы «of obscure origin», «origin unknown»), либо истолкованы явно неудовлетворительно. Словарь построен по принципу «многое о немногом»: если в «классических» этимологических словарях английского языка этимология отдельного слова занимает обычно несколько строк, то в этом словаре рассмотрение каждого слова представляет собой фактически самостоятельное исследование (например, статья *help* занимает почти 3 страницы текста, статья *tongue* — 2 страницы и т. д.), в котором не только учитывается специальная литература, посвященная этимологии данного слова, но в большинстве случаев дается собственное оригинальное этимологическое решение автора в рамках множественной этимологии.

При этом в словаре не только критически рассматриваются этимологии, сделанные в прошлом, но и широко используются семасиологические параллели, внутренняя реконструкция, а также филологический анализ, который позволяет в ряде случаев выявить контаминацию слов и значений. Приведем некоторые из новых этимологических решений, предложенных М. М. Маковским. Слово *blood* «кровь» обычно соотносится с и.-е. *bhl̥s*, прич. прош. вр. *bhl̥to-* «цвести, расцветать» (в связи с ярким цветом крови): известные и.-е. корни, обозначающие кровь, считались германцами табу (ср. и.-е. *even*, лат. *crucor, sanguis*). М. М. Маковский указывает на то обстоятельство, что кровь была обычным атрибутом сакрального действия [ср. англ. диалект. *blute* «астю», др.-англ. *lutan* «гнуть» в смысле «поклоняться, оказывать уважение», гот. *blōtan* «уважать, почитать», лат. *ludus* (имеется в виду ритуальная игра)]. Во время ритуального действия обычно делалось жертвоприношение, проливалась кровь. Англ. слово *bride* «невеста» соотносится автором с др.-сев. *broddr* «Pfeil», швед. *brodd*, дат. *brod* «Stachel», англ. диалект. *brod* «Stachel, Nagel», возможно также русск. *прут*, нем. *Rute*: ветка, прут в древности были символом клятвы или окончания, заключения сделки, в том числе брачной (типологически ср.: лат. *stipula* «стебель», но *stipulatio* «формальное обещание, условие договора», *stipulor* «выговаривать себе какое-либо условие, договариваться, требовать формального обещания») ¹.

Отличительной стороной словаря М. М. Маковского является то, что в нем используется германский диалектный материал (как территориальные, так и социальные диалекты английского, немецкого, шведского, датского, норвежского языков), а также целый ряд ярких параллелей из других языков (в частности, тохарского и хетского), ранее не использовавшихся при этимологизировании соответствующих слов.

¹ Оригинальны также и другие этимологии, предложенные автором рецензируемой книги, например, для слов: *air* «внешний вид», *aloof* «поодаль, в стороне», *ape* «обезьяна», *bag* «мешок», *bat* «летучая мышь», *berry* «ягода», *brain* «мозг», *cast* «бросать», *dog* «собака», *doll* «кукла», *dove* «голубь», *drug* «лекарство», *empty* «пустой», *evening* «вечер», *fish* «рыба», *flat* «квартира», *game* «игра», *good* «хороший», *to happen* «случиться», *lamb* «ягненок», *to like* «нравиться», *monkey* «обезьяна» и др. Отметим, что в ходе исследования автор устанавливает целый ряд интересных семасиологических переходов.

Автор подчеркивает, что «образование новых значений в языке может осуществляться не только на основе специфических для каждого языка психологических ассоциаций, но и подвержено сильному влиянию религиозной и мифологической символики...» (с. 20). Обнаруживая прекрасные знания мифологии и религии, автор успешно использует их при разработке отдельных этимологических решений.

Следует, наконец, отметить, что в своем исследовании М. М. Маковский исходит из принципа возможного варьирования фонетических элементов в слове, причем некоторые из фонетических вариантов (особенно в примерах из древних языков, почерпнутых из соответствующих языковых памятников) могут быть не представлены в языке. В связи с этим автор рассматривает такие явления, как подвижные формативы и мена согласных и гласных в составе корня.

При всех достоинствах рецензируемой книги в ней имеются отдельные неточности. Например, анализируя слово *gravity* «подливка», автор указывает, что «первоначальное значение этого слова, возможно, „rot-liquor, rotage“» (с. 80). Слово *potage* означает «суп, похлебка». Это значение слова *gravity* не зафиксировано в Большом Оксфордском словаре. Первоначальным значением слова в среднеанглийский период было «подливка к мясным блюдам, состоящая из бульона, миндального молока, специй, вина или эля». При этимологическом анализе слов в одних случаях (*rise, sheep, steal* и др.) исходные формы приводятся, а в других (*bird, road, speak, trap* и др.) они не даются. Исходные формы следовало бы привести во всех случаях. Это особенно важно тогда, когда они не совпадают с современными значениями слов. Семасиологические параллели, хотя они и очень важны, не могут заменить их. Автор вполне справедливо отмечает, что слово *deuce* «черт» «восходит к лат. *deus* „два“: число два считалось несчастливим, так как представляет собой первое четное число в ряду натуральных чисел...» (с. 20). Следовало бы указать, что в английском языке существует омоним этого слова — *deuce* «двойка» (в картах).

Список использованных словарей (с. 148—149) содержит 59 названий — не только английских этимологических словарей, но и работ, посвященных этимоло-

гии всех других языков, привлеченных для сравнения в рецензируемой книге.

К сожалению, в тексте книги мы обнаружили и ряд досадных опечаток. Так, на с. 54 при анализе английского слова *cast* «бросать» дается сопоставление с «др.-инд. *kaesyn, kast* „смотреть, наблюдать; охранять; ждать“». Здесь следует, однако, читать не др.-инд., а осет. (приводятся осетинские слова, а не древнеиндийские). На с. 113 дважды приводится сопоставление с одним и тем же осетинским словом *aeftyd, aeftud* «накидывать, набрасывать, прибавлять». В списке сокращений на с. 150 сокращение ZfrPh расшифровано как «Zeitschrift für vergleichende Spachforschung» вм. «Zeitschrift für romanische Philologie». Однако учитывая трудоемкость набора, можно считать, что опечаток сравнительно немного и они не снижают ценности книги.

Монография М. М. Маковского — новаторская поисковая работа, посвященная разработке сложных проблем семасиологии и исторической лексикологии не только английского, но и германских языков вообще. Высокая культура этимологического анализа, проводимого на широком культурно-историческом фоне, использование огромного корпуса языковых фактов, ранее не привлекавшихся для исследования, ряд оригинальных семасиологических решений, содержащихся в книге, прекрасное знание специальной литературы (как общетеоретической, так и посвященной этимологии отдельных слов) — все это делает рецензируемую монографию незаменимым справочным пособием для каждого лингвиста, интересующегося вопросами этимологии.

Купин А. В.

ЛИТЕРАТУРА

1. Маковский М. М. Английская диалектология. М., 1980.
2. Маковский М. М. Английские социальные диалекты. М., 1982.
3. Маковский М. М. Системность и асистемность в языке. М., 1980.
4. Макаев Э. А. Структура слова в индоевропейских и германских языках. М., 1970. С. 34.
5. Теория и практика этимологических исследований. М., 1985.

Вышедшая в Париже в 1984 г. книга — докторская диссертация известного французского русиста Маргерит Гиро-Вебер вызвала живой отклик лингвистов. Последовал ряд рецензий, давший монографии высокую оценку [1—5].

Чем объяснить интерес специалистов, возбужденный работой М. Гиро-Вебер? По-видимому, прежде всего тем, что книга современна. Современна не в том смысле, что следует в фарватере доминирующего или «модного» течения сегодняшней лингвистики, а в том, что отвечает назревшим потребностям синтаксической науки.

Семантико-синтаксические исследования последних десятилетий все больше выявляют разрыв между существовавшими грамматическими теориями и реальным языковым устройством. Все отчетливее становится потребность в теориях, преодолевающих этот разрыв. Книга М. Гиро-Вебер представляет одну из них.

При бурной смене методов и направлений в языковедении нашего времени устоялось два типа методики грамматических работ: одни иллюстрируют материалом принятую концепцию, другие, не предвзято изучая материал, выводят концепцию из найденных в нем закономерностей. Книга М. Гиро-Вебер представляет второй тип методики, эвристическая сила которого способствует продвижению вперед нашего знания о языке.

Название книги, объявляющее объектом исследования русские предложения без номинативного компонента, само по себе уже предвещает нестандартность подхода. Оказывается, безноминативные предложения составляют крупный массив в системе русского синтаксиса, заслуживающий гораздо большего внимания, чем им уделялось в описательных грамматиках, особенно в зарубежной русистике.

Общепринятая квалификация, сгрудившая все разнообразие их типов, моделей в разряде односоставных предложений по единственному признаку — отсутствию номинатива, пренебрегала как семантическими отношениями, так и синтаксическим характером связи между компонентами. Сам способ отрицательного именованного объекта — по отсутствующему признаку — свидетельствует о недостаточной осмысленности предшествующей наукой важности этого признака.

Чтобы выявить существенные черты их сходств и различий, необходимо понять единство их семантической и формальной организации. Автор стремится «связать формальное и семантическое, кото-

рые идут в паре и которые не должны быть разделены» (с. 14).

Таким образом, в центре работы — вопросы взаимодействия синтаксиса и семантики и поиски новой классификации предложений на этой основе, т. е. наиболее актуальные проблемы современного синтаксиса. Кропотливо и критично изучает М. Гиро-Вебер труды своих предшественников, все поверяя материалом, принимая разумные идеи и крупницы опыта, но сохраняя независимость взгляда.

Обширный материал собран из русской художественной литературы, а также публицистики XX и XIX в., демонстрирующий хороший литературный вкус автора и чувство языка.

Обсуждая статус безноминативных предложений, М. Гиро-Вебер показывает, что общепринятое деление предложений на односоставные и двусоставные ведет к объединению различных конструкций и к разграничению конструкций подобных (с. 12).

Типы конструкций служат выражению их структурного значения (*sens structural*). Это понятие автор определяет как минимальный семантический инвариант всех предложений, построенных по той же модели (с. 15). Четыре элемента, участвующие в выражении структурного значения, приняты за главные основания классификации: 1) наличие или отсутствие грамматического согласования предиката с именным конституентом, принадлежащим к минимуму предложения, 2) падеж именного конституента, 3) неэллиптическое отсутствие именного конституента, 4) личное окончание глагола в случае неэллиптического отсутствия именного конституента в номинативе. Именной конституент предложения определяется как именная форма не управляемая, принадлежащая к минимуму высказывания и участвующая в структурном значении конструкции.

Критерий согласования позволяет разделить простые предложения на согласованные (номинатив + согласованный глагол) и несогласованные (косвенный падеж + глагол несогласованный). Они противопоставлены и семантически. Предложения несогласованные эксплицитно не активны: их именной конституент никогда не означает активного агенса. Предложения согласованные способны выражать активное и неактивное значения. В терминах привативной оппозиции они представляют соответственно маркированный и немаркированный члены.

Среди согласованных предложений в книге выделены предложения эллиптические — в которых отсутствующий знак,

представляющий подлежащее, может быть восстановлен (рассматриваются в гл. II), а также предложения с нулевым подлежащим, где нуль (в смысле Ф. де Соссюра — Ш. Балли — Р. Якобсона) представляет значимое отсутствие, означаемое без означающего: сюда отнесены так называемые неопределенно-личные, обобщенно-личные и неопределенно-предметные предложения (гл. III).

Для классификации несогласованных предложений основанием служит надежный конституент. Автор различает: 1) предложения генитивные (среди них негативные акцентуальные *Мороза не чувствовалось в квантитативные Денег было мало*), 2) предложения дативные (*Мне страшно, Ему не спалось*), 3) аккумулятивные (*Его знобит, Ее осенило*), 4) инструментальные (*Ветром срывает шлем, Поля занесло песком*), 5) локативные (*За окном потемнело, Здесь морозно*), 6) предложения с конституентом С + Твор. (*С билетами трудно, С работой не ладится*), 7) предложения с конституентом О + Предл. (*Об этом много говорилось*). Для каждого из перечисленных типов конструкций определено его структурное значение. Так, дативные модели означают, что некое существо испытывает какое-то состояние, локативные предципируют характеристику пространства и т. д.

В основных главах книги IV—XI последовательно рассматриваются эти типы предложений. Богатые материалом, эти главы содержат разносторонний анализ каждой модели, ее семантики, формальных признаков, возможностей лексического наполнения, системного места модели среди подобных, дифференциацию разновидностей. Свежо и разнообразно представлены генитивные количественные и аккумулятивные модели. Важно для понимания дативных моделей четкое разделение предикатов состояния и оценки. Для инструментальных моделей выявлена существенность временной характеристики предикатов. Убедительно решен вопрос о принадлежности предложения типа *В комнате пахнет яблоками* к локативным моделям, характеризующим пространство.

Связанные с преподаванием русского языка рецензенты замечают, что целые разделы книги прямо просятся в уроки, так значительна их оснащенность и доказательность.

Оставляет сомнения гл. XI, включающая в ряд несогласованных моделей предложения типа *Об этом сообщалось в газетах*. В ней содержатся интересные наблюдения над рассматриваемой конструкцией, но вряд ли правомерно считать форму О + Предл. предципируемым конституентом: скорее это свободный компонент делиберативного значения, сопро-

вождающий речемыслительные глаголы в их активном и пассивном вариантах, а здесь вынесенный в препозицию тематической ролью в актуальном членении (ср.: *В газетах сообщалось об этом, В учебнике рассказывается о советской школе* — примеры на с. 352, 354). Сам автор справедливо отмечает необходимость учитывать контекстное окружение изучаемых предложений (с. 188).

Требует дальнейших размышлений трактовка некоторых явлений, объединенных в гл. II под заглавием «Механизмы элиминации номинативного подлежащего»¹. Автор замечает здесь интересную особенность русского синтаксиса: в неполных предложениях при названном подлежащем с одушевленным референтом предикат сохраняет свое строение (*— Пришел?*, ср.: *— Иван пришел?*), а при названном подлежащем с неодушевленным референтом предикат изменяется (*— Началось?*, ср.: *— Передача началась?*; *Закрывается на ремонт, Окрашено и под.*, с. 35—40). Ср., впрочем: *— Пришел?* (о поезде). Вопрос о значении формы среднего рода ед. числа в подобных случаях еще ждет осмысления.

Другое явление, описываемое в этой главе, названо автором функциональным сдвигом (*glissement fonctionnel*, с. 49—52). Такой сдвиг видит автор в предложениях типа *До города километр и Мальчику год*: существительное в им. падеже здесь «перестает осознаваться как подлежащее и становится именной частью сказуемого». Аттестация именительного как подлежащего, даже и бывшего, не вполне доказательна. Вероятно, к основаниям квалификации главных членов предложения следует причислить и такой структурно-семантический критерий, как соотношение предметного и признакового значений. Трудно допустить, чтобы в предикативном акте возрастному признаку *год* приписывался его носитель *мальчик*, а не наоборот. Вопрос этот остается дискуссионным. Большая заслуга М. Гиро-Вебер в том, что она обнаружила и показала противоречия между возможностями традиционного грамматического анализа и семантикой предложения. Не исключено, что это противоречие — между действительной семантико-синтаксической структурой и не совсем адекватной ее традиционно-грамматической интерпретацией. Может быть, «функциональный сдвиг» происходит в нашем лингвистическом сознании.

В целом главы о русских предложениях без номинатива приводят автора к обоснованному выводу о двукомпонентности этих предложений, именной конституент

¹ См. статью М. Гиро-Вебер на русском языке [6].

которых, в одном из косвенных падежей, связанных предикативными отношениями со вторым конституентом, сопоставим по своему синтаксическому статусу с подлежащим.

Насыщенная информативно, поучительная в концепционном отношении, непосредственно полезная для практики изучения языка, стимулирующая синтаксическую мысль и в небесспорных своих частях, книга М. Гиро-Вебер — значительный шаг в исследовании русского синтаксиса.

Золотова Г. А.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Mrázek B.* // *Slavia*. 1985. Seš. 3. Rec.: *Guiraud-Weber M.* Les propositions sans nominatif en russe moderne. P., 1984.

2. *Adamec P.* // *Československá rusistika*. 1985. № 3. Rec.: *Guiraud-Weber M.* Les propositions sans nominatif en russe moderne. P., 1984.
3. *Kirkwood J. M.* // *The Slavonic Review*. 1986. V. 64. № 2. Rec.: *Guiraud-Weber M.* Les propositions sans nominatif en russe moderne. P., 1984.
4. *Roberts Ch.* // *Irish Slavonic Studies*. 1985. № 6. Rec.: *Guiraud-Weber M.* Les propositions sans nominatif en russe moderne. P., 1984.
5. *Breillard J.* // *Revue des Études Slaves*. 1985. 57(2). Rec.: *Guiraud-Weber M.* Les propositions sans nominatif en russe moderne. P., 1984.
6. *Гиро-Вебер М.* Устранение подлежащего в русском предложении // ИАН СЛЯ. 1984. № 6.

Пюрбеев Г. Ц. Современная монгольская терминология (Лексико-семантические процессы и деривация). М.: Наука, 1984. 120 с.

Рецензируемая монография привлекает внимание тем, что в ней впервые с общетеоретических позиций довольно обстоятельно рассмотрены узловые проблемы современной монгольской терминологии, проанализированы основные тенденции и процессы, определяющие характер ее развития. Выход в свет книги Г. Ц. Пюрбеева восполняет существенный пробел в монголоведной научной литературе. В целом работа может быть оценена как важный этап на пути всестороннего лингвистического изучения и систематизации терминологических фактов и явлений монгольского языка.

Коренные преобразования, которые произошли в социально-экономической и культурной жизни МНР за 60 лет после Народной революции, поступательное развитие страны по пути научно-технического прогресса вызвали возникновение огромного количества новых терминов в национальном литературном языке. Поэтому необходимо было должным образом обобщить накопленный опыт терминотворчества, охарактеризовать современное состояние монгольской терминологии, ее деривационную базу, указать на позитивные и негативные явления. С этой трудной и сложной задачей автор справился весьма успешно.

Монография состоит из введения, трех глав и заключения. Во введении прежде всего рассматриваются основные признаки термина, специфика его функционирования. В отличие от общеупотребительных слов, используемых широким кругом носителей литературного языка, термины создаются в сфере профессионального общения людей, по роду занятий принадлежащих к той или иной

области научной и производственной деятельности» (с. 5). В связи с этим термины носят ограниченный профессиональный характер. Далее, термины всегда связаны с понятиями определенной области, потому они более информативны и точны, чем общеупотребительные слова. Автором показаны существенные различия между терминами и нетерминами по их функции, по способу и средствам их образования и т. д. Определяя место терминологии в современных языках, исследователь пишет, что «она входит в состав лексики языка на правах самостоятельной подсистемы» (с. 5).

Первая глава книги посвящена характеристике лексико-семантических явлений в терминологии. В отличие от некоторых специалистов, рассматривающих терминологию как абсолютно автономную систему, которой несвойственны лексико-семантические процессы, происходящие в нетерминологической сфере лексики, автор считает и убедительно доказывает, что терминам присущи такие общезыковые явления, как полисемия, омонимия, антонимия и синонимия. Это связано с тем, что терминология является составной частью национального литературного языка и должна с неизбежностью отражать общелингвистические процессы. Особенности терминологической многозначности, синонимии и т. д. заключаются лишь в их известной ограниченности и более специализированном характере выражения.

В данной главе подробно излагаются причины и характер проявления полисемии терминов, развивающейся главным образом в результате переноса наименования с одного предмета на другой;

омонимии в терминологии как следствия распада многозначности слов, а также их метафоризации; антонимии как явления семантической оппозиции слов одной и той же лексико-грамматической категории и синонимии, проявляющейся в наличии двух или более слов, находящихся в отношениях смысловой общности или близости и противопоставляемых друг другу по какому-либо из следующих признаков: по оттенку в значении, экспрессивно-эмоциональной окраске, стилистической принадлежности и сочетаемости (с. 15). В этой главе подробно показаны способы образования омонимов, процессы развития многозначных и синонимичных друг другу терминов.

Автором исследования тонко подмечено, что «в языке идет активный поиск и отбор наиболее подходящих соответствий» (с. 18). Вместе с тем указывается и на случаи, когда лингвисты, главным образом, лексикографы, переводчики и другие практические работники создают явно неудачные, искусственные термины, приводящие к многозначности, лексической и орфографической вариативности в сфере специальных наименований. Поэтому в бюллетенях Терминологической комиссии и в словарях должны найти место лишь такие термины, которые отвечают всем требованиям и наиболее точно выражают специальные понятия, в связи с чем необходима постоянная работа по унификации и совершенствованию терминологии.

Во второй главе рассматриваются вопросы вариантности в терминологии. Автор считает, что в отличие от однокоренных слов-синонимов, представляющих разные словообразовательные единицы, «варианты слов, являясь видоизменениями одной и той же структуры, не имеют самостоятельных лексических значений» (с. 32).

В терминологической системе монгольского языка встречаются фонетические и морфологические варианты. Из них, как установлено автором, наиболее распространенными являются фонетические варианты, которые подразделяются на несколько групп: варианты с различением гласных, варианты с различением согласных, варианты с выпадением согласных и варианты с метатезой.

Говоря о вариантах с различением гласных, автор правильно отмечает, что в лексикографических источниках допускается некоторое противоречие: здесь встречаются отдельные термины то с гласным *ö*, то с гласным *ü*, например *үгүйлэгдэхгүйн* «подлежащее» и *өгүүлэхгүйн* «скажемое» (с. 34). Вместе с тем к подобным же «противоречиям» можно отнести такие примеры, как *өгүүлэл* и

үгүйлэл «статья», *исэл* и *эсэл* «окись», *гортиг* и *гортийг* «циркуль», которые представляют собой не фонетические варианты слов-терминов, как это трактуется в книге, а разницей в их фиксации, отклонения от правил орфографии. В целом материал второй главы монографии имеет важное общетеоретическое значение. Вопреки мнению многих терминоведов, работающих с разными языками, автор доказывает, что вариантность присуща терминам, как и любым другим элементам языка. В этом отношении содержание работы Г. Ц. Шорбеева переключается с проблематикой Всесоюзной конференции «Вариантность как свойство языковой системы» (Москва, декабрь 1982 г.), в ряде докладов которой было показано наличие вариантности в сфере терминологии.

Большой интерес вызывает третья глава «Терминологическая деривация», где на богатом фактическом материале анализируются различные способы образования терминов национального и интернационального происхождения. Наиболее продуктивными и распространенными способами создания терминов автор считает следующие: морфологический, морфолого-синтаксический, синтаксический и контекстуально-семантический. Здесь, правда, остается не вполне ясным, в чем состоит контекстуальный характер этого способа образования терминов. В общей литературе по терминологии данный способ называют обычно семантическим или способом семантической деривации.

Морфологический способ включает в себя: образование терминов с общим предметным значением (здесь приведено 17 продуктивных деривационных моделей, например, основа глагола + суф. *-уур*, основа глагола + суф. *-гч*, основа глагола + суф. *-чил*, *-ч* и др.); образование терминов с отвлеченным значением процессов (приведено 7 моделей: основа глагола + суф. *-л*, основа глагола + суф. *-гаа*, основа имени + суф. *-жуулах*, *-члах* и др.); образование терминов с отвлеченным значением признака (описаны 2 модели: основа глагола + суф. *-л*, основа имени + суф. *-шил*).

Восьма продуктивным в монгольских языках считается морфолого-синтаксический способ образования терминов, или словосложение; см. [1—3]. Выделены четыре активно действующих типа словосложения: аффиксированное словосложение, когда сложное слово в отличие от соответствующего словосочетания объединяется общим аффиксом; словосложение на основе терминообразующих элементов как готовых единиц; парное (сочинительное) словосложение и словосложение подчинительного типа. Здесь хорошо показана специфика терминообразования в

монгольском языке, определяемая особенностями грамматического строя этого языка. Очевидно, было бы целесообразно представить основные терминообразующие элементы монгольского языка в виде таблицы.

Большую роль в терминообразовании играет синтаксический способ обозначения понятий, в частности использование словосочетаний. Автором справедливо отмечены такие преимущества терминов-словосочетаний перед однословными терминами и терминами-композициями, как большая информативность, однозначность, сужение объема широких понятий в контексте словосочетания, что делает синтаксический способ одним из ведущих среди других способов терминообразования. В монографии детально рассмотрена лексико-семантическая структура дву-словных и многословных моделей, которыми представлено подавляющее большинство терминологических словосочетаний монгольского языка.

В изучаемом языке широко используется контекстуально-семантический способ образования терминов, который реализуется в двух вариантах: терминологизации значения общеупотребительного слова и калькировании иноязычного термина. В последнее время в связи с необходимостью ускоренного создания научно-технической терминологии в монгольском литературном языке, кроме прямого заимствования интернациональных терминоэлементов (причем не только греко-латинского происхождения), особенно широко стали применяться кальки с русского, через него из других языков.

В современной монгольской терминологии все заметнее используются аббревиатурные наименования и символы — знаки математического языка, что связано главным образом со стремлением языка к расширению базы обозначения научных понятий и с тенденцией к экономии средств передачи их содержания.

К работе приложен довольно полный перечень использованной литературы, в который вошли как труды по монгольскому и другим родственным языкам, так и многие обобщающие монографии и статьи по терминологии, основанные на

материале русского языка. Приходится только сожалеть, что в книге отсутствует сопоставительный статистический анализ количественного (процентного) распределения терминов по способам образования, степени продуктивности и с точки зрения перспективности использования разных структурных моделей. Работа значительно выиграла бы, если бы читатель мог найти в ней необходимый справочный материал, оформленный в виде 1) таблицы национальных и международных терминоэлементов с указанием их сочетаемости; 2) индекса суффиксов, участвующих в терминообразовании; 3) тематических списков простых (непроизводных и производных), сложных и составных терминов. Все это помогло бы нагляднее представить процесс терминотворчества в современном монгольском языке и лучше понять его специфику.

В заключение можно с полным основанием сказать, что рецензируемая монография является первым крупным исследованием, в котором на обширном и документированном материале обсуждаются актуальные теоретические проблемы современной монгольской терминологии. Книга представляет большой научный интерес не только для лингвистов-монголоведов, но и для специалистов, занимающихся вопросами терминологии на материале разных языков. Вместе с тем работа имеет важное практическое значение: она может служить руководством для переводчиков и ценным учебным пособием для преподавателей монгольских языков.

Будаев Ц. Б., Лейчик В. М.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Бертагаев Т. А.* Лексика современных монгольских литературных языков. М., 1974.
2. *Лусанвандан Ш.* Орчин цагийн монгол хэлний бүтэц. Улаанбаатар, 1968.
3. *Сусеева Д. А.* Закономерности развития калмыцкого языка в советскую эпоху (развитие словообразовательной системы). Элиста, 1978.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

С 28 по 30 октября 1986 г. в Ленинграде проходила Всесоюзная конференция «Национальные лексикографические фонды. Проблемы формирования, систематизации и эффективности использования (К 100-летию Словарной картотеки Института русского языка АН СССР)», организованная Научным советом по лексикологии и лексикографии АН СССР, Институтом русского языка АН СССР и ЛО Института языкознания АН СССР. Ее открыл председатель Оргкомитета конференции зам. директора ЛО ИЯЗ АН СССР А. И. Домашнев. В своем выступлении он отметил, что идея проведения данной конференции получила полную поддержку широкой научной общественности, а разработанная Оргкомитетом проблематика заинтересовала многих ученых нашей страны. А. И. Домашнев выразил сожаление по поводу того, что Оргкомитет не имел возможности пригласить на конференцию всех заинтересованных лиц, работающих с картотеками. Он подчеркнул важность создания и пополнения картотечных собраний как незаменимого источника научно-производственной деятельности лексикографов и лексикологов.

Во время проведения конференции состоялось пять пленарных заседаний, работали две секции: Картотеки современного языка и Картотеки по истории языка и диалектологии. На всех заседаниях присутствовало более 300 ученых из 20 городов Советского Союза. Было заслушано 47 докладов и сообщений, которые вызвали оживленную дискуссию. На первом пленарном заседании с докладом «Большая картотека за 100 лет» выступила заведующая Большой картотекой Словарного отдела Института русского языка АН СССР Р. П. Рогожникова (Ленинград). Она рассказала об истории картотеки, о том, что на ее базе созданы академические словари: «Словарь современного русского литературного языка» в 17-ти томах, «Словарь русского языка» в 4-х томах и другие фун-

даментальные справочники по русскому языку. Докладчик подчеркнула, что в Большой картотеке как наиболее полному собранию русской лексики и фразеологии постоянно обращаются советские и зарубежные исследователи — представители многочисленных специальностей (языковеды и литературоведы, историки, археологи и этнографы), отбирая материалы для исследования по русскому языку и литературе.

Проблематика конференции предусматривала обобщение опыта создания и использования картотек различного типа и назначения, путей увеличения их эффективности для научно-исследовательской работы, а также способов наиболее объективного отражения состояния языка в определенную эпоху. Докладчики познакомили участников конференции с состоянием картотечной и словарной работы, которая ведется в вузах и научно-исследовательских институтах нашей страны и за рубежом. С интересом были заслушаны доклады и сообщения В. П. Вомперского (Москва), Л. П. Клакуцкой (Москва), Е. Л. Лилевой (Москва), В. М. Мокленко (Ленинград), А. И. Журавского (Минск), Л. С. Паламарчука (Киев), М. Лепник (Таллин), С. Г. Бережана (Кишинев) и др.

Н. З. Котелова (Ленинград) в докладе «Текстовые лексико-фразеологические материалы как лингвистический источник» особо отметила, что на современном уровне развития словарного дела картотеки приобретают статус самостоятельной научной единицы. А. Н. Тиخонов (Москва) в докладе «Какой должна быть центральная словарная картотека русского языка?» сказал, что в нашей стране существуют многочисленные словарные картотеки. К сожалению, из-за отсутствия в этой области какой-либо координационной работы трудно определить, сколько их, в каком они состоянии, какого объема и назначения. Докладчик подчеркнул, что ленинградская Большая картотека — это главное хранилище сокровищ нашего языка — должна быть

не только надежным источником всех сведений о русском слове для нужд лексикографии, она может и должна стать Центральным (всесоюзным) справочным бюро по русскому языку.

В докладах П. Н. Денисова (Москва), А. Б. Болганбаева (Алма-Ата), Д. Н. Шмелева (Москва), Н. В. Соловьева (Ленинград), Е. Н. Тихоновой (Москва), Б. К. Калиева (Алма-Ата), А. Н. Ракина (Сыктывкар), В. И. Бахнаря (Кишинев), Э. В. Кузнецовой (Свердловск) и др. была подробно освещена роль словарных картотек в развитии теоретических исследований в области лексикологии, семасологии, грамматики, стилистики и других разделов языкознания; рассмотрены типы и разряды источников (письменная и устная речь, жанры литературы, прессы и т. п.) и их место в формировании лексико-фразеологических фондов национальных языков.

Докладчики рассказали, как на базе различных картотек создаются полные толковые словари национального языка: казахского (Б. К. Калиев), грузинского (М. Н. Чабашвили), русского (Ф. П. Сороколетов) и др.; словари языка одного автора: В. И. Ленина (Е. Л. Лилеева, Т. Ф. Иванова), М. А. Шолохова (Л. А. Введенская, Б. Н. Проценко), Н. А. Некрасова (Г. Г. Мельниченко), Абая (Б. К. Калиев) и др.; этимологические (Л. В. Аба), диалектные (И. А. Попов), исторические (З. М. Петрова) и др. В ряде докладов была подчеркнута важность гибридизации толковых и идеографических словарей (В. В. Мартынов), создания тезаурусов.

Участники конференции с интересом заслушали доклады и сообщения о разработке новых картотек и новых типов словарей: словаря современного русского языка (Ф. П. Сороколетов), словаря русского литературного языка XIX в. (Ю. С. Сорокин, Л. Л. Кутина), словаря имен собственных (Е. А. Левашов), ортологического словаря (О. Л. Дмитриева), словаря системных соответствий языков чукотско-камчатского ареала (А. С. Асиновский), комплексного учебного словаря русского языка для национальных школ (А. Н. Тихонов, Е. Я. Шмелева).

Вопросам автоматизации картотечных собраний и лексикографических работ было посвящено специальное пленарное заседание, на котором были заслушаны доклады В. М. Андрущенко (Москва) «Современные принципы и средства автоматизации лексикографических работ». Л. В. Бондарко, Т. В. Алексеевой, А. С. Аси-

новского, С. И. Богданова, Н. В. Богдановой, О. Б. Ермаевой, Е. Б. Овчаренко, С. В. Скоробогатовой, Т. В. Шарыгиной (Ленинград) «Автоматизация лингвистических исследований на основе морфемного словаря», А. Х. Джубанова, А. Б. Белботаева, А. Р. Зекеповой, К. К. Алдабергеновой (Алма-Ата) «Составление словоуказателя и конкорданса произведений М. О. Аузова с помощью ЭВМ», А. С. Герда (Ленинград) «О соотношении старых и новых методов подготовки словарей», Р. П. Рогожниковой, Л. В. Чернышевой, Е. Ж. Кузнецовой (Ленинград) «Основные направления автоматизации лингвистических исследований». А. Т. Хроленко (Курск) в докладе «Использование микроЭВМ в процессе подготовки словаря русского фольклора» ознакомил присутствующих с опытом применения микроЭВМ «Искра-226» в процессе составления картотеки для словаря языка русского фольклора. Им характеризовалась программа ввода текстов на внешние носители информации, редактирование их, автоматизированного поиска слов, подсчета словоупотреблений и печати словарных карточек. Как показал докладчик, применение ЭВМ чрезвычайно облегчает труд составителей словаря, освобождает их от длительной механической работы по накоплению карточек, позволяет быстро и высококачественно расписывать на карточки вводимые фольклорные тексты, дает возможность отыскать все без исключения случаи употребления той или иной лексемы в большом корпусе текстов.

Выступившие с докладами и сообщениями подчеркнули, что полученные ими результаты еще раз подтвердили перспективность применения компьютеров в создании картотек и в подготовке словарей-конкордансов и других справочников, поскольку лексический состав языка представляет собой в достаточной степени однородный массовый материал, удобный для автоматической компиляции и обработки. В то же время отмечалось (А. С. Герд), что вопросы автоматизации не должны ставиться абстрактно и глобально, что существуют области, в которых эффективнее пользоваться хорошо зарекомендовавшими себя традиционными ручными методами.

Закрывая Всесоюзную конференцию, зам. председателя Оргкомитета Ф. П. Сороколетов отметил ее большую информативность, высокий научный уровень, указал на то, что конференция не только отражает новый этап работы отечественных лексикографов, но и способствует объединению научных сил страны

На конференции было принято решение:

1) Расширить работы по накоплению картотечных фондов национальных языков, привлекая для этого силы лексикографов академических институтов, университетов, педагогических институтов и других научных учреждений;

2) Подготовить и опубликовать каталог картотек по русскому языку, хранящихся в настоящее время в Институте русского языка АН СССР, университетах, педагогических институтах. Просить Научный совет по лексикологии и лексикографии АН СССР координировать работу по созданию словарных фондов в стране: создать Всесоюзный координационный центр Картотечного дела;

3) Способствовать укреплению позиций Картотеки словарного отдела Института русского языка АН СССР — самого большого собрания слов русского языка — как главного хранилища сведений по лекси-

ке русского языка, центрального справочного бюро по русскому языку, как сокровищницы, являющейся памятником культуры русского народа;

4) В связи с тем, что в диссертационных исследованиях по русскому языку содержатся богатые материалы по лексике, просить ВАК СССР и Всесоюзный научно-технический информационный центр ксерокопировать один экземпляр диссертаций для Словарной картотеки Института русского языка АН СССР;

5) Просить Научный совет по лексикологии и лексикографии АН СССР издать материалы конференции;

6) Просить Бюро Научного совета по лексикологии и лексикографии АН СССР провести очередную Всесоюзную конференцию по проблеме «Теория языка и словарь» в г. Кишиневе.

Сергеев В. Н. (Ленинград)

В феврале 1986 г. в Гродненском государственном университете состоялся научный семинар «Использование ЭВМ в исследовании и преподавании языков в вузе и средней школе».

Открывая семинар, ректор Гродненского государственного университета профессор А. В. Бодаков отметил актуальность решения проблем, связанных с всеобщей компьютеризацией образования. В общей системе современной научно обоснованной методики компьютеризация должна занять важное место и у преподавателей гуманитарного цикла.

В работе семинара приняли участие ведущие специалисты в области инженерной лингвистики и лингводидактики Москвы, Ленинграда, Минска, Риги, Кишинева, Алма-Аты, Гомеля, а также преподаватели-лингвисты вузов и школ г. Гродно.

На заседаниях семинара было прослушано и обсуждено 28 докладов, посвященных вопросам общей организации компьютерного обучения, соотношения статистических и детерминистских приемов при отборе учебного материала и построении программ, программированию учебных алгоритмов на ЕС-ЭВМ, малых ЭВМ и П-ЭВМ, а также психологическим, лингвopsихологическим и педагогическим аспектам компьютеризации.

В докладе Р. Г. П и о т р о в с к о г о (Ленинград) «Какая теория речевой деятельности нам нужна?» были затронуты проблемы разработки новой теории речевой деятельности, на основе которой

можно было бы построить воспроизводящие инженерно-лингвистические модели (ВИЛМ), обеспечивающие формальное представление разных уровней понимания текста.

Доклад Л. Л. Н е л ю б и н а (Москва) «Компьютеризация обучения» был посвящен проблеме использования передовых научных методов и современной вычислительной техники для практического решения задач в сфере образования.

В. М. Н и к и т е в и ч (Гродно) в докладе «Общенаучная и „алгебраическая“ методика при изучении языка в школе» осветил взаимоотношение учебного процесса в школе и общенаучных теоретических знаний, которые должны явиться обязательным условием формирования будущего специалиста любого профиля.

В докладе Э. И. К о р о л е в а (Москва) «Современные методы автоматической компрессии текстовой информации» был дан аналитический обзор методов автоматического реферирования научно-технических текстов, используемых в современных автоматизированных системах обработки текстовой информации: статистических, дистрибутивных, позиционных, сверхфразовых, логико-семантических. Особое внимание было уделено характеристике комбинированных методов автоматического реферирования, использованных в экспериментах, проведенных в группах «Статистика речи», в группе Э. Ф. С к о р о х о д ь к о (Ин-т кибернетики АН УССР, Киев), в МГУ (филологический ф-т), в системе «Алмаз», в си-

стеме «Скобки» ВНИИ «Информэлектро» и т. д.

Обсуждение теоретических проблем и обмен опытом работы проводились в двух секциях семинара: 1) Теоретические вопросы инженерной лингвистики применительно к задачам компьютеризации учебного процесса. 2) Компьютеризация и изучение языка в школе и вузе.

На первой секции Т. А. Аполлоńska (Ленинград) в докладе «Основы построения функциональной грамматики» связала решение задач автоматической обработки текста, программированного обучения с проблемой построения функциональной грамматики, которая понимается как множество единиц с заданными на нем отношениями. В. А. Чижакowski (Кишинев) поделился результатами разработки проблемы моделирования процессов автоматического перевода заголовков научно-технических статей с одновременным определением их темы (подтемы) и направления поиска новизны информации. Результатам изучения статистики структуры грамматических классов слов казахского языка был посвящен доклад А. Х. Джубанова. В сообщении С. Я. Фаптиева (Ленинград) была обоснована необходимость создания систем автоматического накопления, поиска и обработки филолого-статистической информации для анализа большого корпуса текстов. Х. А. Арзикулов (Самарканд) остановился на возможностях применения теории фреймов при анализе художественного произведения. В докладе В. П. Костюшко (Гродно) была предложена система программ для выделения предложений из текста по заданным лингвистическим параметрам.

В работе второй секции основное внимание было уделено использованию научно-технических достижений в школьной и вузовской практике преподавания языков. Этому вопросу были посвящены доклады Р. Г. Пиотровского

(Ленинград) «Компьютеризация обучения и современная лингвистика», Л. Л. Нелюбина (Москва) «Частотные словари и статистические методы преподавания иностранных языков в школе», Г. В. Ермоленко (Гродно) «Методы лингвистического анализа литературных произведений школьной программы (на материале частотного словаря)». На секции с сообщением выступила также учительница средней школы № 1 г. Гродно Г. С. Парина.

На этой секции решались также проблемы качественного и количественного анализа языковых явлений с целью интенсификации обучения иностранным языкам. Так, в частности, П. В. Стецко (Гомель) выступил с докладом «Количественный метод при исследовании словообразовательных систем близкородственных языков». В докладе В. В. Самородова (Алма-Ата) речь шла об интервально-выборочной обработке текста и интенсификации обучения иностранным языкам. Д. А. Румпиг (Рига) остановилась на принципах составления программы для обучающихся машин по овладению обобщенным способом построения иноязычного предложения. Вопросы количественного анализа при определении функционирования лексико-тематических групп в художественном тексте освещались Л. М. Середой (Гродно). В докладе Г. Ф. Курышко (Гродно) приводился материал по особенностям функционирования прилагательных в подязыке медицины. Доклад И. А. Болдак (Гродно) был посвящен политематичности абзаца в текстах научной прозы.

Участники семинара обсудили и приняли резолюцию, призывающую представителей гуманитарных дисциплин включиться в дело преобразования обучения в нашей стране на основах его компьютеризации.

Болдак И. А., Ермоленко Г. В. (Гродно)

15—16 апреля 1986 г. в МГПИИЯ им. Мориса Тореза состоялись очередные фонетические чтения, посвященные памяти видного советского лингвиста Георгия Петровича Торсуева («Проблемы временной организации речи»). Чтения были организованы Комиссией по фонологии и фонетике при ОЛЯ АН СССР, Институтом языкознания АН СССР и Московским государственным педагогическим инсти-

тутом иностранных языков имени М. Тореза.

Всего было прочитано 30 докладов и сообщений. В чтениях приняло участие около 150 специалистов из крупнейших научно-исследовательских и педагогических центров страны (Москва, Ленинград, Минск, Киев, Горький, Кишинев, Алма-Ата, Одесса, Уфа, Иваново, Ярославль, Кокчетав, Ереван, Тбилиси, Горловка и др.). Доклады и сообщения сопровождались оживленными дискуссиями.

В. Е. Шевякова (Москва) осветила теоретические положения фонетической концепции Г. П. Торсуева, легшие в основу развития основных направлений советской фонетики. Центром научной проблематики чтений являлась проблема времени как в общелингвистическом так и в узко фонетическом аспекте. В. П. Казарян (Москва) в докладе «Две модели времени» показала методологическое значение проблемы времени для решения задачи конкретных наук. В. П. Журавлев (Москва) доказал необходимость различать астронимическое и лингвистическое время. По его мнению, лингвистическим временем можно называть последовательность существования фонетических законов, а также других языковых явлений и процессов. Докладчик рассмотрел также четыре концепции лингвистического времени: синхроническую, панхроническую, полихроническую и диахроническую.

В докладе «Перцептивная категоризация паузальной сегментации слитной речи» Р. К. Потаповой и Л. П. Блохиной (Москва) были изложены результаты экспериментов по слуховой оценке пауз в слитной речи. Категориальность слуховой интерпретации пауз определяется как процесс их обнаружения, распознавания, локализации, а также оценки протяженности во времени. Доклад Р. Р. Каспрянского и В. Я. Успенского (Горький) был посвящен выявлению зависимости между коммуникативными характеристиками ситуации и временными параметрами речи.

В докладе М. К. Румянцев (Москва) на материале китайского языка рассматривалась проблема времени звучания тонированного слога; была показана роль времени звучания тона не только в плане смысловразличения слогоморфем, но и функции этой характеристики тона в организации просодических дифференциаций.

В сообщении Н. Д. Светозаровой и А. С. Штерн (Ленинград) «Статистика временных интервалов между ударными слогами в спонтанной речи и чтении» обсуждались результаты исследования расстояний между ударениями разной степени в речи и при чтении текста. О. Ф. Кривова (Москва) в докладе «Сокращающие воздействия супraseгментных факторов на длитель-

ность ударных гласных в синтагме» предложили количественную модель для длительности ударных гласных в синтагме, учитывающую собственные длительности гласных и их изменение под воздействием таких факторов, как слоговая длина слова, позиция слова в синтагме и его удаленность от начала синтагмы. В сообщении И. В. Борисяку (Киев) «Пауза колебания и ритм» было показано, что длительность паузы колебания в спонтанной речи регулируется требованиями текстового ритма. А. А. Метлюк (Минск) в докладе «Временная организация речи как просодическая подсистема» предложила различать понятия ритма и темпорального компонента при решении вопросов системности просодических явлений текста.

Э. А. Нушина (Одесса) посвятила свое сообщение «Иерархическая структура временных составляющих текста» изменениям временной структуры текста под влиянием эмоций. Влияние эмоционального состояния отправителя текста сказывается в изменении соотношения длительности пауз и фонационной длительности. В сообщении Г. Н. Аксеновой (Уфа) «К проблеме временной организации единиц речи» было дано определение временного компонента текста, речевого темпа и их функций. Особую значимость в тексте, по мнению докладчика, приобретают длительность высказывания и его частей, дистрибуция пауз.

Особый интерес вызвало сообщение Е. Н. Нурахметова (Кзыл-Орда) «Роль пауз в пространственно-временной организации художественного текста», в котором трактовалась проблема соотношения реального времени звучания с художественным временем текста. Реальное время пауз является средством воплощения концептуального времени текста литературного произведения.

В процессе подготовки и проведения чтений выявился большой интерес к проблемам фонетики и фонологии, супraseгментной и сегментной организации речевого потока. Следует отметить также широту охвата языкового материала — были представлены русский язык, языки народов СССР, западноевропейские языки, китайский и др.

Слюсарева Н. А. (Москва)

CONTENTS

70 years of Soviet linguistics; *Svejcer A. D.* (Moscow). 70 years of Soviet science of translation; **Discussions:** *Murjasov R. Z.* (Kazan). Grammar of derived words; *Kobrin R. Ju.* (Gorkij). Linguistic relations and basic units of language; *Asinovskij A. S., Volodin A. P., Golovko E. V.* (Leningrad). On the correlation of the morpheme-exponent and its position in the word-form; *Saxovskij V. I.* (Volgograd). Does the emotive meaning correlate with notional categories? *Degtjarev V. I.* (Rostov-on-Don). Pluralisation of collective nouns in the history of Slavic languages; **Materials and notes:** *Čanturivili D. S.* (Tbilisi). A learner's paradigmatic dictionary of the Russian language for non-Russians; *Ozerova N. G.* (Kiev). Polysemy of the noun and its grammatical features; *Musajev M.-S.M.* (Makhatchkala). On the history of grammatical cases in the Darghinian language; *Kotov A. M.* (Moscow). Stylistic status of Wang-Yang words in the modern Chinese literary language; **Reviews; Scientific life.**

SOMMAIRE

70 années de linguistique soviétique; *Svejcer A. D.* (Moscou). 70 années de la science de traduction en URSS; **Discussions:** *Murjasov R. Z.* (Kazan). Grammaire des mots dérivées; *Kobrin R. Ju.* (Gorkij). Rapports linguistiques et unités linguistiques de base; *Asinovskij A. S., Volodin A. P., Golovko E. V.* (Lénin-grad). Sur les rapports de l'exponent du morphème et sa position dans le mot; *Saxovskij V. I.* (Volgograd). La signification émotive, se rapporte-elle aux catégories notionnelles? *Degtjarev V. I.* (Rostov-sur-Don). Pluralisation des noms collectifs dans l'histoire des langues slaves; **Matériaux et notices:** *Čanturivili D. S.* (Tbilisi). Un dictionnaire paradigmatique de la langue russe pour étudiants non-russes; *Ozerova N. G.* (Kiev). Polysémie du substantif et ses caractéristiques grammaticales; *Musajev M.-S. M.* (Makhatchkala). Sur la genèse des cas grammaticales dans la langue darghinne; *Kotov A. M.* (Moscou). Le status stylistique des mots wang-yangiens dans le chinois littéraire contemporain; **Comptes rendus; Vie scientifique.**

Технический редактор *Радина Т. И.*

Сдано в набор 29 06 87 Подписано в печати 02.09.87 А-11580 Формат бумаги 70×100¹/₁₆
Высокая печать Усл. печ. л. 13,0 Усл. кр.-отг. 78,2 тыс. Уч.-изд. л. 15,2 Бум. л. 5,0
Тираж 5945 экз. Зак. 610

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука»,
103717 ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21

2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6